

Михаил Яворский

Поцелуй льва

(Роман)

*«Each of us inevitable,
Each of us limitless...
Each of us here as divinely
as of any is here»*
Walt Whitman

*«Каждый из нас неизбежный,
Каждый из нас бесконечный...
Каждый из нас неповторный,
как и будь-кто суций»*
Волт Витмен

*«Мир — это просто слово. На самом деле, по законам природы,
каждый полис пребывает в состоянии необъявленной войны с
другими полисами».*

Платон

«Это не мир, это только перемирие на двенадцать лет».

**Предвидение маршала Франции Фердинанда Фока после
окончания Первой мировой войны 1919 года**

СЛУХИ И ЗАГОЛОВКИ

Лето 1939 года. Мне четырнадцать лет. Я только что окончил первый класс Первой государственной гимназии во Львове. До Первой мировой войны город принадлежал Австро-Венгерской империи. Теперь, после окончания войны, с 1919 — 1920-го года он принадлежит Польше. Языком моей мамы этот город звучит как *Lwów*. Официальным польским языком — *Lwów*. В летописях он имеет название — *Leopolis*. Во всех трех случаях это означает — *город Льва*. Только немцы дали ему другое имя. По ихнему он был — *Lemberg*. Значение этого названия мне непонятно.

Считают, что этот город основал в XII столетии король Данило Галицкий для своего старшего сына Льва. Городом, в современном понимании этого слова, Львов стал только потом. Началось всё с окружённого оградой деревянного замка на вершине холма, который высился среди разлогой равнины. В низине жили так называемые смерды. Они обрабатывали землю, разводили скот, свиней, овец. Это были крепостные князя Льва. А воняли (смердели) они навозом.

Конечно, деревянного замка уже давно нет. Его сожгли монголы. Отстроили. Опять сожгли турки. Отстроили из камня. Потом, когда искусство войны усовершенствовалось, его полностью разрушили пушечными ядрами. Только холм с остатками оборонных стен и сегодня высится над городом. Его называют Высоким Замком. Внизу, там, где когда-то жили смерды, раскинулся парк, где в солнечные воскресные дни прогуливаются элегантно одетые граждане. Теперь к Высокому Замку можно доехать четвёртым трамваем, а от остановки до вершины придётся идти пешком. Пан Коваль, мой опекун, любит там прогуливаться. «Это место, — говорит он, — где создавалась история». Стоя вместе с ним на вершине

холма, я вижу весь город и необозримые равнины за ним. Иногда, когда я всматриваюсь на юг, мне кажется, что видно контуры родных гор.

Это мой пятый год во Львове. А родился я в Яворе, карпатском селе, свыше ста километров отсюда. Живу с паном Ковалем в каменном доме, построенном в начале XX столетия, на углу улиц Задвирнянской и Ожешковой. Дом принадлежит пани Шебець — вдове протестантского пастора. Я и не слышал про протестантов, пока не приехал во Львов, знал только про греко-католиков, римо-католиков и евреев.

В тот год июнь выдался особенно щедрым. Парки и скверы пахнут ароматами цветов сирени и акации. Немного раньше чем обычно, расцвели каштаны. Их роскошные белые соцветия свечечками поднимаются вверх между густозелёными листьями. Для меня каштаны такие необычные! Глядя, как они выстроились вдоль нашей улицы, я доволен, что нахожусь во Львове. В горах, откуда я приехал, растут только ели и пихты.

Львов для меня как будто разноцветное полотно. Кто тут только не живёт! Наибольшее тут поляков, евреев и украинцев. Каждая их этих общин имеет свою футбольную команду. Состязания между ними обычно яростные, как настоящая война. Живут тут также немцы, армяне, грузины, болгары, сербы и даже греки. Нетрудно догадаться, какой народ живет в которой части города — про это рассказывают названия улиц, звучащий вокруг говор, одежда граждан, вид церквей и синагог, даже запахи еды. Запахи на узких, извилистых улочках возле Армянской церкви и часовни Боимов, как на меня, слишком экзотичны. От этого сладковатого, как дым ладана на службе в соборе св. Юра, острого запаха у меня аж слюни текли, а в животе бурчало так, словно я уже месяц не кушал. Мои нюхательные рецепторы чувствовали себя спокойнее в польской, еврейской и украинской частях города, где воздух пронизывали более земные запахи чеснока и лука. Прожив четыре года во Львове, я привык к этому городу, хотя иногда он напоминает мне Вавилонскую башню.

Я люблю прогуливаться улицами города. Каждый раз мои глаза улавливают что-то незаурядное. Припоминаю, какое оказал на меня впечатление памятник королю Яну Собесскому. Глядя на эту личность с высоко поднятой булавой, верхом на коне, который казалось вот-вот кинется в бой, я словно переносился в те времена, когда Собесский защитил Вену от турецкого нашествия. На памятнике была надпись, которую я когда-то видел в учебнике по истории: «Veni. Vidi. Vici» — «Пришел. Увидел. Победил».

Но наиболее меня удивило то, что я увидел, подняв глаза — выше головы Собесского. Там, на выступе, под крышей углового дома, сидела копия статуи Свободы. Как она попала в город Льва было для меня загадкой. Казалось, что чувствовала себя не в своей тарелке. Ведь в отличие от своей американской сестры, которая гордо стояла с факелом свободы, она сидела, наверно изнурённая длительным путешествием или утомившись держать факел. Иногда во время таких прогулок у меня возникает ощущение, будто я в логове львов. Эти резные львы живут везде — гордо стоят на просторных площадях, выглядывают с фасадов домов, лезят закоулками. Самые величавые скульптуры этих зверей установлены перед Пороховой башней. Вырезанные из белоснежного мрамора их массивные туловища лениво растянулись вдоль ступенек к башне. Они кажутся удовлетворенными, сонными, но одновременно готовыми моментально дать отпор любой опасности.

Мои прогулки часто заканчивались на площади Рынок, в центре города, южнее средневековой стены. Каменные дома, которые окружают площадь, построены несколько столетий назад. В её центре возвышается Ратуша, вход в которую охраняют два огромных льва, что придает величие и так высокому сооружению. На крышу башни ведет узкая лестница. Смотритель Ратуши — знакомый пана Коваля, поэтому разрешил нам подняться на верх. У меня аж дух перехватило, даже забыл счёт ступенькам.

Июньскими вечерами, после работы пан Коваль сидит на веранде, читая газету «Дело».¹ Я присоединяюсь к нему незадолго до ужина. Иногда газета полностью поглощает

¹ «Дело» — первая украинская ежедневная газета. Она выходила с 1 января 1880 г. до 5 сентября 1939 г. во Львове. Основана группой «народников» во главе с В.Барвинским для защиты прав украинцев

его внимание, тогда я тихонько сижу, наслаждаясь ароматами сирени и акации, которые долетают в раскрытые окна. Случается, что он пересказывает мне прочитанное, так как хочет, чтобы я знал «что делается в мире». Мир, по его мнению, «становится все более тесными, соответственно, более паскудным». «Наш народ слишком мирный, нам надо научиться постоять за себя». Он тщательно подбирает слова, кратко высказывает свои мысли, однако очень часто то, про что он говорит, для меня слишком заумно.

С недавнего времени пан Коваль читает меньше. Это из-за цензуры. Много колонок в его газете просто не печатают. Однажды первая страница была пустой с единственной надписью «#8213; «ЦЕНЗУРОВАНО».² Это не очень беспокоило пана Ковалья, потому что, как он говорил: «Не напечатанная страница говорит читателю, что власть пытается что-то спрятать. Однако народ видит, что чинят власть имущие, и новости об этом распространяются из уст в уста среди большего количества людей, чем напечатанные страницы».

Он всё таки был прав. Чуть ли не ежедневно можно было стать свидетелем издевательств над меньшинствами со стороны эндеков «#8213; не очень молодых тупоголовых, которые взяли монополию на польский патриотизм. Они ненавидели каждого, кто был непохожий на них, вели себя так, словно город принадлежал им.

Свою деятельность они начали несколько лет тому назад с надписей на стенах: «Bij «#379;yda».³ А этим летом они ворвались в Государственный университет и избили украинских студентов. Среди них был и мой дядя Михаил, младший брат матери. Опасаясь за свою жизнь, он убежал из Польши в Германию.

Впрочем, с начала этого лета эндеки немного забыли про евреев и украинцев, направив свою злость против немцев, или «швабов», как их называл польский простолюдин.

По городу распространялись тревожные слухи. Их можно было услышать везде «#8213; на базаре, в парикмахерской, даже в церкви. Бульварная пресса обсасывает и раздувает их, как может. Вот, например, несколько дней тому в «Dzienniku Wieczornym» опубликовали статью под заголовком «Скоро война! Гитлер готовит нападение на Польшу!». Безоблачное спокойствие июльских вечеров нарушили пронзительные выкрики продавцов газет: «Сенсация! Экстренный выпуск! Скоро война!».

Нашу хозяйку пани Шебець, которая жить не может без вечерних газет, действительно волнуют все эти слухи о войне. Подростком ее захватил водоворот Первой мировой войны. Наверно, это были не самые лучшие времена, потому что вспоминая их, она говорит только одно: «Это было страшно, ужасно, бесконечный ужас«#8213; москали убивали, насиловали, грабили».

Я никогда не читаю вечерних газет, так как пан Коваль говорит, что они подходят только разочарованным в жизни панночкам. Но однажды, когда его не было дома, я обратил внимание, что пани Шебець оставила газету на столе веранды и не смог удержать своё любопытство. Там была статья с огромным заголовком про предсказания какой-то Агнешки Пилч, ясновидящей, которая еще десять лет назад предвидела войну.

Она говорила о том, что грядет насилие и ужас, про адские огни в лагерях, ограждённых колючей проволокой, про сожжённые трупы, про кровожадных духов, которые вселились в Гитлера и принуждают его напасть на государство красной пятиконечной звезды.

Склонная к сенсационности и зависимая от неё, пани Шебець получила глубокое впечатление предсказанием Агнешки. Мне все эти слухи и пророчества относительно войны

Галичины, выступала за государственную независимость и соборность Украины.(прим. — *Ред*).

² «Изъято цензурой» (прим. — *Пер* .)

³ Бей еврея(пол.)

казались с одной стороны ужасными, а с другой — просто смешными. Для меня войны были чем-то абстрактным — они существовали только в книжках по истории. К тому же, принимая во внимание их обильное количество на страницах учебников, они казались мне вполне нормальным, неизбежным явлением. Без войн, говорил наш учитель, не было бы ни истории, ни движения вперед. Войны приносили изменения, вместе с ними что-то новое, непонятно другое. Вот это таинственное «что-то» и интриговало меня.

На моё воображение о войне оказало влияние и то, что я слышал про неё ещё маленьким. Ребёнком, еще перед учёбой в начальной школе в Яворе, я часто слушал воспоминания деда, бабы и матери про то, как они прожили в период Первой мировой. Я не всё понимал из этих разговоров, но видел, какими важными и напряжёнными становились их лица, как они снижали голоса, словно говорили про что-то, не предназначенное для моих ушей, или же неприличное или страшное.

Только при разговоре о Волке, нашем огромном лохматом псе, их лица прояснялись. Эти рассказы мне не только разрешали слушать, но даже понуждали к этому.

Во время Первой мировой войны мой дед был вынужден убежать из дома с родственниками, в связи с наступлением австро-венгерской армии. Венгерские гусарские отряды этой армии славились тем, что без малейших угрызений совести вешали сторонников других королей или несоответствующих богов, мстили за страдания своих предков, которые причинили им в древности. Озабоченностью моего деда была приязнь не к тому правителю. Он был русофилом, лояльным российскому царю. Это было бы причиной гусарам повесить его на ветке старой, толстой липы, которая росла вблизи нашего дома.

Поэтому мой дед торопливо рассадил жену, пять сыновей, четыре дочки и Волка на две телеги и пустился беженцем в нелёгкое путешествие на северо-восток, под крыло российской армии, которая отступала. Чтобы не умереть с голоду, он взял с собой ещё две коровы.

Преодолев сотни километров болотистых дорог, останавливаясь только для того чтобы набрать воды и выпастить коней и коров, он очутился между австрийской и российской линиями фронта вблизи Киева. Среди всего этого беспорядка потерялся пёс — то ли заблудился, а вероятнее всего, погиб в перестрелке.

В конце-концов, военная фортуна улыбнулась россиянам, и австро-венгры были вынуждены торопливо отступить. Мой отец целый и невредимый с роднёй вернулся в родное село. Среди потерь были Волк, одна телега и два коня, один из которых сдох с голода, а второго убило шальной пулей. Одну корову привели назад, а вторую вынуждены были заколоть в дороге, чтобы выжить самим.

Вернувшись, увидел, что его дом сожгли. Однако со своими пятью сыновьями он без особых проблем отстроил его. Жизнь поворачивалась в обыкновенную колею. Всем не хватало Волка, а наиболее моей маме, потому что, как она говорила, он особенно любил её. Прошёл год и про собаку, хотя совсем не забыли, но, уже и не вспоминали.

Пришла следующая весна после возвращения в родное село, а вместе с ней и ранняя Пасха. Моя бабушка спекла паску, а её дочки раскрашивали писанки. В Пасхальное воскресенье все пошли в церковь святить паску, а вернувшись стали накрывать стол в светлице. И вот родня села к пасхальному столу. Не было только двух старших сыновей — одного забрали в австрийскую армию в начале войны, а второй, чтобы избежать этой участи, устроился работать на корабль, который отплывал в Америку.

Это было первое за шесть длинных лет настоящее пасхальное празднование. Наступила торжественная тишина и отец начал читать молитву.

Вдруг со двора послышалось взволнованное гавканье. Не успел никто с места сдвинуться, как в открытое окно в дом впрыгнула ободранная овчарка.

Это был Волк.

Все бросились к нему. С этой радости перевернули стол и паска вместе с писанками оказалась на полу. Для Волка после всех его мытарств паска была настоящим банкетом. А для нашей семьи Пасхальное воскресенье стало днем одновременно двух воскрешений, ведь

произошло настоящее чудо. Спустя на каждую Пасху неизменно торжественно рассказывали про это чудо. А я слушая, посматривал в окно и надеялся, что внезапно Волк пригнет в комнату.

Если же Волк смог выжить и еще самостоятельно найти дорогу домой, думал я, то война, наверно, не такая страшная, как её рисуют. По крайней мере не такая, как описывала пани Шебець. Рассматривая некоторые картинки в учебнике истории, я даже думал, что для молодых людей война должна была быть очень интересной и захватывающей. Иначе они бы не вступали добровольцами в армию.

Мне особенно запала в память одна фотокарточка добровольцев, которые записались на фронт в конце Первой мировой. Эти юноши выглядели лишь на несколько лет старше меня. Они шли под руку с прекрасными девушками, лица их сияли радостью. Всем своим видом он, казалось, говорили, какая это весёлая забава война. На фотографии была надпись: «Война превращает мальчиков в настоящих мужчин». Рассматривая это фото я представлял себя среди этих юношей, хотя был слишком мал, чтобы воевать.

В другой раз я смотрел новости недели в кинотеатре «Атлантик», который посещал с Богданом, своим одноклассником и шахматным партнёром. В том выпуске показывали военный парад в Берлине. Колонны солдат в три ряда проходили по парадной площади. Их показывали с разных ракурсов. Спереди было видно их лица молодые, счастливые юноши салютовали своему вождю, благодарные, что он сделал из них солдат. Со стороны, колонны казались тысяченосными телами, которые двигались с точностью швейцарских часов. В ракурсе сверху они сливались в сплошную реку, сплетались в разрушительную потугу, готовую смести всё на своём пути. Это были «молодые немецкие львы», как было написано в субтитрах. Когда я смотрел на них, мои ноги невольно двигались в такт с музыкой военного оркестра. Информационный выпуск закончился, начался фильм «Тарзан, выкормыш больших обезьян», но те молодые львы до сих пор шагали перед глазами, их лица под стальными касками сияли радостью, а за плечами сверкали дула винтовок. «Вот бы нам такую армию!» сказал Богдан, когда мы выходили из кинотеатра.

После этого выпуска меня удивило, что наш учитель рисует картину Первой мировой войны такими мрачными, угнетающими красками. Он называет её «безумной войной, войной без победителей, войной миллионов смертей и безостановочных общественных волнений». Он говорит про войну так, как будто она только что закончилась, но для меня она была тихим эхом далёкой бывальщины, более древней чем переход Ганнибала через Альпы два тысячелетия назад.

Возможно, я серьёзно не воспринимал его взглядов из-за таинственных изменений в своём организме. В моём теле как будто проснулась неудержимая сила и теперь отчаянно пробовала вырваться из него наружу. Она не давала мне сосредоточиться на важных вопросах, которые пан Коваль хочет, чтобы я обдумывал. Думаю, что вот эту силу священник называет «нечистой силой», которая постоянно искушает нас к греху.

С весны меня больше всего начали интересовать девушки. История с её знаменитыми войнами и завоеваниями в списке моих интересов занимала чрезвычайно скромное место. Моими мыслями завладела Соня мечтательноглазая одноклассница с хвостиком. Нередко я мечтаю и про Ванду, которая живет недалеко за углом. Ванда выше чем Соня, кареглазая, каштановые волосы с ровным пробором посередине, заплетённые в две косички. Однако в отношении неё у меня нет шансов, потому что она старше и к тому же имеет парня. Зовут его Ежи. Она называет его «Тарзаном». Как на свой возраст, он слишком высокий, крепкий, а летом носит спортивную рубашку без рукавов, выставляя напоказ свои мускулы. Его отец полковник польской армии, и Ежи имеет намерения пойти по его стопам. Он называет себя циником, хотя, я уверен, не понимает значения этого слова, и имеет непонятную привычку приговаривать: «Наслаждайся жизнью, пока живой».

Я на каких-то два-три года младше Ежи, но в присутствии Ванды он обращается со мной, как с малышом. Ему нравится унижать меня перед ней, называя «малый» или

«gówniarz».⁴ На удивление, он часто просит меня поиграть с ним в шахматы, наверно потому, что всегда у меня выигрывает. Но один раз находясь возле Ванды, когда я предложил ему сыграть партию, он заявил, что «унизится» до этого только потому, чтобы «намылить мне задницу». Ежи любил употреблять паскудные слова. Но на меня оказало сильное впечатление то, что он употребляет их в присутствии Ванды, и я решил, что он не достоин её.

«С немцами мы рискуем потерять свободу. С россиянами мы утратим свои души»

Йозеф Бек, министр иностранных дел Польши, июль 1939

СТРАНСТВУЮЩИЙ БАБНИК

― Наконец-то, сдвинулось, ― сказал пан Коваль, оторвав взгляд от газеты. Его глаза под оборкой густых бровей вспыхнули тем особым огоньком, который появлялся, когда он видел привлекательную женщину или читал про какие-то ошеломляющие международные события. Я не знал, что он имеет ввиду и, глубоко окунувшись в собственные мысли, не имел желания расспрашивать.

Это впервые со времени моего прибытия во Львов, пять лет назад, я не ехал на каникулы к родителям. Уже был конец августа. Я знал, что родители скучают за мной. Для них лето всегда было полно забот. Моя мать сдаёт внаём жильё приезжающим на отдых панам из Львова. В основном это друзья пана Ковалья, или друзья его друзей. Они приезжают вдвоем, втроем и остаются, обычно, на две недели. Явора привлекает их горным воздухом, лесными прогулками и блюдами моей матери. Пан Коваль самый давний и самый любимый гость моих родителей. Он остается у нас на целый месяц. Он любит горы и часто берёт меня с собой в однодневные путешествия.

Чтобы заботиться о своих гостях, родители нанимают временных помощников: мама ― девушку, обычно из убогого горного села для помощи на кухне, а отец ― юношу для работы в хлеву и на полях. Моя обязанность на летних каникулах ― рано утром после дойки загонять коров на пастбище. Соседские дети делали то же самое. На моей ответственности было пять-семь коров, каждая, как и у других хозяев, со звоночком на шее. Поскольку грунтовая дорога до пастбища вилась аж до конца леса на горе Венец, коровы шли медленной процессией, а звоночки звенели в такт их неторопливых шагов. Так создавалась торжественная, иногда какофоническая симфония. Наоборот, назад они быстро сбегали с беспорядочным звоном.

Заметив, что я углубился в размышления, пан Коваль всунул мне газету: «На вот сынок, прочитай. От решений в Берлине и Москве зависит и твоя жизнь». Обычно он называет меня «Михасём», а иногда, как сегодня, обращается «сынок», хотя это звучало для меня удивительно.

Я не имел настроения читать, но всё таки тщательно проштудировал ту газету, зная, что он может спросить меня про наимельчайшую подробность. Газета подтвердила то, что пан Коваль слышал вчера по своему коротковолновому приемнику. Гитлер и Сталин, до этого заядлые враги, 23 августа подписали Пакт о ненападении. Этот пакт, по мнению пана Ковалья, не предвещал ничего хорошего для Польши, географически расположенной между Россией и Германией. Тогда я не очень задумывался над словами моего опекуна, которые стали пророческими: ведь, как мы потом узнали, Пакт о ненападении имел секретный пункт, по которому Германия и Россия делили Польшу между собой.

⁴ говнюк (пол.)

Сегодня пан Коваль выезжал в запоздавший отпуск. Впервые он проведёт его не у моих родителей в Яворе. Он говорит, что едет на месяц к сестре, которая живет далеко на запад от Львова. Два года назад она проводывала пана Ковалья. Поскольку она должна была остаться на целую неделю, пан Коваль попросил меня пожить у моего одноклассника Богдана, что я и сделал.

Вот это были денёчки! Мы играли в шахматы, гоняли парками, окунались в комиксы, соревновались в игру «Интеллигенция»,⁵ говорили об одноклассниках, сходясь на том, что Соня все-таки самая лучшая. У меня закралось подозрение, что, как и я, Богдан был тайно влюблён в нее. Мы также пересмотрели два выпуска недельных новостей в пассаже Миколяша. Там, на экране, мы видели Гитлера, который бешено размахивал руками, обращаясь к толпе. Казалось, что единственной недвигающейся частью его лица были те смешные усы. Он говорил про предназначение Германии руководить миром, требовал большего *Lebensraum* ⁶ для немецкого народа. Богдан толковал это так, что Гитлер имеет намерение завоевать себе несколько европейских стран и сделать из них колонии.

В другом выпуске новостей мы видели Сталина. Его лицо казалось вылитым из стали. Понятная, если не презрительная, улыбка на его лице как бы свидетельствовала, что он знает какую-то тайну. Как и Гитлер, Сталин имел усы, но они у него напоминали густую наёжившуюся щетку.

После кино Богдан спросил: «А ты знаешь, кем были и чем занимались Гитлер и Сталин до того, как стали теми, кем они есть сейчас?»

Этот вопрос озадачил меня. Из уст Богдана он звучал как мат, в наших шахматных соревнованиях. Чувствуя мое невежество, Богдан продолжал образовывать меня, не ожидая признания, что я никогда и не думал об этом.

«Ну что, Михаил,» сказал он сухо и важно, как директор нашей школы, «ты должен знать что Гитлер австриец. Во время Первой мировой войны был капралом, а после войны зарабатывал себе на хлеб маляром, пока не стал фюрером Третьего Рейха.⁷ А Сталин, ты будешь смеяться, был всего лишь сыном грузинского сапожника. Он изучал богословие, хотел стать священником, но стал атеистом и еще и коммунистом.

Осведомлённость Богдана «а он любил ей похвастаться»; всегда впечатляла меня, хотя я иногда имел предчувствие, что всё это он выдумывает. Один раз он спросил меня, знаю ли я, что Иисус был педерастом, на что я отрубил, что ему, наверно, клёпки в голове не хватает и чтобы такой дурости я больше не слышал. Мой ответ его нисколько не смутил. Сказал только: «Даже если это неправда, над этим стоит помозговать».

«Значит, вы нас покидаете!» с жалостью вскрикнула пани Шебець, когда пан Коваль появился на веранде. Он был в коричневом твидовом пиджаке и серых штанах, а в руках держал свою обыкновенную кожаную сумку. Рубашка с накрахмаленным белым воротничком, темно-синий галстук и золотистая тесёмка придавали ему вид настоящего джентльмена.

«Что-то мне не очень верится, что вы просто едете проведать сестру,» сказала пани Шебець, укоризненно поглядывая на пана Ковалья. «Очередное любовное свидание?»

Пан Коваль проигнорировал ее вопрос, но она не успокаивалась.

«Знаете, Иван, все эти ваши поездки в этом году кажутся мне очень

⁵ Задача этой игры «Интеллигенция»: составить наибольшее количество слов из букв другого слова.

⁶ Жизненное пространство (нем.)

⁷ Третий Рейх (Das Dritte Reich(нем.) «Третья Империя») официальное нацистское название правящего режима, который существовал в Германии с января 1933 г. по май 1945 г. (прим. Ped.)

удивительными. Она глубоко вздохнула и с ноткой ревности в голосе продолжила. Чем вы на самом деле занимаетесь? Почему так часто слушаете Берлин по тому своему приёмнику? Скажите-ка, Иван, вы случайно не немец, не шпион? Да?

Как разбалованный ребёнок, которому не дали пирожного, но который упрямо пытается его выдурить, она ждала ответа пана Ковалья. Я и не думал, что у неё такое буйное воображение. Она прекрасно знала, что пан Коваль увлекался изучением иностранных языков. Однако, как он говорил, наиболее ему нравился язык Гёте и Шиллера. Поэтому он так часто настраивал радиоприемник на берлинские волны.

Наверно, привыкший к упрёкам пани Шебець, пан Коваль спокойно пропустил мимо ушей ее подозрения. «Не беспокойтесь обо мне, сказал он. Позаботьтесь о Михасе, смотрите, чтобы он не был голодным». Он повернулся ко мне: «А ты, Михась, не забудь, что первого сентября начало учёбы».

Счастливой дороги, пан Коваль, ответил я, пожимая ему руку.

Мы с пани Шебець следили, как он идет вниз ступеньками в сад, открывает чугунную калитку и поворачивает направо. Он не оглянулся, не помахал рукой пани Шебець, как она того хотела. «Вот, ушёл... странствующий бабник, вслух сказала она то, про что говорила, наверно, только мысленно. Интересно, сколько у него сестёр? Наверно по одной в каждом городе».

«Не спрашивай что будет завтра».

Гораций

ПИСЬМО ОТ МАТЕРИ

После отъезда пана Ковалья наш дом опустел, хотя пани Шебець и её сестра до сих пор были тут. Пани Шебець не любила покидать свой дом. После смерти мужа семь лет тому назад, жизнь в одиночестве в своём доме была для нее настоящим праздником. Она выходила в близлежащие магазины только за хлебом и бакалеей. Молоко, масло и сыр; летом салат и овощи; осенью яблоки, всё это ей привозили несколько крестьян из предместья.

Она выходила в город дважды в год за летней или зимней одеждой.

Она любила красиво одеваться, и чтобы оказать впечатление на пана Ковалья, который ценил элегантно одетых женщин, сама шила себе платья. Она имела новую швейную машинку «Singer», к которой никому, даже сестре, нельзя было прикасаться.

Её сестра была по крайней мере на десять-пятнадцать лет моложе. В её комнате было только одно окно, выходящее на улицу, кровать, небольшой секретер, столик с умывальником и кружкой для воды. Эта комната напоминала монастырскую келью, но она её удовлетворяла. На стенах не было и одной картины. Туалет она имела общий со всеми.

Туалет сделали, наверно, намного позднее, чем построили дом. Вход в него был и из сада и из веранды. Там стоял изысканный фарфоровый унитаз с белым полированным сидением, а над ним был прикреплен ящичек, с которого свисала металлическая цепочка. Когда я впервые потянул за эту цепочку и каскады воды полетели в унитаз, я так испугался, что аж подпрыгнул. Для меня это было удивительно. В селе у нас был только «выходок»; во дворе около ямы с навозом. А старые газеты появлялись там только летом, когда приезжали гости.

Ульяна обучалась во Львовском университете, но, кажется, не могла его окончить. Однажды я слышал, как она говорила пану Ковалю, что ее докторскую диссертацию отбросили, потому что члены докторского совета «политически тупые реакционеры, дураки, неспособные понять прогрессивные взгляды». Эти удивительные слова запали в мою память, т. к. потрясли меня.

Это один, первый и последний раз я видел, что Ульяна и пан Коваль разговаривали. Пан Коваль терпеливо слушал, но, казалось, серьёзно не воспринимал её жалоб. Не знаю почему, но я был уверен, что эти двое никогда не найдут общего языка.

Завтра первое сентября. Чтобы подготовиться к школе, я пошёл в город, приобрел тетрадь, карандаши и новую ручку «Пеликан», на покупку которой пан Коваль дал мне шесть злотых ― награда за моё чистописание. Потом я погладил свою школьную форму темно-синего цвета. Без неё нас не пускали в школу. Каждая гимназия имела собственный номер в нашивке на левом рукаве. Наш почему то был № 571.

Когда я уже вешал форму, то услышал голос пани Шебець: «Михась, почтальон принес тебе письмо».

Это было письмо от мамы, датированное 30 июня 1939 года. Оно шло ко мне свыше полтора месяца, ― наверно, из-за начальника почты в Яворе, который считает, что имеет право решать, когда какие письма отсылать и отсылать ли их вообще.

Почерк моей мамы всегда впечатлял меня. Каждая буква была аккуратно начерчена, словно египетские иероглифы, и стояли отдельно, словно поставлены типографом.

«Добрый вечер, любимый сын Михаил!

После полевых работ твой отец и батрак быстро пошли спать, чтобы на рассвете снова приступить к работе. Я тоже целый Божий день была в поле, немного устала, но посмотрела на полную Луну и думаю, что там сейчас мой ребёнок делает? В такую ночь хорошо, по крайней мере, мысленно быть с тем, за кем скучаешь.

Любимый сын, вечера в нашей Яворе прекрасны― мирные, тихие, звёзды в небе блестят как ангелы. Такими вечерами сердце наполняется безмолвной благодарностью за Божье благословение, за то, что на свете есть достойные люди, как пан Коваль.

Я так говорю не потому, что он взял тебя под свою опеку, кормит, даёт крышу над головой, оплачивает учебу. Уже только за это― земной ему поклон, потому что не знаю, делал бы кто ещё такое. Надеюсь, что ты это ценишь. Знаю, в твои годы про это не думают, принимают всё как должное, но я бы утешилась, если скажешь ему как благодарен за его доброту к тебе.

Господь Бог свёл пана Ковалья с моими родителями и с другими из нашей челяди, с тобой. Помнишь рассказ про Волка, нашего пса. Наверно вспоминаешь. О нем вся родня гудела, а когда тебе было три-четыре годика, то должна была каждый вечер рассказывать его тебе на ночь. Не припоминаю, что бы ты хоть раз заснул, пока я не закончила. Но я никогда тебе не говорила, как появился пан Коваль в Яворе.

Мои родители встретили пана Ковалья через несколько дней, как потерялся Волк. Ты наверно помнишь, как отец бежал от наступления австрийских войск, боясь, что гусары повесят его за русофильство. Как-то неподалёку от Киева австрияки неожиданно прорвались через российскую линию фронта, вынудив россиян к беспорядочному отступлению. Внезапно мои родители с пятью сыновьями и четырьмя дочками, среди которых и я ― наименьшая, ― оказались на австрийской территории. Главное, мы тогда имели только одну телегу. Вторую, с которой мы начали путешествие, вместе с конем у нас забрали российские дезертиры. Даже, если бы австрияки нас не поймали, мы всё равно не могли идти дальше, потому что наш конь был убит шальной пулей.

Я смотрела, как братья снимают с убитого коня упряжь, когда услышала крик отца: „Гусары! Гусары!“. Из леса к нам направлялся гусарский отряд. Напуганные, мы выпрыгивали с телеги под мамину защиту. Отец начал молиться, думая про себя: „Тут мне и конец“.

Я слышала, как остановились кони, но раскрыла глаза, когда услышала: „Кто вы? Что тут делаете?“ Я увидела небольшой отряд солдат в австрийской форме во главе с мужчиной, который это спрашивал. Он целился в нас пистолетом.

На вид имел лет тридцать, может больше, а серо-голубые глаза аж сияли на загоревшем лице. Его „императорские“ усы, такие как у Франца-Иосифа, придавали ему солидности. Он медленно окинул взглядом каждого из нас. Когда его глаза встретились с моими, он спросил,

как меня зовут. „Марыся“, ― ответила я, покрасневши как свекла.

― Марыся? ― переспросил он. ― Судя по твоему имени, ты откуда-то из Карпатского края, только там так называют девчат.

Мы удивились, что это ему известно, но еще больше впечатлило, что он это сказал на нашем языке. Выяснилось, что он украинец, львовянин, а теперь „его величества лейтенант“, старший над отрядом кавалеристов. Звали его Иван Коваль. Наш отец, оглушенный таким поворотом событий, слова не проронил, пока мать рассказывала пану Ковалю про нашу передрыгу. Пан Коваль внимательно выслушал, а потом позвал солдата, который отвечал за запасных коней и подарил нам одного.

― Вы Богом данный нам спаситель, ― сказала мать пану Ковалю, когда мы собирались трогаться домой. ― В любое время приезжайте к нам в гости в Явору.

― Счастливого пути, ― ответил он. ― Кто знает, какая на это будет Божья воля, может я и приеду. Пан Коваль был из вражеской армии, но повел себя как благородный человек. Через несколько лет, за год до твоего рождения, он таки приехал в Явору и с тех пор, как тебе известно, каждый год ездил к нам в отпуск.

Так что, любимый Михаил, не забывай, что пан Коваль сделал для твоей семьи и что он делает для тебя. Слушайся его, он добрый учитель. Внимательно учись в школе, и тогда станешь таким солидным человеком, как он. Я ежедневно молюсь, чтобы не было войны и нам снова не пришлось убегать Бог знает от кого. Но старые люди в селе уже видят тучи, которые собираются на горизонте. Они говорят, что предыдущие десять лет рождались одни мальчишки, а это значит ― скоро будет заваруха. Надеюсь, что они ошибаются.

На этом заканчиваю своё письмо к тебе, мой Михаил. Передавай мои поздравления и благодарность пану Ковалю. Он мне писал, что впервые не сможет приехать к нам на лето и что ты тоже остаёшься во Львове из-за учёбы. Я за тобой скучаю. Как и в прошлом году я хотела с тобой пойти в Кропивник, насобирать грибов и ягод. Их этим летом будет тьма-тьмушая, т. к. тёплая погода и часто идёт дождь.

Твоя мать Марыся».

«Я не требую от каждого немецкого мужчины больше, чем я сам готов сделать во время войны...

С этого момента я не более, чем первый солдат Рейха. Я опять надел самую святую и самую дорогую для меня униформу, и я не сниму её, пока мы не добудем победы или пока я не умру»

Гитлер, оглашая своё решение о наступлении на Польшу

1 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА

Я не мог пропустить первый день школы, даже если бы захотел. Перед отъездом пан Коваль обвёл красным вторник 1 сентября 1939 года в настенном календаре.

Я переходил во второй класс гимназии. После четвертого класса меня ожидали два года лица, а затем университет. По крайней мере так планировал пан Коваль. Я же был не против ― он платил за мою учебу большие деньги, т. к. гимназия была довольно престижной. Собственно, он платил только половину, так как сын крестьянина я подходил под «свидетельство бедности», что давало мне право на такую скидку.

По дороге в школу я ощутил, что форма на мне немного узковата. Кожаный портфель в моей руке был лёгким ― там лежала только одна тетрадь. Ночью наверно был ветер, потому что земля была усыпана каштанами. Они, словно дикобразы, ёжились зелёной скорлупой. Я пнул несколько каштанов ногой, не думая что делаю. Один попал в женщину передо мной. Она взвизгнула, наверно больше от неожиданности, чем от боли. Не ожидая, пока она обернётся, я свернул в боковую улочку и подался в школу обходным путем.

Вот почему в свой класс номер 2-А я пришёл последним. Наш класс имел ещё одну

группу ― 2-Б. Они отличались только тем, что иностранным языком 2-А был немецкий, а 2-Б ― французский.

Только я уселся рядом с Богданом, который занял мне место, как в класс вошла учительница. Она была новая, представилась на польском языке. Согласно правил, теперь каждый учебный день должен начинаться с молитвы «Отче наш». В Польше государство и религия были одним целым. Окровавленное распятие висело на стене в каждом классе, рядом с ним, левее, ― портрет маршала Пилсудского, а правее ― польского президента Мосцицкого. Стоя под этими портретами, учительница сказала, что, поскольку у нас урок польского языка, то и молиться мы будем на польском.

Я оцепенел. Я всегда молился на родном языке. Я и представить себе не мог ― молиться по-чужински. Не долго думая, я поднял руку.

― Так. Тебе чего? ― резко спросила учительница.

― А что, Иисус по-украински не понимает? ― боязливо и несмело спросил я. Класс взорвался смехом, но моментально замолчал, когда учительница заорала:

― Цыц, дети! Молчать!

Наступила гнетущая тишина. Меня пронзило холодом от мысли, что вот сейчас меня выгонят из класса или отошлют к злому директору. Что тогда скажет пан Коваль?

Пока учительница подбирала слова, приближались и становились громче выкрики продавцов газет: «Экстренный выпуск! Война! Германия атакует Польшу!»

Как зверушки в клетке, что почувствовали запах свободы, мы сорвались с мест и столпились возле окон. Но скоро мы снова были за партами из-за криков учительницы и директора, который появился на пороге. Урок продолжался так, как будто ничего не случилось. Следующие уроки прошли так же, как будто всё было хорошо. А на следующий день нас всех собрали в спортзале.

К нам с трибуны обратился директор. Он сказал, что здание школы забирают военные и что с этого момента занятий не будет.

Мы взорвались аплодисментами, которые сразу стихли, когда директор презрительно глянул на нас, как генерал на смотре новоприбывших рекрутов. Медленным строкатто он проговорил: «Не беспокойтесь, война будет короткой, немцев разобьют, и скоро вы вернётесь в школу. В это время будьте старательными, выполняйте домашние задания».

Я любил учиться, но надеялся, что война будет дольше, чем думал директор. Мысль о том, что учительница польского языка может завалить меня за мой вопрос (а Богдан был уверен, что так и будет), и вынудила меня надеяться на поражение поляков.

― А что нам до войны? ― сказал Богдан, ― идем играть в шахматы. Шахматы для нас были не просто игрой, а пристрастием. Мы следили за отчетами про чемпионаты в газетах, изучали новые дебюты, хитромудрые ходы, неожиданные маты. Мы играли ежедневно, в основном у него дома. Иногда мы так захватывались, что я оставался у него на ночь. Пан Коваль знал, что если я вечером не дома, значит ― играю в шахматы с Богданом.

Пан Коваль был близки другом отца Богдана. Они встретились в Вене после Первой мировой. Отец Богдана учился там на юриста, а пан Коваль ― на финансиста. Через несколько лет они встретились во Львове. Пани Боцюркив, мать Богдана, обожествляла пана Ковалья. Она расплывалась в счастливой улыбке про само воспоминание о нём.

Её муж умер при непонятных обстоятельствах. Как адвокат он защищал политических заключенных, националистов, коммунистов и других, что не было особо популярным. Одного дня его сбил трамвай. Два свидетеля видели, как его толкнули под тот трамвай два молодчика в чёрных рубашках ― таких, как носят эндеки. Но расследование полиции признало его смерть несчастным случаем. Это принесло Богдановой семье невыразимую боль. Его своевольный старший брат часто повторял: «Настанет день расплаты».

В тот памятный день 1 сентября мы играли в шахматы не так долго, как планировали. Как-то посреди игры Богдан спросил: «Что ты думаешь о войне?» Захваченный врасплох таким вопросом, я пожал плечами. У меня в воображении предстали образы Волка и

учительницы, которая могла меня завалить. «Что я думаю?» ― переспросил я.

Я не успел ответить. Внезапный рёв, который усиливался, словно гром, вынудил нас вскочить на ноги. Не успели мы добежать к окну, как дом встряхнуло взрывом. Это было похоже на землетрясение. Второй и третий взрывы прогремели уже немного дальше. Мы побежали на крышу. Дом находился у подножья холма, на котором стоит собор св. Юра. Оттуда нам было видно тучу густого чёрного дыма, который поднимался над главной железнодорожной станцией; самолёты, что скинули бомбы, растворились в багровом зареве заходящего солнца.

Этой ночью я остался у Богдана. Перед сном мать Богдана приготовила нам ужин― суп и деруны, которые мы макали в сметану. Когда мы сидели за столом, она не казалась ни грустной, ни счастливой. Юность её прошла через жернова Первой мировой войны. Сказала только: «Много разного случится, будет много неожиданностей». У брата Богдана было приподнятое настроение. «Получают по заслугам, ―сказал он, имея ввиду поляков. ― Это только начало».

На следующее утро, по дороге домой, я увидел, как резко изменилось лицо города. Стены и заборы были обклеены плакатами, объявляющими чрезвычайную ситуацию в стране, общую мобилизацию, создание комитетов гражданской обороны. Другие плакаты предупреждали про отключение энерго- и водоснабжения, чтобы немцы не могли отравить город. Улицы были переполнены народом, который торопился в магазины в предчувствии будущей нехватки. Время от времени я встречал отряды пехоты или кавалерии. Уланы-кавалеристы были гордостью польской армии. Они ехали верхом с длинными пиками в руках. Если верить газетам, этими пиками они могли проколоть хотя бы и немецкий танк. Как на меня, они были похожи на каких-то химерных средневековых рыцарей в форме польской армии.

«На всё пора и своё время на каждый предмет под солнцем».
Эклезиаст

ВЫСТРЕЛ

В конце недели появились новые плакаты, которые объявили комендантское время с шести часов вечера до шести утра. Центральную электрическую станцию разрушили немецкие бомбардировщики. Город остался без электричества. Из-за ночных авиарейдов не разрешали включать освещение. В каждом квартале было оборудовано бомбоубежище. По радио призывали население строго соблюдать комендантский час. Каждого, кого обнаружат на улице после 18.00, будут считать немецким агентом и расстреливать на месте.

Рядом с давешними надписями «Бей жида!» появились новые ― «Бей немцев!» По государственному радио звучали патриотические песни, предупреждения о диверсантах. Город также пестрел плакатами с призывами к самопожертвованию: «На войне каждый мужчина любого возраста, как и каждая женщина ― солдаты!»; «За Польшу и Церковь мы будем сражаться до конца». По радиотрансляционной сети епископ начинал «Отче наш» со слов «Дай нам ежедневно нового врага мертвым»...

Государственное радио передавало совсем утешительные новости для поляков. На юге наступление врага остановили западнее Кракова. На севере польская кавалерия прорвалась через вражеский фронт и перешла польско-немецкую границу на пути к Берлину. Победа над немцами была для поляков как игрушка.

Пани Шебець почти ежесуточно просиживала в бомбоубежище. Она боялась оставаться одной. Ей было обидно из-за неблагодарности «сестры», которая, как она говорила, удрала из дома на следующий день после войны, не промолвившись почему и куда идёт.

В конце второй недели войны гражданские на улицу почти не выходили. Не было надобности. Магазины были пусты. Кинотеатры закрыты. Трамваи не двигались. Толпы собирались только возле старых водяных колонок ― длиннющие очереди от малого до старого боролись за воду.

К середине третьей недели на улицах появилось ещё больше военных. Некоторые ― верхом, но большинство ― пеши. Удивительно, они направлялись не на запад к польско-немецкому фронту, а в противоположную сторону ― на юго-восток, в Венгрию или в Румынию.

Я ночевал в бомбоубежище в доме Ванды, как раз посреди нашего квартала. Это был трёхэтажный кирпично-каменный дом с затейливыми окнами и большой аркой при входе, достаточно широкой для проезда автомобиля. Отец Ванды держал там единственный во Львове «Мерседес-Бенц». В основном я бил баклуши, только иногда повторял немецкую грамматику, но вообще ожидал приход войны во Львов. Однажды Ежи согласился сыграть со мной в шахматы. Но я сделал небольшую ошибку: обыграл его уже через пятнадцать ходов. С тех пор он со мной не играл. Он не знал, что раньше я поддавался ему только из-за того, чтобы он имел желание снова играть со мной.

Всё это время Ежи почти не отходил от Ванды. Я заметил, что почти ежедневно после захода солнца они уходили на крышу. Один раз я проследил за ними и шпионил через открытый люк.

Сначала они держались за руки и всматривались в даль. Их можно было принять за два неподвижных силуэта на фоне вечернего заката. Спустя некоторое время они обернулись. Ежи обнял Ванду и они начали целоваться. Потом он крепко прижал её к себе. Лёгкий ветерок закрыл его лицо прядью каштановых волос Ванды. Их неподвижность стала для меня нестерпимой, когда я увидел, как рука Ежи скользнула под юбку Ванды.

Раздался выстрел. Рядом просвистела пуля. Мне показалось, что я умер.

Раскрыв глаза, я увидел окровавленное лицо Ежи. Пуля попала в его затылок, когда они целовались.

Он начал сползать вниз.

Ванда не могла его удержать. Его тело было слишком тяжёлым для неё. Когда он падал, его рука ещё держалась за юбку Ванды, стягивая её вниз.

― Что ты делаешь?― крикнула она, не понимая бесполезности своего вопроса. Он лежал мертвый в луже крови, вцепившись в её юбку. Она пыталась разжать пальцы, но они были слишком крепко сжаты. Осмотревшись вокруг, нет ли кого поблизости, она попробовала снова. Не выходит.

Она оттолкнула его руку, стянула юбку и было побежала вон. Но через несколько шагов остановилась, оглянулась, оцепенела. Только сейчас она поняла, что произошло и кинулась к телу.

Она трясла его, держа за стан, словно пыталась разбудить.

― Ежи! Что же они сделали! Ежи! О Господи! Ежи, проснись! Умоляю тебя Ежи, встань! ― она истошно рыдала, вздрагивая всем телом.

Рядом просвистела ещё одна пуля и упала на землю. Через мгновение третья пуля срикошетила от стены и впилась в крышу в нескольких сантиметрах от меня.

Я вздрогнул и спрятал голову. Закрыв за собой люк, я побежал в убежище в подвал.

― Ежи мёртвый! ― крикнул я.

Ко мне повернулись удивлённые лица.

― Ежи мёртвый на крыше! ― снова закричал я ещё громче, входя в убежище. Но в помещении никто не пошевелился, кроме матери Ежи, которая подбежала ко мне.

― Что ты несёшь?

― Да, он мёртвый.

Она резко остановилась, впялив в меня взгляд. Выражение недоверия на её лице сменилось выражением глубокой боли. Сжимая и разжимая кулаки, она сердито смотрела на

меня, словно упрекая за такую весть. Испугавшись, что она может ударить меня, я подумывал, не убежать ли мне прочь. Но вдруг глаза её закатились, лицо побледнело и она упала на землю, как мешок с картошкой.

Все кинулись к ней и одновременно заговорили. Вихрь вопросов, жестов, напутствий, молитв закрутили каменное убежище. Как это могло случиться? Враг близко. Matka Boska,⁸ защиты и сохрани нас от немецких снайперов. Родители обнимали своих детей, наказывали и нос не показывать снаружи.

Два мужчины отвели меня в сторону и допрашивали. Разве я не знал, что это противоречит правилам гражданской обороны? Как я осмелился без разрешения уйти из убежища?

Я снова и снова пожимал плечами на эти упрёки. Только когда меня спросили, что я видел на крыше, я ответил:

― Ежи и Ванду.

― Что они там делали?

― Стояли рядом.

― Ну?

― Держались за руки, всматриваясь куда-то вдаль.

― А потом?

― Целовались.

― А дальше?

― Я услышал выстрел и увидел как Ежи упал.

― Ты видел? Опиши подробно!

Наконец меня отпустили, предупредив, что бы я не нажил себе проблем.

В сопровождении двух женщин Ванда спустилась с крыши. Была бледной, губы крепко сжаты, глаза пустые, как у мраморной статуи. Мужчинам, которые не сводили с Ванды придирчивых взглядов, было всё понятно: «Во всём виновата она... Соблазнила Ежи... Заманила на крышу... Развращённая кошка... Только шестнадцать, а уже... Как это деморализует наших детей... А что дальше из неё получится?»

Я не видел в Ванде ничего плохого. На самом деле я был влюблен в Ванду. Я хотел, что бы и меня она соблазнила, но я был младше её.

Вдруг все притихли, обратив взоры к входу: вносили тело Ежи. Мужчины с носилками не знали, куда его положить. Рыдая, к ним подбежал отец Ежи, накрыл тело белым полотном. Мать Ежи бросилась к носилкам, но её удержали. Однако, только семнадцать лет... Ой! Застрелили на крыше из-за какой-то малой лярвы, kurevku⁹... Хотя бы он умер за ojczyznu¹⁰... Какая потеря! Господи, смилуйся над Польшей.

Кто-то зажёл плошку, что висела под сводом убежища. Узкие окна тщательно закрыли. Зажгли свечи. Семьи собрались за столом, за ними двигались длиннющие тени. Отец Ванды напомнил, что нельзя зажигать свет. Он имел на это право, ведь убежище было в его доме, к тому же он являлся председателем местного отряда гражданской обороны.

Я одиноко сидел на полу, прислонившись к колонне в глубине убежища. Полузакрытыми глазами я наблюдал за мерцанием свечек и призрачными силуэтами вокруг столов. Я хотел, чтобы пан Коваль был тут. Но железную дорогу разрушили, и он сейчас, наверно, и представления не имеет, когда сможет вернуться во Львов.

Не с кем было даже словом перекинуться, поэтому я принялся считать людей в убежище. Все они были из соседних домов. Многих я знал довольно близко, чтобы

⁸ Матерь Божья(пол.)

⁹ Маленькая курва (пол.)

¹⁰ Родину (пол.)

здороваться, как и полагалось юноше моего возраста. Большинство было поляками. Семьи Гольдшмитов и Шварцов были единственными евреями в этом убежище. Пан Гольдшмит был другом пана Коваля. Его дом был в «американском стиле» — первым в квартале с внутренней телефонной связью. Позвонив от ворот, можно было поговорить со служанкой на кухне. Иногда, зная, что пана Гольдшмита нет дома, мы с Богданом звонили служанке, говорили всякие глупости, а она аж шалела. Мы не хотели её дразнить, просто нас интересовало, как устроена эта связь.

Пан Лепинский, отец Ванды, был владельцем цементного завода в пригороде Львова. Он имел «Мерседес-Бенц». Погожими летними воскресениями он ездил по городу на радость детворе и на зависть большинству взрослых. Жена пана Лепинского была по происхождению немкой, однако его знали как большого польского патриота. Их старшая дочь Урсула более походила на мать и в прошлом году уехала на учёбу в Германию.

Закутанная в одеяло, Ванда спала на походной кровати, только пальцы ног торчали. На самом деле Ежи не любил Ванду, говорил я себе. Я виновато представлял себя рядом с ней, как мы прогуливаемся рука в руку, перекатываемся по траве, сидим на лавочке в парке, смотрим на звёзды.

Мои мечты резко прервал сильный взрыв на улице, от которого дом содрогнулся. Кое-кто упал на пол, другие вскочили на ноги, а ночник себе пошатывался — туда-сюда, туда-сюда.

Начали нервно шептать молитвы. Из другого угла убежища слышался крик Ванды: «Ежи, где ты?!» — её первые слова с момента, как спустилась с крыши.

Отец Ванды выключил радиоприёмник «Blaupunkt», который был присоединён к запасному аккумулятору от «Мерседеса». Диктор заканчивал новости — коммунике штаб-квартиры польской армии.

«Кавалерия польского войска дала отпор немецким атакам на Краков и нанесла существенные потери немецкой танковой дивизии. Продвижение врага на север остановлено километров за сто от Варшавы. Волна войны поворачивается против немцев. Призываем гражданское население остерегаться диверсантов и доносить в полицию или в воинские подразделения про любые подозрительные движения».

Дальше прозвучал польский гимн. Все в убежище встали, и пани Шебець тоже, а я дальше сидел — я же не поляк.

Отец Ванды стоял по стойке «смирно», но лицо его было хмурым. Наверно он знал что радио врёт. Высокий и широкоплечий, он сначала искоса глянул на меня, сжал кулаки, а потом закричал: «Встань, skurwy synu,¹¹ ты же ещё в Польше!»

Когда я вскочил на ноги, он дал мне такую затрещину, что я потерял равновесие. Вытянувшись, он продолжал слушать гимн.

После гимна никто не говорил. Согласно сообщений, польская армия сдерживала врага возле западных границ, а на самом деле оказалось, что немцы, достигли пригорода Львова.

Все молча стелили себе временные кровати. Погасили свечи, светилась только плошка. Несколько суровых на вид мужчин остались дежурить, но вскоре их головы тяжело опустились на стол.

Я делал вид, что сплю, но сам был начеку. С улицы всё сильнее и сильнее доносилось глухое стрекотание артиллерии. Может немцы уже входили в город.

Мои уши улавливали малейшее шуршание. А глаза непроизвольно останавливались на Ванде.

ПРО СОЛДАТ И КАПУСТУ

Вроде бы светало. Бледный свет проникал в убежище. Все вокруг крепко спали, как

¹¹ Курвий сын (пол.)

будто война уже закончилась. Некоторые тяжело дышали. Закутавшись с головой в одеяло, храпел отец Ванды. Наступил удобный момент, чтобы выскользнуть из убежища.

Чёрным ходом я вышел в садик. Наступал рассвет. Ворковали голуби. Резкий запах роз наполнил мои ноздри, и я едва сдержался, чтобы не чихнуть.

Осмотревшись в садике, я пригладил свои взлохмаченные волосы, только чубчик упорно не хотел прилизываться. Как бы я не спал, что бы не делал, этот паскудный вихорь всегда торчал. Его не могли укротить ни вода, ни бриллиантин, ни расчёска. Я ненавидал его.

Однако, сегодня я больше всего ненавидал отца Ванды. Не надо было ему со мной задиаться. Мог бы просто поругать.

Мечтая о мести, я направился росистым, ароматным садом к нашему дому. Продравшись через несколько живоплотов¹² и перелезая через ограды, я оказался перед высоким деревянным забором между нашим и соседским садом. Там была дыра, в которую я мог спокойно пролезть.

Возле неё мне слышались какие-то звуки, не то из кустов, не то из-за забора. Я остановился, прислушался, но ничего не услышав, решил, что наверно это птица или кот. Чтобы убедиться, я швырнул несколько камешков в кусты роз, несколько ― в пионы. Пару кинул за вербу. Хорошо подумав, кинул остатки в наш садик. Тишина, ничего.

Возле перелеза я поколебался немного, потом нагнулся и шагнул вперед. Уже почти на другой стороне забора, я вдруг услышал командный шёпот:

― Стой! Руки вверх!

Одновременно я ощутил острый укол в левое плечо.

― Парень, что ты тут делаешь?

Ошеломлённый, я поднял глаза.

Это был польский солдат, или, скорее, полусолдат: на нём были военные штаны и ботинки, гражданский пиджак и рубашка. В руках он держал винтовку со штыком.

― Я иду домой...за едой. Я ночевал в убежище. Я голодный. Я ничего против вас не имею.

Его глазища, ни карие, ни зелёные, а какие-то дурновато-жёлтые, безжалостно осматривали меня. Он скривил уголок губ так, как будто не мог решить, что со мной делать.

Наконец, переступив с ноги на ногу, полез в свой нагрудный карман и протянул мне кусок сухаря.

Потом он положил винтовку в сторону и начал переодеваться, время от времени поглядывая на меня. Лицо его было большое, круглое и какое-то нескладное: маленький курносый нос, широкие щёки, плоский подбородок, как лопухи уши, и ещё те жёлтые глаза. Типичная *chlowska morda*,¹³ как говорят горожане-поляки.

Его грубая физиономия совсем не подходила к костюму, который он сейчас одел. Так же нелепо выглядело его приземистое, бочковатое тело. Я подумал, что он, наверно, унаследовал этот роскошный, но не идущий ему костюм от кого-то высокого, важного, со статной осанкой.

Внимательно присмотревшись, я понял, что костюм принадлежал пану Ковалю. Он висел в шкафу из красного дерева в спальне пана Ковалья. Тот одевал его только в особых случаях, таким элегантным был его покрой и такой дорогой была ткань.

Солдат, увидев что я узнал украденный костюм, прицелился в меня из винтовки:

― Слушай-ка парень, я взял себе одежду, но я не вор. Он мне нужен, чтобы безопасно добраться домой. ― Он говорил по-польски с провинциальным акцентом крестьян, которые продают молоко и овощи на городских базарах.

Я заверил его, что всё полностью понимаю, и что пан Коваль так же бы с ним

¹² Живая изгородь из кустарника (укр.)

¹³ Хлопская морда (пол.)

согласился. Он ответил, что пан Коваль ему do dupy,¹⁴ но он хочет, что бы я не считал его мелким воришкой.

Скручивая штаны, он рассказал мне, что немецкие патрули прорвались в центр города, но к рассвету отступили на пригородные позиции. Когда я сказал ему, что во вчерашнем выпуске новостей сообщили, что врага остановили за двести километров на запад от Львова, он зашелся смехом.

«Парень, радио врёт. Это конец. Польской армии больше нет. Воюют отдельные отряды. Все остальные разбежались. Именно поэтому я стал дезертиром.

Он застегнул пиджак пана Ковалья, потом выбросил свою униформу в кусты роз и пробормотал:

«Как раз господа, что живут в таких домах с живоплотами, садиками и несут ответственность за войны и кровопролитие.

Пока я обдумывал его слова, он спрятал штык в штаны, а винтовку протянул мне:

«На, парень, будешь играть в солдата.

Я вял, думая, что теперь смогу расквитаться с Вандиным отцом.

Когда дезертир исчез за кустами сирени, я побежал в дом. В спальне пана Ковалья были раскрыты настежь дверцы шкафа, хрустальное зеркало разбито. Пустой нижний ящик одиноко лежал перевернутым на паркетном полу. Всё остальное в комнате было как и раньше, за исключением покрывала на кровати; посредине, там где солдат ложил винтовку, когда рылся в шкафу, получились складки.

Фотель,¹⁵ который, не знаю почему, пан Коваль называл «фотелем любовников», стоял под стеной так же, как и до его отпуска. Сундук, в котором он держал свой коротковолновый радиоприемник, был закрыт, его никто не трогал. Граммофон возле кровати вроде только и ждал, чтобы его включили. А из-за тяжёлых, наполовину задёрнутых штор, пурпурные обои казались ещё темнее обычного.

Это была спальня пана Ковалья, тут он принимал женщин различного возраста и внешности. Даже нашу хозяйку. Некоторых из посетительниц я видел через замочную скважину оголенными. Как на меня, самой красивой была Анна. У неё были до пояса волосы и гладкая, будто из алебаstra, кожа.

Один раз, думая что пан Коваль на работе, я, не постучав, зашёл в его спальню. Я стучал, даже если его не было дома, потому, что, казалось он всегда знал, что я делаю, хотя ничего не видел и ни о чём не расспрашивал.

Зайти в спальню пана Ковалья во время его отсутствия; это вроде попасть в святилище. Я ощущал это и сейчас, когда стоял возле разбитого зеркала. К тому же это чувство усиливала фотография пана Ковалья, на которую падали лучи утреннего солнца, проникающие сквозь щель между шторами. В золотой рамочке под стеклом, на письменном столе возле стола, правее окна, стояла фотокарточка.

На фото был стройный человек в форме австро-венгерской армии, одна рука была опущена в карман. Лицо его было ясным и открытым: прямой нос с чувствительными ноздрями, лукавый взгляд из-под длинных ресниц, подбородок с ямочкой посредине, любовно ухоженные усы. Это было уверенное, самоудовлетворённое лицо с улыбкой, как у святого Юрия, когда он убил дракона.

Рядом со спальней пана Ковалья была моя комната, третья по площади. Небольшой стол, стул и кровать; вот и вся мебелировка. Над кроватью висела икона Божьей Матери с младенцем Иисусом на коленях. Иисусик был голый, а его мать имела на себе шелковое платье с золотой оборкой. Я знал мельчайшие детали образа, т. к. каждый вечер перед сном молился на него.

¹⁴ До задницы (пол.)

¹⁵ Мягкое кресло (пол.)

Мне не хотелось быть сейчас в своей комнате. Она казалась мне хмурой, а глянув на образ, я ощутил вину, что не молился с начала войны. Я взял учебник по биологии за прошлый год и пошёл в спальню пана Коваля. Там я раздвинул шторы, устроился в его «фотеле любовников» и принялся за раздел амёб.

Вскоре я думал только про амёб. В конце концов они выскочили из учебника и заполнили всю комнату. Что бы не задохнуться, я распахнул окно и выпустил их на улицу, в поля.

В окно хорошо было видно поле ― открытая равнина с небольшим озером посредине. Часть поля между озером и моей улицей называли Болгарскими огородами. Болгарская семья, которая эмигрировала сюда перед Первой мировой, выращивала там капусту и другие овощи. Поля по ту сторону озера тянулись до Кульпарковской улицы, которая вела к психиатрической больнице.

Глядя на домики вдоль Кульпарковской, я заметил какие-то небольшие фигуры, которые бежали по полю. Я не мог их рассмотреть. Но чем ближе они подходили, тем больше становились. Скоро десятки, сотни их заполнили поле.

Я узнал форму польских солдат. Они ― кто пеши, кто на конях или велосипедах, неистово рвались в город.

Вдруг поле вспыхнуло взрывами. Солдаты спешили укрыться, но спрятаться было негде. Кое-кто падал на землю, но большинство продолжало бежать. Когда пули били их со спины, они пошатываясь, бросали винтовки, падали навзничь, раскинув руки. Одиноким автомобиль вспыхнул огнем.

Взрыв рядом с домом страшно напугал меня. Потом второй, третий ― задребезжали стекла. Всё было усеяно битым стеклом. Фотокарточка пана Коваля упала со стола. Я лежал на полу, сжимая учебник, а взрывы сотрясали дом.

Скоро, почти одновременно все взрывы прекратились.

Тишину нарушало только чириканье воробьёв. Знакомый церковный колокол пробил семь часов вечера. В бинокль пана Коваля, который остался с Первой мировой войны, я осмотрел поле боя: сгоревший автомобиль, брошенное оружие и противогазы, воронки, поломанные велосипеды, обгоревшие трупы. Около берега озера плавал обезглавленный солдат и его товарищ ― конь, только копыта торчали из холодной воды. С моей стороны поля с корнем вырвало и посеколо пулями всю грядку синей капусты. Уцелело только три кочана.

Тяжёлую тишину разбил какой-то стук, словно железные молотки били по наковальням. Я наблюдал в бинокль, как немецкие танки подъезжали к психиатрической больнице. Выстроившись вдоль Кульпарковской, их контуры были четко обведены розовым солнцем. Очевидно, они были готовы ворваться в город.

Оставаться в спальне пана Коваля было слишком опасно, поэтому я взял винтовку, одеяло, подушку и спустился в подвал.

Свет от свечи был слишком тусклым, чтобы читать, поэтому от нечего делать я играл с винтовкой.

Открыть магазин было нелегко. А когда он всё таки открылся, к моему большому удивлению, оттуда выскочил патрон. Я возился с винтовкой, пока все патроны не очутились у меня в ладони. Потом я снова наполнил магазин, снова опорожнил, снова и снова, пока не заболели руки.

Широко вздохнув, я отложил в сторону винтовку и расстелил одеяло на холодном, грязном полу. Когда закрыл глаза, в моём воображении начали вставать обрывки событий минувших дней. Затем я заснул тревожным, беспокойным сном.

«Варшава сдаётся»

Заголовок в Volkischer Beobachter, 9.28.1939

*«Ваше сообщение о введении немецких войск в Варшаву получил.
Передайте мои приветствия и поздравления германскому*

КТО УБИЛ МОЕГО ОТЦА

Как хорь, я шёл следом за кем-то, где-то там, наверное, на том бугру что был впереди. Капли дождя и лапчатые снежинки смешивались с потом на моём лице, тонкими струйками стекая вниз. Я не мог вытереться, т. к. обеими руками держал винтовку. Я был готов к любым неожиданностям. Один неосторожный шаг и они могут заметить меня, моё тело изрешетят пулями, пока я услышу их звук.

Еле волоча ноги болотистой дорогой, я медленно приближался к своей цели. Остановился. Дождь перестал. Из-за туч выглянуло солнце. Я соскоблил грязь с ботинок, одёрнул форму, обтёрся.

На мне была форма австро-венгерской армии с несколькими медалями на груди. Я понимал, что я сейчас – лейтенант кавалерии Его Величества Иван Коваль. Шёл я чванливо, по-офицерски. Наконец-то я заметил между деревьями вход в пещеру. Из осторожности я повернув направо, чтобы меня никто не увидел, и тогда боком проскользнул к входу.

Нацелив винтовку на вход, я выискивал хоть какие признаки жизни. Прислушался. Припал ухом к входу. В невозмутимой тишине было слышно, как с деревьев падали листья.

Я вошел в пещеру и оцепенел от сплошной тьмы и угрюмой тишины.

– Наконец ты пришёл!

Меня пронзила холодная дрожь, когда я услышал тот хриплый голос. Повернувшись в направлении, откуда он звучал, я увидел кучу лохмотьев. А среди них – лицо человека. Его зубы безостановочно цокали.

Господи, это невероятно! Мой отец! У него отсутствовало левое ухо, которое оторвало шрапнелью во время Первой мировой.

Он не узнал меня.

– Солдатик, – сказал он наполненным болью голосом. – Я калека, у меня сломаны обе ноги. Смилуйся, убей меня.

Он что, сдурел? Или всё это мне кажется? Я начал отступать к выходу, держа винтовку нацеленную на него.

Его лицо налилось гневом, он закричал:

– Не будь трусом, байстрюче!¹⁶ Убей меня!

Трус? Нет, я не могу. Не могу это совершить. Но одновременно мой палец нажал на спуск.

Его тело под кучей лохмотьев передёрнула судорога, оно поднялось и упало вниз лишенное жизни. Я повернулся и пошёл назад знакомой тропинкой. Падал снег. До утра он заметёт мои следы.

Проснувшись, я не знал кто я, где я. Я схватил настоящую винтовку, которая лежала рядом. Кто убил моего отца – я или пан Коваль?

Вспомнив сон, я решил, что убил его я. Я знал, что он мой отец, хотя для него я не был его сыном.

Зажёгши свечку, я закрыл двери на засов. Меня охватило чувство, что я не на месте. Вроде переступил порог комнаты без пола. Может это из-за войны? До этих пор, подумал я, война была как развлечение. А как оно по-настоящему?

Я уже был свидетелем, как снайпер застрелил Ежи, видел стычку, в которой солдат

¹⁶ Внебрачный ребёнок (укр.)

секли, как капустные кочаны. Это было страшно, но вроде как понарошку, как в журнале про испанскую войну, который я видел три года назад. Но теперь, после этого сна, я видел её по-другому, возможно, это случилось потому, что я вот уже две ночи почти не сплю. Почему-то вспомнил отца Ванды. Он был самым уважаемым человеком в нашем квартале, а может и во всём городе. А как недостойно он обошёлся со мной. Война меняет людей... Что она делает со мной?

Наступал вечер. Покинув своё гнёздышко, я направился в кладовку пани Шебець. Я думал что она закрыта, а нет. Зимой полки кладовки выгибались от банок с вареньем, маринадов, зелёных помидоров, повидла, от грудинок и колбас, сыров и разнообразной вкуснятины, которая может стоять до весны. Сейчас тут было только несколько банок с солёными огурцами и колечко колбасы на крючке. Не много, но для меня достаточно. Если пани Шебець и спохватится за ними, во всём обвинят дезертиров.

Два года назад эту комнату использовали как квартиру. Тут была небольшая печка, умывальник и стол в углу. В городе было множество таких подвальных помещений, особенно в «зажиточных» домах. У нас тут жил Василий — наш дворник с женой и ребёнком. Два года тому назад пани Шебець уволила его, подозревая что он крутит «шуры-муры» с её сестрой. Это правда, я сам не один раз был свидетелем, как Ульяна ходила к нему, да и пан Коваль это видел. Хотя к предположению про «шуры-муры» он относился скептически. «Ульяна, говорил он, старая дева, она бросилась бы наутёк, если бы мужчина хоть пальцем до неё дотронулся».

Ульяна была немного чудаковатой. Иногда у неё целую ночь горел свет, а днём она и на глаза не показывалась. Могла уехать на несколько недель, никому не сказав куда и зачем. Но ко мне она относилась хорошо. Два месяца назад мы случайно встретились на улице и несколько кварталов шли вместе. Она расспрашивала, какие предметы я изучаю, что думаю про своих учителей. Оказалось, что она почему-то считает пана Ковалья моим отцом и для неё было полной неожиданностью, что он всего лишь мой опекун. За время нашей беседы она ни разу не улыбнулась. Лицо было напряженным, постоянно озиралась, словно хотела убедиться, что за нами никто не следит. Когда мы вышли на шумную улицу, она пробормотала «фашистская сволочь» — выражение, которое я раньше не слышал. Не успел я и рот раскрыть, чтобы спросить что это значит, как она свернула в узкий проулок и исчезла в толпе.

Выйдя из подвального помещения с куском колбасы в кармане, я направился в свою угрюмую комнату. Гляну на настенный календарь — 20 августа 1939 года. Пошёл на веранду, открыл окно и начал рассматривать вчерашнее поле боя в бинокль пана Ковалья.

Было подозрительно тихо. Тела убитых солдат лежали также неподвижно, как вчера.

Обгоревший автомобиль не двигался, а мёртвый конь, у которого распухло брюхо, мирно плавал в озере рядом со своим всадником. По другую сторону поля стояла тишина. Вчера на Кульпарковской толпились немецкие танки, будто собирались войти в город. Сейчас она была пуста, разве что какая-то бездомная собака шаталась там, не зная куда деться.

А может немцы вообще ушли? А может они тихонько въехали в город ночью? Эта мысль меня рассмешила. Просто смех берёт, как мгновенно меняется политическая ситуация.

Загадка была решена, когда пани Шебець внезапно появилась на веранде со своими подушками и одеялами под мышками.

— Ну всё! Конеч! — выкрикнула она, увидев меня, а потом добавила: — Больше никаких убежищ, на добро или на худшее. Наверно, на худшее.

Она глубоко затянулась Plaski, дамской сигаретой, и затяжка за затяжкой рассказала мне, что произошло. Отец Ванды, сказала она, включил свой Vlaupunkt, чтобы послушать новости, но Львовская и Варшавская станции молчали. Он настроился на немецкую волну, надеясь услышать, что польская армия уже где-то под Берлином. Но то что он слышал, полностью ошеломило его. Польская армия сдалась. Это повторили на немецком и русском

языках. Германия и Россия делят трофеи. Западная часть Польши отходит немцам, а восточная вместе со Львовом — россиянам. Глаза пани Шебець всматривались куда-то вдаль, когда она добавила:

— Увидим ли мы ещё когда-нибудь пана Ковалья?

Теперь понятно, почему на Кульпарковской не было никаких движений. Немцы отступили, освободив место для русских.

«Наша армия — освободительница трудящихся»

Сталин

«Человеку язык дан, чтобы припрятать свои мысли»

Талейран

МИР ГОЛОДНЫХ И РАБОВ

Вернувшись домой, пани Шебець начала командовать мной. Она не позволила бы себе такого, если бы пан Коваль был тут. Я должен был принести уголь из подвала, налить керосин в лампу, подмести веранду, принести воду от общественной колонки. Вечером, устав от неё, я решил спрятаться в своей комнате. Однако, вид учебников, которые покрылись пылью, вынудил меня передумать. Пани Шебець можно было избежать, только уйдя из дома. Почему бы мне не провести Богдана, подумал я. Он проживал в каких-то полчаса хода от меня, возле школы. Это было опасно, т. к. хотя польская армия и капитулировала, некоторые солдаты, не желая сдаваться в плен, занимались на улицах мародёрством, чтобы добыть гражданскую одежду, продукты и иное добро.

Только я вышел на веранду, как заметил удивительную тучу пыли над грунтовой дорогой, которая пересекала поле на другой стороне озера. Оттуда появился отряд всадников, который быстро мчался, как бы убегая от кого-то или спеша к своей цели, пока та куда-то не исчезла.

Не успела за ними осесть пыль, как появились пешие колонны. Я выбежал им навстречу.

Они быстро шагали в три шеренги, словно бежали и вроде хотели догнать заходящее солнце. Незнакомая униформа тёмно-коричневого и бледно-оливкового цвета свидетельствовала, что это ни немцы, ни поляки. Если бы не оружие, я бы подумал, что тут какие-то странствующие монахи.

Их обветренные лица были такими же красными, как пятиугольные звёзды на их зелёных касках. Глаза были узкие и раскосые. Грязная обувь, винтовки за плечами, на груди пояс с патронами, над касками остриё штыков — казалось, что они сошли с экранов фильмов про Первую мировую войну.

Мысленно я листал страницы учебника истории. Кто они? Татары? Турки? Монголы? Гунны? Надеюсь, что нет, потому что те, если вспомнить, были варварами, которые грабили, насиловали и убивали. Турки к тому же брали в ясырь маленьких детей и воспитывали из них янычар. Впрочем, подумал я, кто бы они не были, хоть с какого уголка земли они пришли, я их встречу. Я поднял руку и, приветствуя, помахал им.

Скоро я в замешательстве опустил руку. Они и не отвечали. Думая, что они просто не знают, что это за жест, я громко крикнул: «Приветствую! А кто вы?» Повторил ещё. Никакой реакции. Казалось, они не понимают по-нашему. А может они боятся меня?

Я крутился возле дороги, надеясь увидеть хотя бы проблеск понимания в их глазах. Но они шагали, всматриваясь вперед, словно заколдованные, а я интересовал их не больше, чем ветер в поле.

Я бежал вдоль дороги, делая вид, что я один из них, но скоро вернулся, испугавшись

сумасшедшего гула танков сзади. Я отскочил в сторону, испуганный большими железными чудовищами, которые кромсали дорогу своими гусеницами, а их пулемёты были упорно направлены в какую-то невидимую впереди цель.

Вдруг из одного танка появилась каска и пара глаз. Однако, когда я махнул рукой, они мгновенно исчезли. Может я рассердил наших гостей тем, что стоял близко на пути их танка? Вскоре танкист снова появился, улыбаясь от уха до уха. В руках он держал для меня какой-то подарок. Шоколад? Конфеты? Отлично прицелившись, он кинул его мне.

Около меня упала газета. Читать я не хотел, поэтому поднял, намереваясь выбросить её, как только исчезну из поля зрения танкиста. Но поскольку он явно ждал мою реакцию на свой подарок, я широко развернул её.

Бумага, как и запах, были совсем другими, чем у газет, которые читал пан Коваль. Отличалась багряным оттенком краска. Формат был значительно большим, поэтому её тяжело было удержать на ветру. Я разостлал газету на земле и положил на углах камешки, чтобы не сдуло.

Это была «Правда Украины» от 22 сентября 1939 года. Над названием был расположен красный герб ― серп и молот ― и лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь, вам нечего терять, кроме своих цепей».

Написано было вроде на моём языке, но слова были какие-то непонятные. Там говорилось про «мир голодных и рабов», про «пролетарскую революцию», «международную солидарность трудящихся», «социализм», «коммунизм». Я понятия не имел, что это значит. Там писали про «освобождение Западной Украины от буржуазного правления» про «братское воссоединение с российским народом», про то, как огромное количество людей в городах и сёлах «приветствует рабоче-крестьянскую Красную Армию». «Отныне мы будем свободные»,― кричали со страницы огромные буквы.

На фотокарточках изображались радостные рабочие и крестьяне в аккуратной праздничной одежде, счастливые толпы, кидающие цветы под ноги освободителям, улыбающиеся солдаты, целующие детей и раздающие на все стороны подарки. На одной из фотографий была незабываемо трогательная сцена ― усатый украинский крестьянин среднего возраста и российский солдат в каске обнялись и целуются в уста. «Навеки вместе» была подпись под фото.

«Будущее с нами!», «Они сделали возможной нашу победу!», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» ― подписи под фотокарточками командиров, генералов, маршалов. На самой большой фотографии, среди страницы, было изображение, безусловно, самого наибогороднейшего и самого великого среди наших освободителей. Его звали Сталин. Лицо его светилось отцовской усмешкой.

Постепенно до меня доходила значимость этого момента. Я хотел быть в тех благодатных местах, где снимали эти фотокарточки. Однако, тут не было ни приветствий, ни объятий, ни подарков, ни поцелуев. Я оказался единственным, кто поздравлял и ничего не имел для них, даже цветочка.

Оглянувшись в надежде найти хоть какой-нибудь одуванчик, я решил сделать бумажные стрелы из «Правды Украины». Кидая их в солдат, я кричал: «Добро пожаловать! Добро пожаловать! Спасибо, что вы освободили нас!»

Однако, как и раньше, ответа не было. Они и дальше шагали по трое в шеренге. Сосредоточенно всматриваясь вперёд, они шла на запад. Наконец все прошли, даже гудящий грузовик с кухней на прицепе, оставив за собой только жалкое облако пыли.

Дорога снова опустела, но почему-то стала ещё сиротливее, чем раньше. Я одиноко сидел, лениво наблюдая, как ветер подхватил газету и понёс её в озеро.

Когда я наконец поднялся, солнце уже давно зашло за небосклон, захватив с собой дневное тепло. Когда я шёл холодным, каменистым полем, у меня в голове крутилось выражение «мир голодных и рабов». В этом ли мире я живу?

ВИНОКУРНЯ¹⁷

После того, как польская армия покинула Львов, а немецкая армия завоевателей отступила с предместья, авангард Красной Армии прошёл городом оставляя после себя пустоту. Власть, полиция, газеты, радио, электростанции — ничего не работало. Улицы без транспорта и людей наполнились какой-то призрачной тишиной. Бюро и магазины закрыты. Церкви были открыты, но туда никто не ходил. Также открытыми были склады, ограбленные польскими дезертирами. Только Кульпарковская улица подавала признаки жизни. По ней тянулась процессия к государственной винокурне, расположенной за психиатрической больницей.

Собственно, кто-то тогда быстро разбил могучие двери винокурни. Вскоре распространился слух, что там брошено миллионы литров чистого спирта.

Польское государство больше не существовало, значит винокурня открыта для всех.

Соблазненный постоянным ходом процессии, я перебежал поле, усеянное жертвами стычки с немцами, и присоединился к колонне. Мужчины, женщины, дети группировались, вооружившись кувшинами, канистрами, банками, бутылками, ведрами, жестянками, кастрюлями, даже ночными горшками... Передо мной семья из четырех человек толкала впереди себя разболтанную коляску с очень старой лоханкой. Колонна двигалась быстро и целенаправленно, без лишних разговоров. Тишину нарушало только бряцание металлической посуды.

Чем ближе мы подходили к психбольнице, тем больше встречали пьяных. Это свидетельствовало, что идти уже недалеко. Вонючие, без рубашек, босоногие, они ругались, спорили, дрались, смеялись, ржали, танцевали. Некоторые блевали и мочились прямо на тротуаре. Другие трахали женщин возле дороги, забыв стыд. Я не привык к такому, поэтому старался не осматриваться вокруг, но всё таки направлялся в винокурню.

Возле винокурни был настоящий ад. Рядом с дверьми, которые еле держались, толпа плыла в двух направлениях: одни выходили ― медленно, осторожно, чтобы не потерять ни капли драгоценной жидкости; другие входили, отчаянно толкаясь и проклиная тех, кто мешал им. Вскоре и меня подхватил поток тел ― толкаясь и выкручиваясь я проник в помещение. Мои глаза и ноздри всё больше жгло от алкогольных испарений.

Тарахтя пятилитровым жбаном, который подобрал по дороге, я осматривал громадный зал, его бетонный фундамент, кирпичные стены, и окна, церковного типа. Посередине стояла цистерна ― громадный бак метров пять высотой и три в диаметре. Я прикинул, что в ней, наверно, около двадцати тысяч литров.

К верху цистерны вела узкая металлическая лестница. Из нижнего отверстия хлестал спирт. Вначале люди, наверно, ожидали своей очереди, но теперь они толкались и бились за доступ к крану. Большая часть спирта выливалась на землю, где его уже было по шиколотки. Мои босые ноги намокли и пекли.

Лестница казалась муравьиной дорожкой ― её облепили пьяницы, которые пытались подняться вверх или спуститься. Наверху слышались звуки драки. Два мужчины хотели спуститься с небольшой платформы на краю цистерны, а те, кто был на лестнице, настаивали, что имеют право идти первыми. В ответ один из мужчин на платформе начал бить ногой по голове того, кто был под ним. Этот, что снизу, схватил его за ногу и толкнул с лестницы. Потеряв равновесие, тот, верхний, раскинул руки, как ворона на ветру, и бухнулся вниз, гулко ударившись о землю. Народ разбежался по сторонам.

Я постарался теперь набрать спирта. Никто не обращал внимания на неподвижное тело с вывернутой головой в луже спирта. Его товарищ на платформе начал пронзительно кричать, чтобы обратить внимание толпы. Его упорно не замечали, поэтому он начал стучать металлическим жбаном по стальному торцу цистерны, наполняя зал пронзительным звоном

¹⁷ Спиртзавод (укр.)

разбитых колоколов. Все остановились и подняли глаза, даже пьяные. Он барабанил ещё несколько минут, а затем кинул жбан вниз.

Теперь он проклинал всех и вся, вместе с Богом за неуважение к его другу. После небольшого перерыва его лицо стало ясным, как полная Луна, которая внезапно появляется из-за тучи. Он заявил, что присоединится к товарищу, потому что по лестнице хода нет, и ему придется лететь. «Я птица! Я полечу! Лечуууууу!»

Он закричал, как орёл. Этот крик, отбившись от стен, наполнил винокурню вибрирующим эхом. Все смотрели на него. Единственное, что было слышно, кроме эха, — плеск спирта из цистерны.

Он стоял спокойно, оценивая расстояние, потом, поставив ноги как птица перед взлётом, выпрямился, вытянув вперёд руки, словно хотел нырнуть. Но, размахивая костлявыми руками, он слишком отклонился назад, пошатнулся, потерял равновесие и упал в люк цистерны.

Я УСПОКАИВАЮ ВАНДУ

Когда я готовил чай, вошла Ванда. Глаза её были влажными от слёз. После скандала на крыше, родители показали ей где раки зимуют. На Ежи им было начхать. По их мнению, этот негодяй из «низшего класса» получил по заслугам. Ванда опозорила и себя, и их. Она пыталась им объяснить, что они с Ежи просто обнимались, когда его убили, но родители не хотели ей верить.

Помимо этого инцидента над отцом Ванды повисла какая-то общая подавленность. Наступало нехорошее время. Польшу поделили и зажиточные поляки, как её отец, неизбежно должны были лишиться своих привилегий.

Я попробовал развлечь Ванду.

Чтобы отвлечь её от забот, я сделал чай и рассказал о приключениях в винокурне. Потом показал ей жбан с чистым спиртом, наполненный до самых краёв. Она безразлично посмотрела на него, но машинально обмакнула туда палец, облизала его и предложила попробовать спирт с чаем и мёдом.

Я принес два стакана в резных серебряных подстаканниках, которые пан Коваль подавал только особым гостям.

Мы положили в каждый по ложечке мёда, налили горячий чай и добавили спирт. Немного подождав, мы попробовали наше варево. Неплохо, но слишком сладко. Добавив ещё спирта и я предложил выйти на веранду. Там мы уселись за небольшой кованый столик, за которым пан Коваль развлекал своих посетительниц. Попивая чай мы поглядывали один на другого в молчаливом предвкушении нового опыта.

Началось всё с лёгкой волны тепла, пульсирующего в висках. Потом она захлестнула всё тело. Моё естество казалось мне всё легче и свободнее.

Ванда начала танцевать с ярким огоньком в глазах. Вскоре к ней присоединился и я. Хотя я не совсем разбирался в таинственных взрослых выкрутасах танго и фокстрота, но неосознанно повторял каждый её шаг.

Очевидно я сказал что-то смешное, потому что мы оба захохотали, хотя я тогда забыл, про что говорил. Мы танцевали, смеялись, попивали чай с мёдом и спиртом. Мои ноги, казалось, летали. Ванда выделяла какие-то причудливые пируэты. Я упал на пол и оттуда созерцал за её движениями. Её юбка высоко поднималась. Густые чёрные косы колебались то туда, то сюда. Хотя при других обстоятельствах я бы стеснялся это признать, но я радовался, что Ежи больше не было с нами. Как хорошо быть наедине с Вандой...

Она кружилась вокруг меня, как балерина. Потом протянула мне руки. Я, пошатываясь, встал. Мы прыгали, вальсировали по веранде, останавливаясь только для того, чтобы сбегать в кухню за чаем или спиртом и мёдом, который казался ещё вкуснее, чем раньше.

Ванда захотела музыки. Взявшись за руку, пошатываясь, пошли к граммофону в спальню пана Ковалья. Включить его нам не удалось и Ванда нетерпеливо начала петь,

побуждая меня присоединится к ней. Вскоре мы всё-таки смогли включить граммофон и комнату наполнила величественная «Кармен».

Я стал в позу тореро, Ванда стала на колени ― мы представляли корриду. Достигнув наивысшей ноты в «Тореадоре», мой немного хриплый голос перекричал музыку граммофона. Я прыгнул на стул, оттуда на кровать, Ванда за мной. Растворившись в смехе, мы прыгали на кровати pana Ковалья. Руки-ноги «летали», голова шла кругом. Что было потом, я почти не помню. Моя голова лежала на коленях Ванды, руки обнимали её талию. Она, кажется, ласкала меня, хотя и не уверен, потому что всё кружилось в бешеном танце — кружилось, кружилось, кружилось...

«ДЕТСКАЯ» МИЛИЦИЯ

― А как там пан Коваль? ― спросила мать Богдана, когда я зашёл к ним. Как всегда, её лицо светилось, при воспоминании о нём.

Я ответил, что пани Шебець переживает, что мы можем больше никогда не увидеть pana Ковалья. Территория, куда он уехал в отпуск, теперь под немцами.

― Я бы не переживала, ― ответила она. ― Он управится, он даже лисицу вокруг пальца обведёт, к тому же...― она не закончила предложение, так как пришёл Богдан и сообщил, что играть в шахматы некогда, надо срочно идти в школу. Его брат Игорь пошёл туда рано утром. Старшеклассники затеяли там что-то особенное, но отказался сказать, что конкретно.

На наше превеликое удивление, школа кишела шумными старшеклассниками. Они бродили небольшими стайками, рылись в шкафах, сдирали со стен карты, крушили всё что могли. Некоторые собирали военную амуницию, которая осталась после отступления польской армии ― бинокли, винтовки, штыки, противогазы. Группа под руководством Богданова брата в школьном дворе развлекалась стрельбой. Мишенями у них были портреты бывших выдающихся личностей, которые раньше висели в классах.

Мы с Богданом вошли в святая святых ― кабинет директора― всё содержимое папок и ящиков стола было раскидано по полу, стулья поломаны, а из его величественного директорского глобуса торчал держак метлы. Масляный портрет польского президента изрешечён дырами, в шею вонзили штык. Глаза и уши маршалу Пилсудскому вырезали, поэтому он стал похожим на циркового клоуна. Даже распятие лежало на полу с отломанными руками и головой, напоминая безголовую рыбу, прибитую гвоздями к кресту.

Только стол директора оставался неприкосновенным Изготовленный из прочного дуба, он одним своим присутствием угнетал, даже без хмурого взгляда директора. Он оказался тяжелее, чем мы предвидели с Богданом. Мы передвинули его к окну, повернули торцом, перевернули и положили одной стороной на подоконник. Затем, собрав всю нашу силу, мы подняли его за другой торец и вытолкнули из окна. Он пролетел два этажа, упал на тротуар и разбился в щепки.

Мы молча стояли, словно заколдованные и напуганные тем, что сотворили. Потом мы бросились в спортзал, где создавали «народную милицию». Брат Богдана, командующий милицией, сначала наотрез отказался даже рассматривать наши кандидатуры. Милиция, сказал он, вещь серьёзная, а мы для неё слишком малы и зелены. Только когда я сказал, что имею свою винтовку и умею её заряжать, он согласился. Меня и Богдана присоединили к группе из пяти человек, где все были на три-четыре года старше нас.

Через некоторое время, в шесть вечера, наш отряд отправился на первое патрулирование. Под руководством старшеклассника, нашего главного, мы с важным видом шагали по улице Сапеги мимо знакомых достопримечательностей: памятника неизвестному солдату, политехнического университета с его колоннами, кондитерской на другой стороне улицы, где до войны я постоянно покупал «Пингвины» ― мороженное на палочке в шоколаде. Теперь двери магазина выбиты, а сквозь расхлябанные окна виднелись только пустые полки.

Внезапно до меня дошло, что на самом деле я и понятия не имел о цели нашего патрулирования, но эту мысль скоро заменили намного большие мучения. Мало того, что моя винтовка ставала всё более тяжелее, казалось она ещё и удлинялась, а может я уменьшался. У Богдана было ещё больше проблем: его винтовка чуть ли не по земле волочилась, тарабана по тротуару во время передвижения.

Это раздражало и унижало нас, но на счастье, кроме саркастических старшекласников, никто не надсмехался над нами. Так как Красная армия только два дня как прошла через город, мало кто отваживался выйти на улицу, хотя я заметил, что многие жители с интересом рассматривают нас из-за задёрнутых штор.

За несколько кварталов до улицы Коперника мы услышали какие-то странные звуки. Мы остановились, прислушиваясь к словам. Голоса сливались в жуткий мотив: «Мы закрыты! Мы умираем с голода! Помогите! Откройте двери!» Голоса волнами доносились из тёмно-серых зданий на углу улиц Сапеги и Коперника. Это была тюрьма Лонцкого.

Мы побежали туда.

Когда узники заметили нас, выкрики усилились: «Помогите! Откройте дверь!» Сотни рук махали нам из-за решёток. Мы же, по примеру нашего главного, высоко подняли винтовки в знак того, что собираемся помочь им.

Вскоре мы были возле входа. Но вид тяжёлых стальных дверей навевал мысль, что кто в них зашёл, выйти ему уже не судится.

Мы били по ним прикладами винтовок, но они не поддавались и наш командир предложил стрелять по замку. Мы отошли назад! Выстрелили! Никакого результата. Мы снова атаковали двери прикладами, но они и не пошевелились, потому что были закрыты на мощный засов в середине.

Кто-то предложил снести двери ручной гранатой, но никто не знал как это сделать.

На звуки наших напрасных попыток узники закричали ещё громче: «Откройте двери! Откройте двери! Откройте!» Они казались такими озверевшими, что в душе я побаивался их выпускать.

Вдруг с другой стороны двери послышался дрожащий голос:

«Вам чего?»

«Откройте двери!» крикнули мы.

«Кто вы?»

«Сказано, откройте двери!»

«Кто вы такие?»

«Патруль.»

«Какой такой патруль?»

«Патруль милиции.»

«Чьей милиции?»

«Народной милиции. Немедленно откройте, или будем стрелять.»

«Вы же просто дети...» он наверно украдкой наблюдал за нами через какую-то щель.

«Мы милиция!» повторили мы. «Пока не поздно, откройте двери!»

«Вы не понимаете. Тут тьма-тьмушая преступников: коммунистов, националистов, другого отребья. Их нельзя просто выпустить. Поэтому я тут и остался» чтобы передать ключи новой власти. Я ответственный за ключи от камер.

«Открывайте! Мы» новая власть!

Помолчав, человек сказал:

«Хорошо, но пообещайте, что не тронете меня.»

«Обещаем,» хором сказали мы.

По обе стороны дверей установилась напряжённая тишина. Он, наверно, рассматривал нас в щель. Затем мы услышали бряцание ключей в замке и скрип внутреннего засова. Мы стояли с винтовками напротив входа.

Двери медленно начали отворяться. В тусклом свете мы увидели небритого старика в помятой форме тюремного сторожа. Мне он показался полусумасшедшим. Передав нам три связки ключей, он растолковал, что тут есть сорок камер, где сидят несколько сот заключенных; некоторые политические, а в основном обыкновенные уголовники.

Мы предложили ему исчезнуть вон, пока мы не открыли камер, но он настоял что останется, потому что не боится. За всё время своей службы он никогда не контактировал с заключёнными. Все двадцать лет он тут только и делал, что ремонтировал замки и изготавливал ключи. Он сказал, что человек он богобоязненный и никого бы никогда не обидел. С тех пор, как пять лет назад умерла его жена, тюрьма Лонцкого стала для него единственным домашним очагом, тут он себя чувствовал в безопасности, как нигде.

Он хотел сопровождать нас к центральному зданию тюрьмы, где находилось большинство узников, но мы приказали ему остаться.

Выйдя во двор, мы услышали полные отчаяния голоса: «Выпустите нас! Выпустите нас!» Сотни рук бешено рвались из-за малюсеньких зарешеченных окон, приветствуя нас.

Мы открывали камеру за камерой сверху вниз.

Из каждой двери вырывалась стайка грязных неопрятных существ. Некоторые на мгновение останавливались, словно не веря в свою свободу. Только нескольких заинтересовало, кто мы такие. Те, кто ещё был закрыт в камерах, непрерывно стучали в двери.

Вскоре вся огромная тюрьма опустела. Проверяя повторно третий этаж центрального строения, я зашел в мрачную камеру. Воздух в ней пахивал экскрементами, на стенах нацарапаны забытые имена, даты, непонятные сентенции, прощания, ругательства. На одной из стен было вырезано ряд маленьких крестиков с инициалами и датами.

Осматривая эти иероглифы, я испугался, что двери внезапно захлопнутся, закрыв меня в середине. Я опрометью выскочил в коридор, сбежал вниз по лестнице и только эхо шагов осталось сзади.

На другой стороне двора стояло здание, в которое мы вошли с улицы Сапеги. Кругом наступила тишина и я испугался, что мой патруль меня бросил.

По дороге на улицу я наткнулся на старого ключника. Последнее официальное действие он совершил, впустив нас внутрь. Теперь он лежал на земле с глубокой раной в голове, широко раскинув руки. Одна ладонь была повернута так, словно он просил смилостивиться над ним.

Остановившись, чтобы вложить ему связку ключей в руку, я заметил то, что не видел до сих пор; одна его нога была деревянной. Теперь она была неподвижной, как и всё его тело.

РОЗОВЫЙ «МЕРСЕДЕС»

— Что такое? Чего вы хотите? Мою жизнь? — послышался голос отца Ванды.

— Нет, твой «Мерседес»! Хотем покататься!

— Это же моя собственность.

— Мы хотим твой «Мерседес», — захохотали мы. — Держи свою собственность.

— Но он же принадлежит мне.

Игорь, наш милицейский капитан, прокричал: «Как для старого пердуна, ты хороший дурак. Открывай двери! У нас нет времени точить лясы с тобой». Один из ребят добавил: «Не откроешь, подожжем дом».

Чтобы придать весомости нашим словам, я выстрелил в воздух.

Наступила тишина. Ребята мечтательно поглядывали один на другого и на двери, за которыми стоял «Мерседес».

Наконец Вандин, когда-то могущественный, отец трясущимися руками кинул нам

ключи. Как будто по волшебству они упали прямо мне в руки.

Перед нами во всей своей роскошной красе стоял «Мерседес-Бенц» с откидным верхом. Его медные фары глазели на нас с бесстыдным любопытством.

Его верх был открытым, как бы приглашая нас овладеть этим гладким розово-кремовым телом, про которое я так долго мечтал. Мои ноздри ощутили изумляющий аромат; смесь бензина и кожи. Я часто представлял себя водителем этого автомобиля.

Но сейчас место водителя занял Игорь. Остальные присоединились к нему. Двое должны были остаться и завести мотор. Наконец-то появилась искра. Мы аплодисментами приветствовали кашлянье мотора. Игорь нажал на педаль и могучий рёв побудил к более сильным аплодисментам.

Наконец розовый «Мерседес» выехал из гаража. Он пьяно пролетел через тротуар на улицу. Пытаясь развернуться, он резко накренился влево, отскочил вправо, выровнялся, и что-то булькнув себе, остановился как вкопанный.

В то время, пока остальные заводили мотор, Игорь выжимал сцепление, менял передачи, давил на газ, крутил туда-сюда ключом. Каждый раз «Мерседес» отвечал каким-то нездоровым чмыханьем. Со временем и оно стихло.

Некоторые начали толкать, но «Мерседесу» на это было начхать. «Вон все из машины! ― закричал Игорь. ― Толкните её по-настоящему».

Мы, как пчёлы, взялись за работу, но автомобиль не сдвинулся с места, пока Игорь не понял, что просто забыл снять его с ручного тормоза.

Теперь он двигался, но не было искры. И аккумулятор был нормальный, и бензина было достаточно. По крайней мере так считали некоторые ребята. Я же в автомобилях ― ни бум-бум. Игорь важно сидел на водительском месте, а мы его толкали, напевая «Эй, ухнем!». Хоть Игорь, обычно, в такие игры не играл, но к этой с удовольствием присоединился. «Вы, недобитки, ― пронзительно орал он, ― толкайте или вам тут смерть!» Для правдоподобности он выстелил в воздух.

Один из нас закричал:

― Тише! «Мерседес» сейчас перевернётся!

― Толкайте, рабы! ― ответил на это Игорь.

Наш смех, свист смешивались с выстрелами, когда мы катили «Мерседес» под гору. Через несколько кварталов улица выровнялась и затем пошла вниз. Когда авто начало набирать скорость, мы вскочили в него.

Выкраденный автомобиль теперь катился тихо и ровно, постепенно набирая скорость. Кое-кто начал имитировать величественный гул его мотора, и вскоре все присоединились к этому галдёжу.

Свыше десятка мальчишек ехало кто в, а кто сверху розового «Мерседеса». Двое уцепились за кузов, один разлёгся сверху, ещё двое пристроились на буксирном устройстве возле запасного колеса. Другие втиснулись на плюшевые сидения.

Я находился на кузове, моя левая рука и нога трепетали на ветру, словно парус.

В крутой части спуска «Мерседес» вдруг стремительно помчался вниз, подпрыгивая на брусчатке, виляя как пьяный туда-сюда.

Игорь прижал руки к клаксону. Я завизжал, остальные присоединились ко мне. Теперь автомобиль со своим экипажем сорвиголов, которые горланили, вопили, орали, мчался стрелой вниз. Казалось он вот-вот оторвётся от земли.

Не паникуя, Игорь приказал нам пригнуться, чтобы уменьшить сопротивление воздуха. Некоторые умоляли его нажать на тормоз, но он пригнулся к рулю, глаза его стали влажными, не замечая ничего, кроме соблазнительной скорости. Несколько раз меня чуть не снесло. Моя левая нога волочилась по мостовой, но каким-то чудом я удержал такое-сякое равновесие.

Наконец улица начала выпрямляться. «Мерседес» уменьшил свою скорость. Когда она выровнялась со скоростью бега, мы выпрыгивали из него, потом снова запрыгивали, бежали

рядом, носились вокруг, пока он полностью не остановился.

Мы были у подножия холма крутой улицы Мицкевича. Внизу был временный штаб «уголовной милиции». Она состояла из бывших узников тюрьмы Лонцкого, в большинстве уголовников, которые теперь носили красные повязки, изображая из себя коммунистов. Мы уже имели с ними несколько стычек, потому что они считали нас незаконной группировкой и заходили на нашу территорию.

Ехать туда ― значит нарваться на нежелательные проблемы.

Кто-то предложил, что так как мы уже развлеклись, дать возможность и «уголовной милиции» пороскошничать. От удовольствия мы начали подпрыгивать и дали хорошего пинка этой жестянке.

ПОСЕЩЕНИЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ

Из-за металлической ограды и густого живоплота выглядывал, словно спрятанный от улицы, дом. Его высокие золотые верхушки казались непреодолимыми. До войны я часто проходил мимо него, но никогда не видел, чтобы кто-нибудь заходил в него или выходил. Казалось что его покрытые славой жители выехали несколько столетий назад. Один раз мы с Богданом попробовали выцарапать на ворота, но вдруг появился смотритель со злым псом, и с тех пор мы молча избегали той стороны улицы.

Тот дом, говорят, принадлежал шляхетной польской семье Потоцких. В их честь было названо улицу. Я видел это имя в учебнике истории за 6 класс, но тогда я себе и представить не мог, что когда-нибудь войду в этот сказочный дворец.

И вот мы с Богданом изумлённо рассматриваем лепку на фасаде и выпуклые балконы. Из окон второго этажа свисало белое полотно с надписью: «Народный дворец культуры». Под ним, прямо над входом в здание, багряно-красные буквы, написанные как курица лапой, провозглашали: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Мы с Богданом пришли туда на собрание «красной милиции» ― той, которой неделю назад мы послали розовый «Мерседес».

Наверно, мы опоздали. Если там и был какой-то митинг, то он уже закончился. Газоны дворца заполнили многочисленные гости, в основном мужчины, но было и несколько женщин и двое-трое детишек. Они сбивались в шумные группы под деревьями, между кустов роз, среди вытоптанных клумб настижений.

Некоторые нахально разлеглись на покрывалах, простынях и коврах, украденных из дома. Людской шум переплетался со звонким чириканьем воробьёв. Разбитые, пустые и полупустые цветные бутылки, которых было в изобилии, свидетельствовали о пышном угощении, проходившем целый день. Подвалы Потоцких были уже, наверно, пустыми. Неподальку, откуда я любовался величественными окнами дворца в стиле барокко, какой-то мужик блевал, крепко держа бутылку с водкой, чтобы та не дай Бог не убежала.

Ротонда перед роскошным входом в дом кипела судорожным движением. Оттуда мы слышали пение, хлопанье, таинственные крики, но ничего не видели, поскольку её безнадежно закрыли спины других, которые и сами хотели видеть, что там происходит. Мы с Богданом нашли выход ― решили влезть на дерево.

Из этого наблюдательного пункта хорошо было видно центр безумно пьяной толпы, где какая-то толстуха танцевала под аккордеон. Она напомнила мне урода со странствующего цирка, которую называли самой толстой женщиной в мире. Она кружилась и кружилась, а когда поднимала юбку, показывала массу желейного, вялого мясива. Потом она сорвала блузку ― её груди тряслись, как два глобуса, что вот-вот взорвутся.

Пьяницы во внутреннем круге делали непристойные движения. Вдруг один из них схватил сзади женщину и задрал ей юбку: «Смотрите, ей в задницу можно заехать лошадьё с телегой и она не заметит».

В ответ толпа одобрительно засмеялась.

Я не видел что было потом, так как ощутил что меня кто-то легко стукнул по пятке. Это

был один из наших старшеклассников. Он взволнованно приказал нам спуститься: «Собрание прогрессивных граждан проходит в середине. Пошли».

Белые мраморные ступени привели нас в прихожую. За ней был величественный зал, украшенный фресками. Напротив входа на стене кто-то смело написал: «Мы были ничем. Мы станем всем! Да здравствует пролетариат!»

Старшеклассник, которого мы выпустили из поля зрения, появился наверху, на балконе: «Вот, где происходят настоящие события, » крикнул он. » Поднимайтесь!»

Мы быстро присоединились к нему. Протолкавшись душевной комнатой, заполненной потными мужчинами, которые ворчали и тяжело дышали, мы устроились на подоконнике. Оттуда всё было прекрасно видно.

На софе лежала полуголая женщина с раскинутыми ногами, а на ней какой-то тяжёлый плечистый мужчина. Его задница подсакивала, он что есть мочи порол её, будто хотел расколоть пополам. Женщина то ли от боли, то ли от удовольствия, стонала. Её руки и голова дёргалась, как бы в конвульсиях. Остальные мужчины ободряюще шумели, как болельщики на футболе. Они цедили водку прямо из горлышка и выкрикивали непристойные замечания на всех местных диалектах, смешивая польский, идиш, украинский и немецкий языки.

Некоторые напоминали мне заключённых из тюрьмы Лонцкого.

Вверху на балконе старик наигрывал гармошкой знакомый меланхолический мотив » «Последнее воскресенье», бешено популярное танго в предвоенной Польше. Никто не обращал на него ни малейшего внимания. Все прикипели взглядами к событиям на софе.

Моё лицо залилось багрянцем, когда я увидел, как тот человек держит своими куцыми толстыми пальцами член, а потом вставляет его в женщину. Не зная как реагировать, я боялся что у меня вылезут или глаза или язык. Но как я ни старался, не мог отвести взгляд от гипнотически пульсирующего движения задниц и ляжек.

Только пронзительный крик вынудил меня оглянуться на бешеного от ненависти незнакомца, который пробивался через толпу.

» Где моя сестра? » крикнул он, размахивая длинным ружьём с серебряным крестиком, свисающим со ствола.

Теперь повернулись все головы. Только старик и дальше играл себе «Последнее воскресенье» с тем же безразличием, что и теперь.

Силуэт разгневанного стройного незнакомца на фоне заходящего солнца в открытом окне сиял, когда он шагал к софе. С его плеч свободно свисала мешковина, перевязанная в поясе ржавой проволокой. Сумасшедший? В моём воображении промелькнула икона св. Иоанна Блаженного.

Тот, что занимался женщиной, рассматривал вторгшегося с ленивым интересом.

» Прочь от неё! » приказал незнакомец, показывая на женщину.

» Odpierdolsia от моей курвы! » послышался издевательский ответ, польско-украинским суржиком.

» Она не курва, она моя сестра.

Словно чтобы продемонстрировать своё пренебрежение к незнакомцу, полуголый мужчина опять попробовал взобраться на женщину, но к удивлению, она поднялась и оттолкнула его. Под гром общего хохотанья тот упал на пол.

Встав, он поклялся отомстить. Одел штаны, но перед тем как застегнуть их, вынул из кармана тряпку и не спеша, вытер свой обмякший член. Потом забрал у одного из зрителей бутылку, хлебнул водки и внезапно плюнул незнакомцу между глаз так, что тот аж выпустил ружьё. Оружие поменяло хозяина. Теперь всё было в руках насильника.

» Руки вверх! Кайся, сукин сын, сволочь! Ты знаешь, кто я?! Ты оскорбил начальника Красной милиции.

Незнакомец был невозмутим. Непокорная усмешка на его лице в конец разозлила начальника.

«Кайся! Считаю до трёх!»
Опять заиграла меланхолическая гармонь.
«Один!»
Все притихли.
«Два!»
Гармонь заиграла громче. Куцые пальцы начальника сжали курок. Я закрыл глаза.
«Три!»
Я услышал щелчок. Выстрела не было. Опять щелчок, снова ничего...
«Чудо!» крикнул кто-то.
Начальник с досады швырнул ружьё в незнакомца. Когда оно упало на пол, серебряное распятие слетело со ствола. Я в это время раскрыл глаза и увидел, что женщина встала с софы.
Прикрывая распухшие груди, она схватила ружьё и направила его на начальника.
На моё удивление он рассмеялся ей в глаза, ржал, аж за бока схватился: «Дави! Дави!» подстёгивал он её, подходя ближе. «Дави, пока я не взял это проклятое ружьё и не затолкал в твою pizdu».
Когда он сделал ещё один вызывающий шаг, несчастная, затравленная женщина, казалось совсем не знала что сделать. Но когда он протянул руку, наверно, чтобы отвести дуло, она сделала то, что он просил: нажала на курок.
Сражённый неожиданной пулей, начальник подпрыгнул, раскрыл рот, словно что-то хотел сказать, потом ноги его подкосились. Когда он упал на землю, комната была уже полупустой.
Богдан соскочил с подоконника и отчаянно жестикулировал мне уже от дверей. Опустив глаза, я опрометью кинулся к нему. На обратном пути мне снова попал в глаза написанный толстыми красными буквами лозунг: «Мы были ничем. Мы станем всем!»

Не каждый кто в рясе, монах.

НОЧНЫЕ КРЫСЫ

Начали появляться безошибочные признаки того, что дни нашей милиции подходят к концу. И не только потому, что мы не знали цели нашего патрулирования. Под конец недели нашего патрулирования мы были такие уставшие, что едва не падали с ног. Винтовки становились всё тяжелее, а улицы, на которых мы патрулировали — всё нуднее.

Сначала мы высоко летали на волне энтузиазма и таинственности неизвестного. Мы выделили небольшую часть города как свою территорию, а однажды даже решились «нарваться» на «красных милиционеров», основным занятием которых была водка и женщины. Первым делом они захватили винокурню на Кульпарковской, провозгласили её «народной собственностью» и отказали другим в доступе к спирту. Потом они превратили усадьбу Потоцкого в «Дворец культуры» и использовали его для пьяных оргий. Они хвастались, что пригласили на открытие Дворца несколько монашек из монастыря св. Василия и «развлекали» их до самого утра. Они сказали, что бедным женщинам после стольких лет воздержания только этого и надо было. Одна из монашек убежала и попросила у нас защиты.

Были и другие признаки завершения нашей милицейской службы. Эти признаки можно было наблюдать только во время ночного патрулирования.

В первую неделю после того, как Красная армия прокатилась через город, чтобы установить новую границу с Германией, город напоминал ребёнка, который потерялся. Им некому было руководить. Испуганные жители, не зная что ожидать, не выходили из домов. Только самые смелые решались выйти на улицу.

Ночью улицы были ещё безлюднее. В это время можно было встретить разве что бездомных собак, кошек и ещё милиционеров и грабителей. Газовые фонари, которые перед войной каждый вечер зажигали, теперь стояли, словно молчаливая память прошедших времён. К удивлению, темнота что накрыла город, открыла небо. Теперь чётко было видно мерцающие звёзды, даже наименьшие, рассыпанные по Млечному пути. Именно поэтому я отдавал предпочтение ночным патрулированиям. Открытое небо напоминало мне про Явору, где не было ни газа, ни электричества, ни уличных фонарей. Там улицы освещало чистое небо, а жилища ― керосиновые лампы.

Но недавно на сцену ночного города вышли новые актёры. Время от времени появлялись малые и большие отряды Красной армии, маршируя в неизвестном направлении, исчезая бесследно, как ночные приведения. Встречая этих ночных посетителей, мы всегда приветствовали их, но в ответ никогда ничего не слышали. Они вели себя так, словно мы не существовали. Мы называли их ночными крысами. Тихонько, как тени, они под покровом ночи захватывали общественные здания. Горожане не знали, что творилось ночью, а днём жили слухами.

Центром всех слухов была Краковская площадь, расположенная недалеко от Оперного театра на берегу вонючей Полтвы ― реки, которая служила городу сточным рвом. Площадь и часть города около бульвара Легионов была центром Еврейской милиции. Её члены носили красные повязки с изображением чёрного серпа и молота. На территорию враждебных милиций мы ходили только тайно, без винтовок, хотя я и брал свой короткоствольный револьвер. Так я себя чувствовал выше и важнее.

На Краковской площади народ собирался раньше, чем в какой-либо другой части города. Первыми приходили дезертиры, бандиты и обанкротившиеся из-за войны проститутки. К ним присоединялись те, кто хотел что-нибудь продать или обменять, поэтому площадь вскоре превратилась в чёрный рынок. Сигареты, хлеб, водка, соль, сахар, одежда ― тут было всё, но по бешеным ценам. Женское тело было дешевле.

Впрочем большинство приходило сюда поговорить, в поисках новостей. Догадки, правда и ложь на Краковской сплетались в слухи. Отсюда они расходились по всему городу.

При каждом пересказе их раздували, украшали, искривляли и всегда выдавали за самые свежие новости. Казалось, что тут можно услышать всё: выдуманные истории про оголённую женщину без головы ― княжну, казнённую в XIII столетии, которая в полночь ездит верхом вокруг Высокого Замка; про маньяка Макса, который насиловал и расчленял свои жертвы; про Божью Матерь, которая плачет, закрытая в тёмной часовне; про вооружённых мальчиков, которые грабили дома и магазины (наверно это про нашу «детскую милицию»); про дикие оргии в монастыре кармелиток; про сумасшедшего епископа и бывшего польского генерала, которые проводили чёрные богослужения в костёле св. Елизаветы; про предсказания Нострадамусом о кровавом потоке в Европе. Чем больше жестокими и невероятными были эти истории, тем больше нам хотелось их слушать.

Но в один солнечный день всем слухам был положен конец. Внезапно, среди белого дня город заполнили солдаты Красной армии. Вооружённые часовые стояли возле Ратуши, почты, арсеналов, железнодорожных станций, школ, театров, больниц, тюрем. Типографии тоже были взяты под охрану, как мосты и подземные переходы.

Радиоволны вдруг зазвучали традиционной русской музыкой, которую время от времени разбавлял «Интернационал» ― гимн всех трудящихся. Бесконечно повторяли, что благодаря Красной армии мы были освобождены от «буржуазного ига». Отныне мы свободны. Наступило утро светлого будущего.

Кроме новых мелодий, языка, имён, терминологии и радио, в городе появились и новые газеты: «Правда» и «Известия», большого формата, русскоязычные газеты, которые были напечатаны в Москве, и «Советская Украина», меньшего формата, на моём родном языке.

Как и радио, вся пресса объявляла нас вольными и свободными, чем мы благодарны коммунистической партии и её вождю ― «великому Сталину». На первых страницах размещались огромные портреты великого вождя с лучезарной, доброжелательной улыбкой.

Ниже ― фотокарточки радостной толпы людей, благодарной за своё освобождение.

Объявления Народного комиссариата внутренних дел провозглашали первые приказы. Завтра все должны были выйти на свою прежнюю работу. Всё оружие и коротковолновые радиоприёмники необходимо было сдать в течении 24 часов. За неподчинение, было написано в объявлениях, будут строго наказывать.

Некоторым старшеклассникам было жаль заканчивать наши милицейские приключения. Мы же с Богданом облегчённо вздохнули, лишившись винтовок. Когда мы их сдавали в бывшем кабинете директора, Богдан спросил: «А твоя игрушка?» Он знал, что у меня есть револьвер, а я знал, что он увлекался латинскими поговорками, поэтому ответил: «Omnia mea mecum portand»¹⁸

*«Диктатура пролетариата... это самая безжалостная война...
с буржуазией»*

Ленин

*«Мы формируем свои жилища, а потом жилища формируют
нас»*

Черчилль

ЯЗЫК БУДУЩЕГО

Порядок в школе наводили целую неделю. Мы все старательно работали под руководством школьного уборщика. Ребята делали тяжёлую работу ― носили столы и лавки, а девочки чистили полы, стены, окна. Распространялись слухи, что по непредсказуемой новой системой новым директором школы будет уборщик. Как по мне, он это заслужил, почти всю жизнь скобля полы и туалеты.

Я вошёл в школу в день её официального открытия, переполненный любопытством и смешанными чувствами. Перед войной я всегда боялся пересекать вестибюль ― сверху на лестнице стоял суровый директор и поворачивал обратно тех из нас, у кого была мягкая форма, грязный воротничок, или не должным образом прикреплен на левом рукаве синяя нашивка с серебряной окантовкой и номером нашей школы.

Я всё это вспомнил, когда переступил порог школы. А что, если тот бог мести где-то прячется, тайно посматривая на меня? Отлично! Пусть видит, что я не одел ни пиджак, ни галстук, а верхняя пуговица моей рубашки расстёгнута, а штаны помяты. Большинство ребят выглядели так же как я, в отличие от девочек. Так же как и перед войной, на них короткие юбочки в складку цвета морской волны и выглаженные белые рубашки.

Я, наверное, опоздал, потому что когда зашёл в класс, все повернулись. Они засмеялись, увидев что я не учитель, но быстро замолкли, так как в нескольких шагах сзади меня внезапно появился преподаватель. Я уселся рядом с Богданом, за той же партой, что и до войны. Как и раньше, перед нами сидели две девочки: Нора, которая постоянно скулила, и Соня с «хвостиком», которая играла на мандолине в школьном оркестре.

В напряжённой тишине ожидания мы изучали нового учителя с головы до пят. Не было сомнений, кто он такой. С первого взгляда я узнал в нём «советчика», одного из множества гражданских, которые с недавнего времени начали прибывать из Советского Союза. Они появились, словно ниоткуда, в тот день, когда все общественные здания были взяты под охрану. Их легко было узнать по странной стрижке, мешковатой грубой одежде и тяжёлой поступи. В тёплые дни они единственные носили шапки из искусственного меха и серые ватники. Выглядели они все одинаково.

¹⁸ Всё своё ношу с собой (лат).

Войдя в класс, учитель молча смотрел на нас, словно изучая, с удивлением человека, который открыл полностью новый биологический вид. Было ему около тридцати ― коренастый с широким лицом, коротко стриженными волосами и безразличными, холодными, словно стеклянными, глазами. В отличие от наших довоенных учителей, он не имел ни пиджака, ни галстука. В своей чёрной облезлой «рубашке», он больше походил на строителя. Назвался он товарищем Владимиром Максимовичем Смердовым. Отчество для нас звучало удивительно и старомодно ― мы привыкли обращаться по имени и фамилии.

Немного осмотревшись, как бы собираясь с мыслями, он объявил, что является «гордым строителем коммунизма» и что сегодня уроков не будет. А теперь нам необходимо идти в спортзал на общее собрание. Новый директор, товарищ Валерия Ефимовна Боцва выступит с докладом.

Мы встали и пошли за ним.

Спортзал был достаточно большим, чтобы вместить все 12 классов― около пятисот-шестьсот человек. Его паркет когда-то тщательно полировали, он пахнул мёдом. Уборщик, который этим занимался, использовал только пчелиный воск. Наше образование базировалось на греческом принципе: «В здоровом теле― здоровый дух», поэтому у нас ежедневно была гимнастика. Единственным исключением были воскресенья.

Воскресенья были особыми. Никаких уроков. В восемь утра коротенькая Служба Божья.

Временный престол соорудили в дальнем углу спортзала. Службу Божью проводили на старославянском языке, что придавало таинственности, но мешало пониманию. Ежегодно каждый класс ходил на исповедь и причастие. Исповедовали нас после полудня, в соборе св. Юра, а причащали в воскресенье в спортзале. Я не имел ничего против причастия. На голодный желудок кусочек хлеба с белым вином немного бил мне в голову, и я представлял себя среди белявых голубоглазых ангелов. Эти ангелы почему-то всегда напоминали Соню.

Но я ненавидел исповедь. Когда в последнюю субботу накануне войны я встал на колени перед исповедальницей, то не мог вспомнить ни одного греха за собой. Священник вылупил глаза, критически созерцал на меня через маленькое окошко, когда я проямлил, что мне не в чем исповедоваться. «Все мы грешные, сын мой, ― сказал он таким голосом, словно это он исповедовался мне. ― Попробуй вспомнить».

Я взаправду не мог, и чем больше он на меня давил, тем больше я отпирался. Он поднял глаза к небу, словно ища подтверждения, что я вру ― ещё один грех. «Ты что-то скрываешь, сын мой?― спросил он, и выпрямившись, добавил:― Не бойся признаться, Бог тебя простит».

Казалось, что белый накрахмаленный воротничок душит его. Я, очевидно, раздражал его, он терял терпение. В волнении я внезапно вспомнил, что когда-то читал в катехизе про «смертные грехи». Среди них было предостережение: «Не спи в ложе ближнего твоего». Когда я читал про это, то и представить себе не мог, что такое может быть грехом. Это наверно какая-то ошибка, думал я.

Прибодрившись, я сказал: «Отче, я спал в ложе ближнего моего».

Сначала он вёл себя так, как будто недослышал, потом наклонившись, чтобы лучше видеть меня, ошеломлённо, недоверчиво и с интересом спросил: «Ты??? В твоём возрасте!!!»

Покаянно опустив взгляд, я подтвердил: «Да, отче». В то же мгновение до меня дошло значение этого запрета. Но было поздно что-то объяснять. Чтобы очистить меня от зла, которое я не совершал, он назначил мне читать дважды в день утром и вечером «Отче наш» и «Богородице» на протяжении трёх недель.

Теперь, когда мы входили в спортзал, я радовался, что не увижу больше священника.

Никогда спортзал не выглядел так празднично. Волны алых флагов каскадами падали со стен, многочисленные красные транспаранты призывали трудящихся объединяться, бороться против буржуазии, выражали благодарность Коммунистической партии за наше освобождение, призывали нас стать преданными строителями социализма, провозглашали

«диктатуру пролетариата» и «социалистическую демократию».

Посреди стены напротив нас висели два огромных портрета Ленина и Сталина, а по бокам такие же громадные картины Маркса и Энгельса. Над ними — красная звезда, золотые серп и молот и полотно с надписью: «Наши вожди! Наши учителя! Наша жизнь! Наше будущее!»

Внизу за столом, накрытым красной дерюгой, сидело четверо. Один из них был наш бывший учитель, остальные — советчики. Посредине стола стоял графин с водой и стакан.

Куда там тем жалким воскресным молебнам, на которых священник что-то бормотал из «Святого Писания» на непонятном языке, кормил нас хлебом с дешёвым вином, делая вид, что это кровь Иисуса, и проповедям, после которых мы все чувствовали вину. Какой же это был заколдованный круг!

Теперь жизнь, казалось, приобретала новые краски, широкие измерения. По крайней мере, такими были мои первые впечатления.

Первым заговорил наш учитель. Он обратился к нам как к товарищам. Это было что-то новое, поскольку до войны было только «пан учитель», а значит выше, старше. А теперь мы были равны.

Он говорил кратко: это величественное мгновение в истории нашего народа — мгновение освобождения и воссоединения, и мы должны быть благодарны нашим освободителям. Потом он представил лиц, сидящих за столом. Коренастый мужчина в форме с двумя рядами медалей на груди был местным командиром Красной армии. Небольшая женщина рядом с ним — товарищ Валерия Ефимовна Боцва, наш директор. Я отродясь не видел такой женщины — у неё была короткая стрижка. Мужчина в кожаном пиджаке и меховой шапке был первым секретарём исполкома КП во Львове. Я не мог отвести взгляд от его чванливого лица. Оно казалось мне настолько знакомым, что я в какой-то миг даже подумал, что это наш бывший ксёндз в новой ипостаси.

Каждый из них обращался к нам, мы аплодировали, беря пример со своих учителей-советчиков. Вот это были мастера аплодировать! Они точно знали, когда, как долго и насколько громко это делать. В их аплодисментах, кажется, был какой-то припрятанный сценарий, который я тогда не понимал.

По крайней мере мы и дальше аплодировали ораторам, не понимая ни одного слова, поскольку они говорили по-русски. Сначала это не имело значения, просто как-то удивительно было. Однако волны слепого красноречия бесконечно накатывались на нас и я чувствовал себя так, словно меня куда-то относит, словно я потерялся во тьме, которую время от времени пронизывает маленький луч света. За три часа болтовни я так-сяк уловил суть. Самым главным было то, что сказали Маркс и Энгельс, как Ленин воплотил это в жизнь, а Сталин продолжил. Благодаря им, а в частности Сталину, мы наконец свободны.

Боцва обращалась к нам последней. Она наверно знала, что мы почти не понимаем русского языка. В конце доклада она попросила нашего бывшего учителя перевести нам последнюю часть.

— Я прекрасно понимаю, что в условиях буржуазной Польши вы не смогли выучить русский язык. Не волнуйтесь, вскоре вы будете разговаривать на нём лучше, чем на родном. Это природно, ведь русский язык — самый прогрессивный, язык Пушкина, Толстого, Ленина и Сталина. Это язык мирового пролетариата, язык будущего. Стократо её голоса звучало убедительно и соблазнительно. Казалось, она искренне верила в то, о чём говорила.

Когда она окончила, наши учителя-советчики вынудили нас к аплодисментам. Отдельные выкрики наполнили спортзал: «Пусть живёт Октябрьская революция!», «Пусть живёт наш вождь и учитель Иосиф Сталин!» Громоподобные аплодисменты сотрясали стены. Зазвучал Интернационал:

Вставай проклятьем заклейменный

Весь мир голодных и рабов!
Бурлит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.

«Мы говорим рабочим: вам придётся пройти через пятнадцать, двадцать, пятьдесят лет гражданской войны и международных войн, не только чтобы изменить теперешние условия, а чтобы изменить себя, привыкнуть к тому, что политическая власть в ваших руках»

Карл Маркс

НОВОСТИ ИЗ ЯВОРЫ

— Он вернулся! — услышал я выкрик пани Шебець, когда вошёл на веранду.

— Пан Коваль?

— Да, только что прибыл, — сказала она и вытерла излишек помады с уголков рта. — Да, он наконец вернулся. Я приготовлю особый ужин. Мы будем праздновать. Тебя тоже приглашаю.

Её голос дрожал, лицо светилось, ноги на высоких каблуках, казалось, пританцовывали. Если бы я её такой увидел, не зная о приезде пана Ковалья, то подумал бы, что она или упилась, или сошла с ума.

Я не удивился, что на ужин позвали и меня. Когда пан Коваль находился дома, она обращалась со мной как с родным сыном, но когда он отсутствовал, я сразу становился ей чужим. Её отношение ко мне особенно ухудшилось летом этого года. Это был погожий летний день, воскресенье, 55-й день рождения пана Ковалья. Мы с ним сидели за столом на веранде, ожидая, когда пани Шебець подаст ужин. На первое у нас был холодный малиновый суп. Я наслаждался малиновым супом ещё живя в Яворе, когда моя мать готовила его летом для гостей.

Когда суп был на столе, пани Шебець присоединилась к нам, а пан Коваль, как обычно, пожелал «приятного аппетита» и я с аппетитом съел первую ложку. Однако, глотая, я ощутил какой-то странный вкус во рту.

— В чём дело, Михась? Думаешь, только твоя мама готовит вкусный суп? — спросила пани Шебець, заметив как я скривился. К сожалению, я смог ей ответить, только выплюнув суп в тарелку:

— Он имеет привкус мыла!

— У тебя не все дома? — сурово вытаращилась она на меня, как будто я совершил преступление. И я понял, что приятни мне от неё теперь ждать нечего.

Пан Коваль спас меня, попробовав суп. Он подтвердил, что там есть мыло. Фактически, он выловил хороший кусок в своей тарелке. Как оказалось, суп охлаждался в умывальнике, а мыло упало в него с верхней полочки.

Сегодня, обрадовавшись возвращением пана Ковалья, она наверно забыла про этот инцидент. Я был очень благодарен ей за приглашение, потому что с начала занятий я часто ложился спать голодным. Пока что было открыто только несколько бакалейных и хлебных магазинов, и товара там почти не было.

Чтобы что-либо купить необходимо было часами стоять в очередях.

Постучав в двери пана Ковалья, я услышал: «Кто там?» Я обозвался. «Подожди. Я уже иду».

Вскоре он стоял передо мной, небритый в помятом пиджаке, грязных штанах и ботинках. Это был не тот пан Коваль, которого я знал перед его отъездом в отпуск. Тогда он

выглядел как настоящий пан ― в однобортном твидовом пиджаке, тщательно выглаженных брюках, рубашке с накрахмаленным воротником, полосатом галстуке, шляпе Борсалино и туфлях от старого обувного мастера с улицы Русской. Не было и жилета с часами на серебряной цепочке, которые он носил в левом кармане. Его лицо было изнурённым, а усы ― неухоженными. Единственное, что осталось в нём от бывшего пана Ковалёв ― та особая искорка в глазах, перед которой не могла устоять ни одна женщина.

Со словами: «Всё-таки ты выжил без меня», он протянул мне руки. Осматривая меня, он добавил: «Честно говоря, я сомневался, что увижу тебя снова».

Я хотел узнать, что с ним случилось, но он пообещал рассказать мне в другой раз.

Сейчас у него была «куча других проблем». Я знал, что он имел ввиду. Во время Первой мировой войны он сражался против россиян и большевиков. И вот они тут (этого он не ожидал ― надеялся, что Львов останется за немцами), поэтому надо было уничтожить или спрятать всё, что связано с его прошлым. Он хотел побыть в одиночестве, поэтому сказал мне переночевать у Богдана.

На веранде мои ноздри защекотал запах жаренного цыплёнка. Вот не повезло ― прозеваю такую роскошь! Я даже хотел было вернуться и сказать пану Ковалёв что никуда не пойду, но это было бы некрасиво. Я утешал себя мыслью, что у Богдановой мамы тоже что-нибудь найдётся ― хоть какой-то картофельный суп или каша. Может даже и с салом..?

Только я вышел с веранды, как услышал: «Ой, это ты Михайло? А я не знал, правильно ли попал». Возле лестницы стоял какой-то мужчина. Голос казался знакомым, но я его не узнал. Смотрелся он как советчик. Был одет в серую фуфайку и дешёвую шапку из искусственного меха с красной звездой.

Наконец я узнал его. Это был младший брат моей матери.

― Дядя Андрей! Кто бы мог подумать! Как вы сюда добрались?

Он подошёл ближе, оглядывая меня с ног до головы.

― Ну ты и вырос!

Мы пожали руки. Его ладонь была тяжёлой, твёрдой как кора, огрубелой от работы на железнодорожных путях. Я спросил, что это за одежда на нём. Оказалось, что это форма железнодорожников.

Он отказался зайти и поздороваться с паном Ковалём. Дядя Андрей спешил «отметиться в железнодорожном институте». Его «откомандировали» на пятидневные курсы, после которых он станет бригадиром.

― В Польше такого нечего было и ждать, ― сказал он. ― Теперь мы имеем возможность роста.

Он выехал из Явора сегодня утром поездом, который делал первый рейс во Львов. Нужно было время, чтобы наладить железнодорожное сообщение, потому что польский путь был уже, его пришлось расширять для российских поездов.

― Что же, ― сказал он, ― я уже опоздал. Должен идти. Зайду ещё, расскажу как там Явора. А это тебе от матери, ― он засунул руку в сумку и дал мне письмо.

Когда мы разошлись, я не сразу пошёл к Богдану. Сел на лавочку в парке возле собора св. Юра и прочитал письмо.

«Мой сын Михаил!

Прошёл не один месяц с тех пор, как ты получил от меня весточку. Я конечно пыталась как-то связаться в начале сентября, но напрасно ― война разорвала все связи. Я умоляла директора почты принять телеграмму, но он отказался. Я хотела даже дать ему курицу, но ничего не вышло: сказал что телеграф теперь только для военных. Плач тоже не помог. Он вёл себя нагло и бездушно, говорил: „Женщина, твой муж умер в тёплой кровати, подумай о наших солдатах, которые гибнут на поле боя, защищая Польшу“.

Ты, я думаю, понял ― я не осмелилась сказать это прямо ― твой отец

отошёл в вечный мир. Он мирно скончался во сне 17 августа. Я хотела, что бы ты приехал, потому что люди в селе говорят, что если дети не приходят на похорон, то дорога покойнику будет бугристой. Я в это не верю, поэтому не вини себя, ты не знал, во всём виновата война.

Мы положили покойного в большой комнате, а на третий день похоронили около могилы его родителей. Старый священник отец Стояловский отпел его и в прощальном слове вспомнил про его переживания вместе с покойным в Венгерском концентрационном лагере в Теляргофе. Он старше твоего отца, но крепче его. Когда он пел „Господи, помилуй“, его голос лился вроде как с неба. Многие плакали. От этого плача вместе с голосом священника мне казалось, что мертвец вот-вот встанет.

Согласно обычая, после похорон все собрались у нас дома на поминки. Мы ели и пили за упокой души твоего отца.

Ну хватит о мёртвых. Твоя жизнь только начинается. Как там пан Коваль? Вернулся ли он домой? Говорят, многих людей раскидало, а с этой новой границей кто знает, возвратятся ли. Правду говорили старые люди про тучи на горизонте: и вот пришла война. Но никто не верил, что Польша так быстро разлетится. Мы тут это увидели уже на вторую неделю войны. День в день мы видели колонны польских солдат, которые царской дорогой убегали на юг, в Венгрию и Румынию. Это не было направление к немецкому фронту.

В конце небольшие группки солдат налетали на сёла, как стая голодных волков, и грабили еду и лошадей. Василий, помощник отца, две недели скрывался в лесах с лошадьми и коровами.

Не успели исчезнуть поляки, как появились красные. Теперь их тьма-тьмущая охраняют границу с Венгрией и в нескольких километрах от нас новую с Германией. В селе все взволнованы; не знать, что будет дальше. Старики говорят, что россияне, которые пришли сейчас, совсем не такие, как во время Первой мировой. Теперь они выглядят как монголы, и смотрят на нас, как будто мы из другого мира.

С Божьей помощью надеюсь на лучшее, но однажды я увидела, что нас ожидает. Всем в селе от старого до малого приказали прийти на собрание, в господский двор в нижней части села, чтобы обсудить создание колхоза. В накуренном помещении набилось народу больше, чем в церкви на Пасху. Мы молча ждали, и кто бы ты думал, появился на сцене; Пантылив Юзьо, тот что жил в Пертикове в одинокой хате за селом около Царской дороги, неподалёку Турки. Люди говорили, что он то ли баптист, то ли коммунист.

Юзьо представил мужчину в кожаной меховой куртке и шерстяной кубанке как товарища Гришу Коновалова, первого секретаря Турчанского комитета КП. Только он закончил предложение, как послышался голос Николая Багана, нашего соседа, старейшину в селе: „Какой он мне товарищ; я его даже не знаю!“ Лицо Юзьо стало багровым, словно тот флаг, сзади него: „А ну тихо, старый кулак! Ты живёшь прошлым. Тебе говорю, теперь мы все товарищи. Понял, товарищ?“

В зале установилась тишина, как при молитве, но сомневаюсь, чтобы кто-то слушал этого „совита“ в меховой куртке. Знаешь, мы в селе уважаем людей старшего возраста. Что-то тут неправильно, мой Михаил.

Погода ранней осенью установилась хорошая, но ночи холодные. Спасибо Всевышнему, урожай мы собрали ещё до смерти твоего отца и теперь уже всё в закромах. Разве что немного картофеля осталось в поле.

Когда имею свободную минутку, иду в сад и отдыхаю себе на лавочке. Какое это счастье — смотреть на эти яблони! Они впервые зацвели этой весной, а теперь так густо уродили. Помнишь; ты сажал их перед поездкой во Львов? Один раз, когда ты срезал побег, то разрезал себе указательный палец на левой руке. Если забыл, посмотри на палец, там должен остаться шрам.

Твоему брату Ясю в прошлом месяце исполнилось семь лет, а растёт он так быстро, как твои яблоньки. Он часто спрашивает, когда ты приедешь.

Дядя Андрей тебе больше расскажет про Явору. Он где-то через две недели приедет во Львов. Я попросила его встретиться с тобой. Можешь с ним передать мне письмо. Ты уже,

наверно, снова начал учиться, но всё-таки найди для меня минуту. Передавай мои искренние приветствия пану Ковалю. Скажи ему, что на отдых приезжали некоторые его приятели, но без него это совсем не то.

Твоя мать Марыся»

Я УЖЕ НЕ ТОТ, ЧТО БЫЛ КОГДА-ТО

14 февраля 1940 года.

«Дорогая мама!

Хоть ваше письмо и нашло меня через несколько месяцев после смерти отца, но эта новость была для меня как гром среди ясного неба. Она так поразила меня, принесла мне такую душевную боль, что я даже не смог себя заставить сказать пану Ковалю про смерть отца. Дядя Андрей принёс ваше письмо через несколько часов после того, как пан Коваль наконец возвратился со своего расстроенного войной отпуска. Счастье, что я не разминулся с дядей. Он пришёл к нам как раз тогда, когда я шёл к своему наилучшему другу Богдану ― парню, если вы помните, который один раз приезжал на лето к нам в Явору. Дядя Андрей очень спешил. Он даже не сказал про смерть отца, просто дал мне ваше письмо и пошёл себе, пообещав зайти ко мне под конец своих курсов.

Я прочитал ваше письмо в парке на лавочке напротив собора св. Юра, по дороге к Богдану. Только после того, как я закончил читать, до меня дошло, что отца уже нет. Сначала я оцепенел, меня начало морозить, а тогда, ничего кругом не замечая, я расплакался.

Глянув на крест купола собора, я хотел было помолиться за упокой души отца, но подумал, что это не нужно. Нас теперь в школе учат, что то, что старые люди называют душой ― просто выдумка. Люди мечтали о потусторонней жизни, потому что их земная жизнь была очень убогой. Мы, молодёжь, теперь атеисты. Мы научно мыслим. Нас учат строить социализм, а потом коммунизм ― общество, где не будет рабства, эксплуатации и где все будут равными и свободными.

Не будет разницы между городом и селом, не будет непосильного труда с рассвета до заката. Будет вдоволь еды, жилья, одежды, а культура будет доступна всем.

Этому благородному делу нас учат с утра до ночи. У нас больше нет уроков латинского языка и религии, вместо этого у нас больше физики, математики и химии, ведь нас готовят как сознательных строителей человеческого будущего, которые ничего не оставляют на прихоть случая.

В отличие от буржуазной Польши, где ребята моего возраста интересуются такими глупостями, как комиксы, мы теперь после уроков добровольно изучаем практические предметы. В этом семестре я иду на курсы первой медицинской помощи и работы автомобильного двигателя. А на следующий ― военная подготовка, ведь нам надо дать отпор капиталистам. Сейчас наша армия героически борется против них в Финляндии. Я знаю мама, вас это удивляет, потому что вы живёте в другом мире, где керосиновая лампа и конский плуг ― выдающиеся изобретения. Но я уверен, вы будете гордиться мной, когда я закончу школу с золотой медалью и поступлю в университет. Кстати, пану Ковалю больше не надо платить за мою учёбу. Теперь все школы бесплатные.

Относительно пана Ковалья, то ему неплохо, как и пани Шебець, хотя она вскоре потеряет дом, потому что все частные дома экспроприируют. Пану Ковалю разрешили вернуться на прежнюю должность главного бухгалтера.

На бухгалтеров теперь большой спрос, они необходимы для строительства коммунистического будущего.

После того, как возвратился пан Коваль, у нас наладилось снабжение продуктами, поскольку его близкий друг пан Квас ― директор продсклада. Поэтому в очередях нам стоять не приходится. Раз в неделю склад закрывают на „инвентаризацию“, в тот день я иду и с чёрного хода забираю пакет. К тому же Яким, родственник пана Ковалья с Переволочной, иногда приносит нам немного сала и масла.

Поскольку пани Шебець нам больше не готовит, то за кулинарное искусство придётся братья мне. До этого времени моё меню ограничивалось мукой, борщом и кашей. Сегодня я собираюсь приготовить ячменный суп, а приправить думаю последним предвоенным бульонным кубиком. Надеюсь, пан Коваль не будет против.

Желаю вам здоровья.

Ваш сын Михаил.

P.S. Всё предыдущее я написал на уроке физики. Вы, наверно, думаете, что лучше бы я учителя слушал. Заверяю вас, любимая мама, что лекции я слушаю внимательно, но в этот раз не было такой нужды. Нас оставили на год в том же классе, считая, что наше образование при Польше было не на должном уровне. Это и правда относительно некоторых предметов, но относительно математики и физики, так то, что мы учим сейчас― это просто повторение прошлогоднего материала.

Впрочем, некоторые предметы перед войной преподавали совсем по-другому. Например, историю. Раньше нас учили, что историю вершат короли, князья и какие-то герои. Теперь новый историк показал нам, что историю творит весь народ, рабочие и крестьяне, как вы, мама. Мы узнали про эксплуатацию рабочего люда, про его стремление освободиться от правящих классов и религии, которая оправдывала его страдания. Тысячелетиями угнетённые люди боролись за свою свободу. Учитель рассказал, что даже в Древнем Риме было восстание рабов под предводительством Спартака. Мы учимся по-новому смотреть в будущее, смотреть на сегодня и прошлое. Это так захватывающе! Я уверен, что если бы вы были моего возраста и имели такие же возможности для образования, что и я, то тоже бы были за изменения.

Дядя Андрей придет завтра, чтобы забрать письмо. В него я положу свою фотокарточку с паном Ковалем, чтобы вы увидели, как я вырос за последние полтора года».

«Переход от капитализма к коммунизму ―это целая историческая эпоха».

Ленин

«Я противник коммун. Наше национальное пьянство и глубокое невежество укоренены именно в коммунальную систему».

Чехов

«Революция отражается в ней (в России), как солнце в мутной луже».

Троцкий

ПАРФЮМЕРНЫЙ РОТ

Похоже, пани Шебець принимала гостей. Я отложил учебник по истории и начал прислушиваться. Из кухни доносились приглушённые женские голоса. Приоткрыв мои двери на веранду, я услышал голос пани Шебець:

― Мне стыдно за тебя. Ты опозорила наших родителей!

― Будучи вдовой священника, ты имеешь ещё право меня осуждать?

Голос принадлежал сестре пани Шебець ― Ульяне. Ульяна ушла из дома на второй день войны, никому ничего не сказав. Фактически, всем нам были безразличны её приходы и уходы. Для пана Ковалья она была «эксцентрическим созданием», а для пани Шебець ― «старой девой с причудами». Иногда, когда у меня были расстройства желудка и я вынужден был бегать в туалет, я видел, как она приходит домой или куда-то уходит. Я никогда не задумывался, куда она может идти среди ночи, и не думал, что об этом стоит кому-то рассказывать.

Спустя два месяца после войны я с удивлением увидел фотокарточку Ульяны на первой странице «Правды Украины». Газета сообщала о создании городской власти. Под заголовком размещались в два ряда фотокарточки каких-то мужчин и одной женщины: «товарищ Ульяна Богач, руководитель коммунистического подполья Польши, теперь председатель Львовского исполкома».

Это казалось более фантастическим, чем самые нелепые слухи на Краковской площади. Я рассматривал фото. Это точно была она: бледное лицо, волосы, заплетённые в косы с пробором посередине, одна рука короче другой. Я не мог дождаться, когда пани Шебець увидит этот снимок.

Но сейчас, чтобы лучше слышать, я вышел на веранду.

— Прекрати! Ты чего сюда припёрлась? Чтобы меня оскорблять? — голос пани Шебець аж дрожал от злости.

— Сестра, ты первая это начала!

— Какая ты мне сестра? Нас родила одна мать, но теперь мы враги. Та бы радовалась, если бы я окончила свои дни где-нибудь в Сибири.

— Это ты сказала, не я.

— Не строй из себя дурочку, ты прекрасно знаешь что людей депортируют.

— Только бывших эксплуататоров.

— Я знала, что ты не в своём уме, но что бы настолько!.. Я давала тебе еду и крышу над головой, когда ты вроде бы училась, а ты вместо этого работала в коммунистическом подполье... для этих мерзких москалей.

Тишина. Не видя их, я только мог гадать про её причину. Наконец Ульяна заговорила.

— Я не марионетка русских. Я коммунистка. Понимаешь? — коммунистка! И горжусь тем, что иду в авангарде построения лучшего будущего!

— Будущее, будущее... Все вы розглагольствуете о будущем, а в это время люди умирают с голоду, в пустых магазинах призраки танцуют польку. Всё это слова..., слова, россияне кормят нас пустыми обещаниями. Разве тебе не видно? Когда ты наконец опомнишься!

— Речь идёт не только о будущем. Твоя буржуазная слепота мешает тебе видеть всё правильно. Мы уже приняли меры, чтобы все люди были равными, — сказала важно Ульяна, как учительница, выправляя ошибки ученика.

Разозлённая пани Шебець чуть не орала:

— Равными в чём? В нищете? Вы забираете у тех, кто имеет, и отдаёте государству, выравнивая всех в бедности. Вы просто свора бандитов. Я не хочу тебя тут больше видеть!

Последнее слово было за Ульяной:

— Последний раз предупреждаю — хорошо подумай перед тем, как «зарываться» со мной.

Я быстро убежал назад в кухню. Ульяна прошла по веранде, не заметив меня, но я её хорошо рассмотрел.

Всё таки она сильно изменилась. Лицо стало суровой; кос больше не было, вместо них — «социалистическая» стрижка, которая отличала строителей социалистического будущего; плечи ссутулились, будто на них лёг груз истории.

Когда сестра ушла, пани Шебець сидела и курила. Я слышал, как она кляла большевиков, называя их грабителями, отбросами, недоразвитыми животными. «И что они себе думают, те большевики? Себя сгубили и рвутся других спасать!» — сетовала она скорее с отчаянием, чем с вызовом. Это длилось бесконечно, я уже начал переживать за её психическое состояние. Она наверно забыла, что если кто-то это услышит, то на неё донесут за клевету на систему. Счастье, что Анатолия в это время не было дома. Это студент-советчик откуда-то из далёких мест России. Он уже месяц живёт в комнате, которая принадлежала когда-то Ульяне.

Горе пани Шебець могло обостриться и потому, что она больше не была нашей

хозяйкой. Недавно у неё отобрали дом. Теперь она была просто жительницей, и платила государству за квартиру, как и все остальные.

Вечером, когда мы с паном Ковалем пришли к пани Шебець на чай по случаю её пятидесятилетия, она ещё не успокоилась. На ней была белая вязаная блузка, на щеках немного румян, блестящие чёрные волосы завязанные узлом. Она старалась угодить пану Ковалю, крутилась около него, но что бы она не говорила, во всём чувствовались нотки горечи. Когда-то самоуверенный голос нашей хозяйки теперь звучал как у личности, которую понизили в звании, арендатора собственного дома, который не может забыть былой роскоши. Даже комплимент пана Ковалю относительно «изысканного аромата» её парфюмерии не улучшил ей настроение. Она сказала, что это последняя капля духов прошедших славных времён. «Это были настоящие духи, достойные пани, а не та дешёвая российская гадость, что воняет, как коровий навоз».

Она имела ввиду духи, которых в городе была тьма-тьмушая. Из-за нехватки хлеба, сахара и масла во всех магазинах продавали парфюмерию. На них изображались звезда, серп и молот.

Меня удивило, что пани Шебець ненавидела «Красную звезду», так как многим она нравилась. Её пользовались многие девочки у нас в школе, а Анатолий был просто влюблен в неё. Он смотрелся точно как человек на картинке в учебнике, изображающей «нового советского человека», «строителя коммунизма», и пахнул «Красной звездой». Каждый раз, идя на свидание с девушкой, он делал глоток этих духов. Он поклялся мне перед чёртом (перед Богом он не мог клясться, так как был комсомольцем), что его запах изо рта сводил девушек с ума.

«Рабочие, крестьяне и интеллигенция, которые создают Советское общество, живут и работают в тесном сотрудничестве».

Сталин

«На Персее была волшебная шапка, чтобы чудовища, на которых он охотился, не видели его.

Мы же напялили волшебную шапку себе на глаза и уши, чтобы не видеть и не слышать этих чудовищ».

Карл Маркс

ОБЛАКО ПУХА

Сегодня наше первое празднование годовщины Пролетарской революции. Улицы и площади города заполнили толпы трудящихся с транспарантами и знамёнами, на которых было множество звёзд, серпов и молотов ― символов мирового пролетариата.

Вокруг звучит патриотическая музыка, речи, поздравления, гром аплодисментов. Ура! Ура! Ура!

Перед Оперным театром возвышается трибуна, откуда ряд почётных гостей наблюдает за парадом. Проходят бесконечные колонны вооруженных солдат. Сверкающие штыки длинноствольных винтовок кажется вот-вот проткнут небо. Громоздкие Т-34 выхлопывают густые тучи дыма, готовые раздавить всё на своём пути. Почётные гости всё аплодируют и аплодируют. А рабочие всё уракают и уракают.

Вдруг из громкоговорителей загремело «Если завтра война». Десятки тысяч голосов, вместе с моим слились в песне. Поём как можно громче, чтобы доказать, что верим во всё это:

Если завтра война,

Если завтра в поход,
Будь сегодня к походу готов...

Полноводие голосов нарастает с каждым куплетом, достигает вершины. Мы, рабочие, поднимаем кулаки вверх и кричим «УРА! УРА! УРА!», готовые бороться или умереть за то, что нам скажут.

Военный оркестр взорвался музыкой. Гром труб и горнов пленили площадь. Море людских голосов сливается с оркестром: «Вставай проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов». Сжатые кулаки поднимаются вверх, словно пытаются разорвать вершину неба. «Кипит наш разум возмущенный, и в смертный бой вести готов».

На трибуну выходит оратор ― генерал с большим количеством орденов на груди и тяжёлыми повисшими усами. Когда он взбирается на трибуну, с другой стороны появляется юная девушка. На ней узкая с разрезом юбка, на голове миртовый венок с разноцветными лентами, которые ниспадают до бёдер, и красные сапожки. Походка у неё была как у кобылки. Протягивая букет цветов генералу, она чуть ли ему на руки не прыгнула со словами: «Спасибо за освобождение!»

Ревут трубы и горны. Мы заорали «УРРА!», когда генерал обнял её, прижавшись медальми к её нежному телу.

Оставив её сзади, генерал подходит к микрофону. Он стоит смирно, молча, поглаживая усы. Словно по команде, начинает выстреливать слова, как пушка выплёвывает снаряды.

Мы подбадриваем его. Чем дальше, тем больше он расходится. Он вбивает нам в голову долг идти за вождём, быть благодарным ему за освобождение, посвятить свою жизнь будущему. «Будущее ваше!» Замолчал. Мы застыли в тишине. Делает глубокий вдох, подымает кулак и очень сильно кричит: «Пусть живёт наш вождь, сын революции, товарищ Сталин!» Мы неистовствуем. Наше «ура!» поглотило весь город. Одновременно отряд танков стреляет в воздух тремя залпами. Эхо наших голосов усиливается. Оркестр отвечает гимном. Мы присоединяемся:

Это есть наш последний и решительный бой.
И с Интернационалом воспрянет род людской!

Это самый величественный парад в истории нашего города, зрелище доселе невиданного размаха. Только больные и психически неполноценные осмелились не присоединиться к празднованию. Город высказывает благодарность своим освободителям, которые наблюдают за нами с трибуны и аплодируют нашему неистовству.

Они заслужили нашу благодарность, они строят наше будущее, Мы идём за ними, потому что им доверяем. А доверяем им, потому что идём за ними. Они и только они знают правильный путь в будущее. Для нас они символизируют будущее. Они освобождены от тяжёлой работы. Они проектируют наше будущее. Они ездят автомобилями, а путешествуют поездом в спальных вагонах. Еду, спиртное и одежду они покупают в специальных магазинах. Летом они отдыхают в своих дачах в лесной гуще или на морском побережье. В один день наша жизнь, жизнь всех рабочих, станет такой же безоблачной, как и их.

Им уже удалось внести коренные изменения в нашу жизнь. Наши учителя называют эти изменения «историческими» ― они слишком глубоки для обыкновенного ума.

Но произошло немало конкретных изменений, которые видно невооружённым глазом.

Во-первых я теперь на год старше. Учусь в 9-м классе. Начал бриться, втайне пользуясь лезвием пана Ковалю. Так же я пробовал отпустить усы, но они росли какими-то жалкими редкими кустиками. Какое это было разочарование!

Ещё одно изменение в том, что со времени освобождения женщины перестали навещать к пану Ковалю. Ужасно видеть его спальню пустой. Это хуже, чем зайти в Богом забытую церковь. Граммофон в комнате напоминает мне наш с Вандой зажигательный танец. Она больше не живёт во Львове. Её родственники выехали в

Германию. Тот самый договор, по которому Россия и Германия поделили между собой Польшу, предусматривал репатриацию людей с «немецкой кровью» из оккупированных россиянами территорий. Мать Ванды была по происхождению немкой, поэтому её отец, когда-то пылкий патриот Польши, стал теперь Volksdeutscher..¹⁹

Значительным изменением в жизни общества стало то, что у нас теперь шестидневная рабочая неделя. Воскресенья отменили, чтобы рабочие не теряли напрасно своё время.

Одно изменение меня бесконечно радует ― больше не надо молиться. Теперь нас воспитывают атеистами. Поэтому я снял икону святой Девы со стены. Теперь можно спокойно спать ― никто теперь не подсматривает за снами. Но светлое пятно на стене, что осталось от образа, напоминает мне, что однажды святая Дева может неожиданно вернуться и призвать меня к ответственности за непослушание.

Но самым важным изменением в нашем городе было исчезновение магазинных воров. Зато появилось большое количество карманников. У пана Ковалёва накануне праздника Деда Мороза, который заменил Рождество, «свистнули» кошелек. Пани Шебець утверждает, что магазинных воров нет, потому что магазины пустые. Тут она ошибается: на полках полно соли ― тут её в изобилии. Сказать правду, водка и продукты появляются не часто, зато их мигом распродают. Так было неделю перед празднованием нашего освобождения. В магазинах внезапно появились колбасы, хлеб, водка. Очереди были бесконечные.

Ходили слухи, что водку будут продавать также и через неделю после празднования. Водка была драгоценным продуктом, ценнее чем продукты, ведь она уменьшала боль от освобождения. К тому же её можно было перепродать на чёрном рынке за месячную зарплату рабочего. Поэтому её отпускали в водочных магазинах по одной бутылке в руки. Я решил купить бутылочку. Не для того, чтобы продать, а чтобы подарить пану Ковалёву.

В очередь я стал около четырёх часов утра. Я прибыл так рано с надеждой, что буду первым в очереди, когда откроют магазин. К моему великому удивлению, передо мной стояло девять мужчин. Закутанные, они выглядели как снежные бабы. Сгрудившись вместе, чтобы спрятаться от пронзительного ветра, они топали ногами. Это была морозная, как говорили люди, «сибирская» зима, которую россияне принесли нам вместе с освобождением. Что бы не замёрзнуть, ожидая открытия магазина, я натянул старый тулуп пана Ковалёва поверх своей зимней куртки и напялил на голову тёплый шерстяной капюшон. Шарфик, который в прошлом году связала мне мама, я обмотал вокруг шеи. А ноги не мёрзли, потому что поверх ботинок я одел соломенные галоши.

К шести утра очередь выросла настолько, что ей не было конца-края. Посторонний наблюдатель с другой стороны улицы мог подумать, что это безмерно удлинённая гусеница или тысяченогая змея с распухшей головой, хвост которой исчезал за углом собора св. Елизаветы.

Голова этой змеи распухла из-за десятки мужчин, на вид ― хулиганов, которые втиснулись спереди, словно они тут стояли с самого начала. Никто им и слова не сказал, потому что люди боялись хулиганов. Слово «хулиган», как и те, кого так называли, появились после освобождения. Наверно никто не знал, кто они такие. Они не были ни украинцами, ни поляками, ни евреями. У них вообще не было национальности. В отличие от рабочих, крестьян и интеллигенции, которые официально были классом трудящихся, хулиганы были особым классом. Некоторые считали их мелкими преступниками, некоторые ― замаскированными представителями милиции. Впрочем, вероятнее всего, они были настоящими «пролетариями», людьми будущего. Но мне было всё равно, я хотел одно ― взять бутылку водки для пана Ковалёва.

Чем ближе было к семи часам ― времени официального открытия магазина, тем нетерпеливее и суетливее становилась толпа. Очередь уплотнялась, потому что задние начали толкаться. Давление вперёд усиливалось, хулиганов вытесняли. Они же толкали

¹⁹ Немец по крови (нем.)

очередь назад. Началась драка, в ход пошли кулаки.

Какой-то мужчина, закутанный в перину вышел из очереди, пытаясь успокоить противников. На удивление, они остановились и выслушали его выступление про то, что драться нет смысла, потому что мы в одной лодке и действовать должны цивилизованно, потому что весь мир наблюдает, как мы строим социалистическое общество. Он не успел закончить. Один из хулиганов на воровском жаргоне как накинется на него: «Кто ты такой, мать твою й...?! От...сь, пока тебе фары не выбили!»

Мужчина в перине аж оторопел от такого разговора. Он казался образованным человеком, наверно, был интеллигентом. Вначале, не зная как среагировать, он словно окаменел. Его лицо исказила бессильная ненависть. Потом он медленно снял свою перину и набросил на голову хулигана, словно пытался задушить его.

Остальные хулиганы поторопились на помощь коллеге. Перину таскали кто куда, пока не разорвали, только поднялось облако пуха. В это мгновение продавец из середины открыл магазин. Увидев облако пуха, он попробовал снова закрыть двери, но это было поздно. Хулиганы уже втиснулись и давай проталкиваться к магазину. Я тоже потолкался и влетел сразу за хулиганами, которые уже хозяйничали за прилавком среди бутылок.

Я начал колебаться. Тем временем продавец вылез на ящик и разорялся, что хищение государственного имущества карается двадцатью годами заключения.

«Вон! Вон!», кричал он; Магазин закрыт!

«Закрой рот, мошенник, оборвал кто-то. Не бзди, и тебе для чёрного рынка останется.

Я колебался. Но представив, как пойду домой с пустыми руками, я схватил с полки бутылку водки. Как зверь, который идёт на запах добычи, я осмотрелся, взял ещё одну бутылку и затолкал её в боковой карман.

Ощущая жжение в животе, я направился за хулиганами, которые пробирались сквозь толпу. Они изменили тактику: теперь они были на стороне закона, кричали, что идут вызывать милицию.

Люди неохотно расступались и пропускали их.

Выкарабкавшись из толпы, я чувствовал себя гордым. Поворачивая за угол, я оглянулся и увидел длинную, громоздкую очередь трудящихся, которые даром надеялись достать хотя бы одну бутылку водки.

«Не бойтесь негодяев или недобрых; рано или поздно с них спадёт маска. Бойтесь людей доброй воли, которые повернули на ложный путь; они в согласии со своими убеждениями и желают добра...

Но, к сожалению, прибегают к ложным средствам».

Абат Галиани (1770)

ДЛЯ МЕНЯ ОТКРЫТЫ ДВЕРИ ДИРЕКТОРСКОГО КАБИНЕТА

После звонка учитель вручил мне записку: «Сегодня, 12 января, в десять часов, явиться к директору школы». Это через час. Час в формальном понятии, но в действительности намного дольше, потому что наши уроки истории всегда казались намного длиннее, чем должны были быть. Иногда они тянулись бесконечно, словно столетия, из которых состояла история.

По дороге в кабинет директора я не чувствовал ни уверенности, ни подавленности. Если бы меня вызвали к предыдущему директору, я был бы уверен, что ничего хорошего ждать мне не стоит. Это был лютый зверь, ему бы только кого-то унижить или наказать без каких-либо причин.

Зато наша теперешняя директриса, товарищ Валерия Бовца, была женщиной со вкусом.

Она была непоколебимой и властной, но не жестокой. Иногда мне казалось, что она сестра-близнец св. Терезы, подобие которой я часто видел среди икон в церкви св. Юра.

Я не мог припомнить ничего такого, за что меня могли вызвать к директору.

Тихонько постучал, надеясь, что по каким-либо причинам её не будет в кабинете. К сожалению, я сразу услышал её властный голос: «Заходите!»

Входя, я почувствовал, как дрожат мои ноги.

Директриса стояла за огромным, новым дубовым столом. Не сводя с меня глаз, она предложила мне сесть. Она тоже села. Я надеялся, что она сразу скажет, зачем вызвала, но она молча осматривала меня. Я и сам внимательно смотрел на неё с выражением уважения.

Я впервые видел нашу директрису так близко.

Короткая стрижка — это понятно: большинство, как у нас говорили, «восточниц» имели короткие волосы в знак того, что они активно строили коммунизм. Но теперь я заметил, что волосы у неё тонкие-претонкие — казалось, что каждая волосинка росла отдельно, торчала как иголочка у дикобраза. Губы у неё были тонкие, уголками вниз с чёткими, словно карандашом обведенными контурами, и поэтому её рот выглядел так властно, как у довоенного директора.

Наконец, подняв брови, она сказала:

— У меня о тебе очень хорошие отзывы. Можешь гордиться собой.

Она замолчала, давая мне время оценить комплимент.

— Спасибо товарищ директор, — ответил я, не зная что сказать, смущаясь, так как что-то мне подсказывало, что похвала директора может быть опаснее, чем взыскание.

— Учителя говорят, — продолжала она, — что ты активист, один из самых умных в классе, отличник по большинству предметов, в частности по физике и математике. Ты — пример для других. Нам нужны такие люди — будущие учёные. От тебя зависит будущее коммунизма.

Она говорила медленно, каждое слово звучало как солдатский шаг, на последнее предложение сделала ударение. Мне было лестно, что от меня зависело будущее коммунизма. И хотя тогда я ещё не знал, какое мне дадут задание, я радовался, что директор Боцва была так уверена во мне. Её вера в мои способности разжигала мой энтузиазм на будущее. Я удовлетворённо улыбнулся, представив в будущем себя за таким же как у неё столом, а возможно и большим.

Директриса, когда стояла, была ни высокой, ни низкой, но теперь, сидя за столом, она казалась мне настоящей великаншей. Три портрета сзади на стене, добавляли ей важности и значительности. Посередине, где когда-то висело распятие, теперь находилось изображение человека с отцовской улыбкой и пронизывающим взглядом. Это был Сталин — архитектор коммунизма, вождь пролетарской революции. Правее — портрет круглолицего усатого мужчины с низким лбом и копной волос. Его грудь с рядами медалей, как вспаханное поле, компенсировали невыразительность его лица. Это был Ворошилов — маршал Красной армии, защитник достижений пролетарской революции. Левее Сталина был изображён Молотов, комиссар иностранных дел, который полтора года назад подписал с Германией Пакт о ненападении. Пенсне на его задранном носу напоминало мне пани Шебець.

У Боцвы было, безусловно, достойное окружение. Эти трое, в случае необходимости, были в её распоряжении, о чём свидетельствовала её самоуверенность. Опираясь обоими руками на край стола, она наклонилась, штудировав моё лицо. Потом сказала:

— Как я уже говорила, ты один из наиболее перспективных учеников нашей школы. Ты трудолюбивый. Если и дальше будешь так трудиться, тебя ждёт блестящее будущее. Труд и преданность делу пролетариата — вот ключи к коммунистическому будущему.

Соглашаясь, я кивнул. Откровенно говоря, я не очень-то и трудился в последнее время и не собирался и дальше выкладываться. Да, уроки я посещал регулярно, внимательно слушал учителей, к удивлению, имел самые высокие оценки в классе. Однако, после освобождения я почти не открывал книжки. Наши новые учебники, изданные в Москве,

пахли рыбой, их невозможно было читать на голодный желудок.

Всё свободное время я играл с Богданом в шахматы, мечтал о девочках, иногда мастурбировал. Теперь я это делал чаще, чем до освобождения. Тогда это было грехом. Один раз на исповеди священник поругал меня и сказал, что это очень нездорово.

Он повелел мне читать «Богородицу» дважды в день на протяжении нескольких недель. К счастью, через несколько недель после моей исповеди, он умер. Решив, что смерть освобождает меня от каких-либо обязательств, я забыл о наказании.

Я был уверен, что директриса, как убежденная атеистка, оценила бы меня, если бы знала, что я нарушаю Божий запрет. Но она пошла дальше:

— Михаил Андреевич, ты умный юноша. Мы освободили вас от буржуазной эксплуатации, наша система сделает всё, чтобы обеспечить ваше будущее, сделать вашу жизнь богатой и счастливой.

Я хотел поблагодарить её за то, что она рассказала мне, что кто-то хочет сделать меня богатым и счастливым, но она продолжала:

— Но вы должны это заслужить, Михаил Андреевич! Нельзя только брать, необходимо также и давать!

Она выпрямила руку и ещё ближе наклонилась ко мне, словно хотела посвятить меня в очень важную тайну:

— Михаил Андреевич, слышали ли вы о врагах народа?

— Да, товарищ Боцва, — ответил я, удивляясь такому очевидному вопросу, ведь страницы наших газет пестрели статьями про врагов народа и предупреждениями, чтобы мы были бдительными.

Она молчала, пронизывая меня взглядом. Наступила полная тишина, словно в пустой церкви. Я почувствовал, что меня засасывает какая-то невидимая сила.

Потом она отвела взгляд. Я заметил, что за окном кружатся хлопья снега. К счастью, за пределами этого кабинета существовал другой мир.

Боцва снова заговорила:

— Строительство коммунизма — задание не из лёгких. Нас окружают капиталистические страны. Они готовят против нас войну. Естественно, мы их победим. Однако среди нас тоже есть враги — враги народа! Они делают вид, что будто верны нам, но на самом деле хотят подорвать нашу систему изнутри.

Она на миг остановилась, а затем, всматриваясь мне в лицо, добавила:

— Мы должны остерегаться их. Мы должны быть постоянно начеку. Мы должны знать, что они делают. Вы понимаете? Вы понимаете, Михаил Андреевич? Мы должны знать, о чём они думают и как действуют.

Внезапно до меня дошло. Мои ладони вспотели. Она хотела, чтобы я стал доносчиком. Не успел я собраться с мыслями, как она сказала это прямым текстом:

— Я хочу, чтобы ты следил за врагами народа. Присматривайся, что люди вокруг говорят и делают. Если услышишь, что кто-то выражается против системы, или увидишь, что кто-то подозрительно себя ведёт, сразу же доноси мне! Двери моего кабинета для тебя открыты.

Не ожидая моего ответа, она встала и измерила меня взглядом, словно хотела убедиться, или достоин я такого задания. Я тоже встал. Она была невысокой женщиной, но пожатие её руки было тяжелее, чем у всех бывших директоров вместе взятых.

«Если они марксисты, то я нет».

К.Маркс

«Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, но приведёт в упадок душу».

Св. Петр

МНЕ БЫ РУЧНУЮ ГРАНАТУ!

Нет. Никогда. Только не доносчиком. Она хочет, чтобы я доносил на других. Изображать из себя друга и обманывать людей. Доносить ради своего «богатого и счастливого будущего»? Как плавно она подвела меня к этому: «Ты умный юноша... Я хочу, чтобы ты следил за врагами народа». Не дала мне даже возможности отказаться. А если бы и дала, хватило бы мне духу на это?

Эти мысли крутились у меня в голове, как испорченные пластинки пана Ковалья. Доносчиком я не буду. Но... если я не буду отчитываться Боцве, то сам стану подозреваемым ...врагом народа.

Выхода нет. Директриса перехитрила меня, загнала в западню. Моё молчание означало согласие. С течением дней меня начало душить чувство безвыходности. Почему я? Почему она решила, что из меня выйдет хороший доносчик? Боясь, что меня кто-то услышит, я мысленно ругал директрису последними словами.

Во мне нарастала потребность рассказать об этом кому-нибудь, но в то же время неверие всем и каждому. Сначала я думал, что в классе должен быть хотя бы один информатор, но потом начал подозревать всех, даже Богдана, своего наилучшего друга.

Богдан последнее время вёл себя странно ― казалось, он избегал меня. Раньше после уроков мы просто шли к нему и там часами играли в шахматы. Когда пан Коваль выезжал на проверку, а эти поездки становились всё более длительными и частыми, мы играли допоздна и я оставался переночевать. В таких случаях я иногда встречал его старшего брата Игоря, старшеклассника из нашей школы. Но эти встречи были очень короткими, потому что он всегда куда-то спешил. Он редко ночевал дома. Зато мать Богдана всегда была в нашем распоряжении, несмотря на свой напряжённый график работы. Она делала нам горячий чай, а когда я у них оставался, готовила ужин ― кашу, иногда даже с молоком. Сама она, наверно, ела немного, потому что была очень худая. Богдан говорил, что это через волнение ― она боялась, что после экспроприации дома её выгонят из квартиры и вышлют на принудительные работы в Сибирь. Как жена адвоката и бывшая хозяйка дома, в глазах власти она была кандидатом на врага народа.

Теперь, через неделю после встречи с директрисой, я ещё ни разу не играл с Богданом в шахматы, из школы уходил один и часами шатался по городу. На улице я чувствовал себя более свободным.

Обычно, выйдя из школы, я шёл на бывшую улицу Сапеги, потом поворачивал на улицу Техническую, где до освобождения работал пан Коваль. Оттуда я выходил на улицу Мицкевича ― самую крутую в городе, что спускалась около парка. Именно по ней во время своих «милиейских деньков» спустили «Мерседес» отца Ванды.

Около подножья простирался центр города, там я шел в пассаж Миколяша. Перед войной в нем бесцельно прогуливалось много людей ― от старого до малого, хотя в основном молодёжь. Этот пассаж со стеклянным верхом был каким-то особенным.

Когда я пересекал его сегодня, на ум мне пришёл Тарзан и его приключения в джунглях. Перед войной в пассаже был магазинчик комиксов, а рядом с ним продавали мороженное. Я часто заходил сюда с Богданом чтобы купить или обменять комиксы, съесть мороженное, посмотреть киножурнал новостей или просто бездельничать. Теперь тут был магазин военной книги.

Я зашёл туда, не задумываясь для чего, и сразу ощутил, что я не туда пришёл, но дальше направлялся к полкам, словно имел определённую цель. Полки по обе стороны комнаты были заставлены книжками в чёрных и белых обложках. В них описывались истории войн, знаменитые битвы, о полководцах и генералах, но наиболее в глаза лезли тома Ленина и Сталина ― вождей пролетарской революции, которых считали такими же незаменимыми для революции, как Тарзан для комиксов.

На полках на балконе пассажа расположились брошюры и книги на разнообразную

военную тематику. Моё внимание привлекли книги «Пособие по ручным гранатам» и «Военная топография». Я решил их купить.

Книгу по топографии я выбрал, потому что любил карты. Все в классе знали, что я могу от руки нарисовать контуры Европы и Азии со всеми главными реками и горными хребтами. А зачем мне нужно было «Наставление по ручным гранатам», я и не знал. В любом случае, приятно было зайти в книжный магазин и что-нибудь купить, так как в большинстве магазинов, особенно в продуктовых и магазинах одежды, по полкам гулял ветер.

Когда я шёл к кассе, меня остановила продавщица. Я ещё раньше заметил, что она за мной наблюдает.

— Что ты тут делаешь? — спросила она.

Я ожидал этот вопрос, так как был тут единственным в гражданской одежде. Другие покупатели были в тяжёлых зимних ботинках и в шинелях. Большинство из них, судя по меховым шапкам с красной звездой, серпом и молотом, были офицерами.

— Книги покупаю, — ответил я.

— Но это ведь военный книжный магазин, — сказала она, забрала у меня из рук книги, и осмотрев меня, строго спросила: — Ты не слишком мал для этих книг?!

— Нет, — ответил я, удивляясь своей смелости. — Я прохожу курс военной подготовки.

— Где?

— В средней школе № 1.

Нашу школу считали самой лучшей в городе, и я правда ходил на занятия по военной подготовке, но они в основном заключались в умении оказать первую медицинскую помощь. Военная топография, а тем более ручные гранаты не имели к этому никакого отношения.

— Ты комсомолец?

— Ещё нет. Но я — активист! — ответил я, сделав ударение на последнем слове, ведь быть активистом — необходимое условие, чтобы стать членом Коммунистического союза молодёжи.

— Кто твой директор?

— Товарищ Валерия Боцва, — ответил я, очень торжественно, словно гордясь, что имею такую директрису.

— О, Валерия, мой товарищ по партии... — выражение её лица смягчилось.

Я заплатил 6 рублей 45 копеек — меньше, чем десятая часть цены за килограмм сахара на чёрном рынке.

Когда я выходил, продавщица улыбалась мне, хотя её улыбка была не очень естественной.

Вернувшись домой, я застал пана Ковалю уже в кровати, хотя он ещё не спал. Он плохо себя чувствовал — схватил радикулит. В квартире стоял запах салициловой мази. Мне было жаль пана Ковалю. У него была хорошая работа, а из инспекционных проверок он привозил немного масла, сала, домашнего хлеба и делился со мной. Однако, после освобождения, жизнь его полностью изменилась. Он стал затворником. Никаких женщин, никакого чая с ромом, которым он так любил их угощать. Для него остались разве что пани Шебець с её длинной тонкой шеей и выпуклыми глазами под пенсне.

Перед тем, как пожелать спокойной ночи, я приготовил пану Ковалю стакан горячего чая и сказал, что перед сном несколько часов буду делать уроки. На самом деле я взялся за купленные книги. Меня целиком захватило «Наставление по ручным гранатам». Я читал и перечитывал его страницы, изучал рисунки и закончил, когда в лампе выгорел керосин — её свет начал быстро мигать, а затем полностью погас.

К удивлению, на следующий день на уроках мне совершенно не хотелось спать, но с тех пор я не мог серьёзно относиться к своим учителям. Я решил, что все они — доносчики. Единственное, что меня интересовало, — ручные гранаты. Я чётко представлял себе каждую деталь всех трёх типов гранат, которые применялись в Красной армии. Мысленно я их собирал, заряжал, включал таймер, взрывал. Не хватало только

настоящей гранаты.

«Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы».

Сталин

«Лишить жизни одного человека — это убийство. Лишить жизни миллионы — это статистика».

Сталин

«Что ты за человек!» ― крикнул Сталин, когда Милован Джильяс отклонил его предложение выпить по рюмочке.

ПАРИЖСКИЙ ГИПС

Нас отпустили с уроков на два часа раньше из-за сильной метели. Вместе с другими я спустился вниз в вестибюль. Я хотел быстрее выбежать на улицу, чтобы ощутить снег. Вестибюль был небольшим как для здания, построенного в XIX столетии. Каждый раз, когда выходило или заходило больше одного класса, создавался затор. Особенно плохо было утром, около восьми часов, когда все торопились, чтобы не опоздать на уроки. Вот уже несколько месяцев, как эта толчея усилилась. Всему виной была статуя посередине вестибюля.

Эта статуя была настоящим горем. Уверен, что не один ученик вспоминал её «незлым» словом. Лично я не раз проклинал её. Один раз, опаздывая на урок, заспанный мальчик наткнулся на неё головой и разбил себе лоб ― след до сих пор видно. Его строго проучили за отсутствие внимания к вождю, ведь это была статуя Сталина, строителя счастливого будущего. Её установили в вестибюле по случаю первой годовщины освобождения. Сталин был изображён в обычной позе ― высокий, в тяжёлых ботинках, правая рука за отворотом френча, на лице улыбка с хитрецей, как и на всех его портретах, что висели в кабинетах, магазинах, на площадях, в классах.

Я стоял на улице с закрытыми глазами и ветер облеплял моё лицо хлопьями снега.

Вдруг мне в голову попали снежком. Оглянувшись, я увидел за пеленой снега Богдана.

― Сыграем в шахматы? ― спросил он, пытаюсь перекричать ветер.

Именно этого я и ждал.

Вскоре мы сидели в его комнате один напротив другого. Между нами на маленьком столике стояла шахматная доска. Я играл белыми, а он ― чёрными фигурами.

Я должен был начинать, но что-то меня удерживало. Всегда первыми ходят белые, такое их преимущество. Именно этот ход определяет развитие игры. Но я колебался...

Мы вроде и хотели играть, но сидели молча и отрешённо, словно не интересовались ни шахматами, ни друг другом. Наконец, не отводя взгляда от шахматной доски, Богдан нарушил тишину:

― Ты думаешь, что фигуры сами ходят? ― Он сказал это лаконично, высказывая так своё недовольствие.

― Почему бы тебе не сделать первый ход? ― предложил я.

― Это твой ход! ― отрубил он, поднимаясь.

Вставая, он зацепил столик коленом и шахматы посыпались на пол. На доске каким-то чудом остались две фигуры ― чёрный и белый короли.

Наконец наши взгляды встретились. Никогда мы не ощущали теснее связи. Всё было понятно.

― Когда Боцва тебя вызывала?

― Две недели назад. А тебя?

― За неделю перед тобой.

Мы перешли на шёпот... обоим стало страшно оттого, что выходило из наших уст. И хотя в комнате больше никого не было, мы всё время оглядывались, чтобы убедиться, что доносчики Бцовы не читают по нашим губам. Уверенные, мы отважились на первый ход.

Прошло пять дней.

Наш школьный уборщик только-что пошел отдыхать. Он проживал один в небольшой комнате в правом крыле школы. Уборщик постоянно бродил по зданию ― убирал в классах, залах, туалетах. Он был в годах, говорили, что ему под семьдесят, но понимал нас, учеников, лучше, чем учителя.

Часто подсказывал нам, как ладить с неприступными учителями, или как убедительно объяснить прогул. Мы любили его, потому что доверяли.

Но сегодня, чтобы выполнить наш замысел, мы с Богданом должны были его перехитрить. Незаметно мы проскользнули в школу вечером перед тем, как он закрыл входные двери. Потом притаились в подвале под его комнатой. Мы слышали, как он пришёл к себе, включил радио, поел, слил в туалете воду и лёг в кровать.

Когда он захрапел, мы поднялись из подвала по лестнице, которая вела на первый этаж. Оттуда узкими коридорчиками направились к главному коридору, вдоль которого расположились классы, и пройдя его, мы очутились в вестибюле.

Вот она ― статуя Сталина.

Она стояла на возвышении среди вестибюля, и смотрела на нас. Она была вдвое больше от натуральных размеров и, казалось, сделана из монолитного куска белого мрамора, хотя на самом деле была вылита из гипса.

Сейчас в слабом свете из улицы она казалась одиноким великаном. Если бы она ожила, то наверно требовала бы от нас букет цветов ― в газетах и фильмах Сталина всегда окружали дети и розы. Когда-то он, наверно, тоже был ребёнком, но сейчас, глядя на статую, мы в этом сомневались.

По радио про него говорили как о любящем отца, нашем освободителе, но за той добродушной улыбкой прятался диктатор.

Как жаль! Он начинал с низов ― сын портного, учился на священника, а стал Главным вождём, святым покровителем доносчиков.

Мы с Богданом часто раздумывали, как ему противостоять. Мы обмозговали множество возможностей. Ручная граната была бы, конечно, наилучшим вариантом, но мы не могли её достать. Поэтому мы сейчас стояли перед ним с двумя бутылками фиолетового чернила в руках.

Это было торжественное мгновение. Мы встретились взглядами и кивнули один другому головой: обе бутылки очутились на статуе ― моя на голове, а Богдана на животе.

Испугавшись звука разбитого стекла, мы на мгновение замерли. Я даже боялся глянуть на статую. Но по дороге к вестибюлю мы обернулись. Смертельно раненое чудовище истекало кровью.

«Руки и ноги врага заковать в наручники, а рот закрыть революционной диктатурой».

Ф.Ксенофонов, ранний советский теоретик.

НАША ДИРЕКТРИСА ВНЕ ПОДОЗРЕНИЙ

Уже с утра здание школы напоминало растревоженное осиное гнездо. Стаи людей в форме ― милиция, военные, всеобщая гроза ― НКВД ― слонялись по школе в поисках доказательств. В окружении партийного руководства директриса нервно шагала по коридорам, отчаянно жестикулируя. На её лице бала написана вся серьёзность

ситуации.

Всех учителей вызвали к директрисе, ученики остались сами. Обычно, без учителя класс вспыхивал весёлым щебетанием. Но не сегодня. Все сидели словно на похоронах — молча и торжественно.

Я, как и все, ужаснулся, когда утром зашёл в вестибюль. То, что вчера было мраморной статуей нашего Вождя, сегодня казалось костлявым каркасом дикого животного. Фиолетовое чернило проникло в парижский гипс и выточило причудливые извилистые узоры.

Первым на место преступления прибыл уборщик. Не зная что делать, он прикрыл статую своим зимним пальто. Потом обернул её покрывалами и белыми простынями, чтобы закрыть повреждения. Теперь было видно только один ботинок Сталина в чернильных пятнах.

Входя в вестибюль, ученики смотрели на этот балаган, но делали вид, что ничего не видят. Прямой взгляд на статую могли расценить как одобрение осквернения нашего Вождя.

Кто это сделал? Этот вопрос волновал всех и каждого. А особенно нас с Богданом. Если бы знать, кто это сотворил, мы бы донесли директрисе и получили бы награду. Мы бы доказали свою преданность пролетарской революции и наше будущее было бы обеспечено.

Вернувшись от директрисы, наш учитель торжественно объявил, что следующие два занятия будут политинформацией. Началась с выражения глубокого уважения и безусловной преданности нашему осквернённому Вождю. Далее учитель начал проклинать виноватых, которых назвал «хулиганами, диверсантами, иностранными агентами и врагами народа».

Он «обрабатывал» нас, взывая к чувству долга и преданности пролетариата, а в конце — к нашему славному будущему. Мы мрачно сидели, возмущаясь преступлением совершённым против нашего Вождя. Все согласились с учителем, когда в конце он громко и так убедительно, как мог, крикнул: «Мы проучим этих мерзавцев! Мы отрубим их грязные руки!»

Потом нас, как и остальные классы, повели в спортзал. Перед нами, вдоль противоположной стены, стоял длинный стол. За ним посередине сидела директриса в окружении партийного руководства и людей в форме, один из которых выглядел как генерал НКВД.

Они посмотрели на нас в гнетущей тишине. Внезапно Боцва встала и, подняв стиснутый кулак, выкрикнула: «Да здравствует наш любимый Вождь — товарищ Сталин!»

Мы заколдованные, все одногласно ответили: «Да здравствует! Да здравствует товарищ Сталин! Да здравствует!»

Голос директрисы эхом отбивался от стен спортзала, когда она упрекала учеников и учителей за недостаточную бдительность к врагам народа. «Среди нас — враг!» — крикнула она и все начали оглядываться — где бы он мог тут быть. В спортзале было свыше пятисот человек. Я вздрогнул, ведь каждый из нас был потенциальным врагом народа, за исключением директрисы, которая была вне подозрений. Хотя... Судя по тому, как на неё посмотрел генерал НКВД, что сидел правее, для него она была главным подозреваемым, ведь Вождя осквернили в её школе.

Далее выступал председатель КП во Львове. Он был приземистым и сутулым, говорил резко, стуча кулаком по столу так, словно тот был в чём-то виноват.

Его круглое бордовое лицо, которое пани Шебець называла «типичная морда русского мужика», казалось, вот-вот взорвётся. Он говорил на русском языке, который я уже понимал свободно, но из-за его ужасного акцента не очень хорошо его понимал. Понятно было только то, про что уже говорила и директриса: «Классовые враги не спят! Будьте бдительны! Сообщайте о тех, кто провинился! Для врагов народа никакое наказание не может быть суровым!»

Свою речь он закончил фразами «Да здравствует пролетарская революция!», «Да здравствует великий Сталин!», «Ура великому гению товарища Сталина!», «Ура нашему любимому товарищу Сталину!», «Слава товарищу Сталину!» Каждому из этих лозунгов

яростно аплодировали. А после его последней фразы «Смерть врагам народа!» аплодисменты сотрясали школу до самого основания. В это мгновение я понял весь размах нашего с Богданом поступка: мы – враги народа. К счастью, это чувство быстро прошло, и когда выкрики «Смерть врагам народа!» стали оглушительными, оно развеялось как дым. Врагами народа были «ОНИ», и не важно, кто они, откуда, какие. Они были в наших домах, в школах, на фабриках, в кабинетах. Они могли быть будь кем и будь где. Даже генерал, который распространялся про «ядовитых червей», мог оказаться одним из них, и тогда ему не избежать заслуженной судьбы.

Когда выкрики «Смерть врагам народа!» стихли, по подсказке директрисы, мы подняли стиснутые кулаки и запели «Интернационал» – пролетарский гимн.

Когда засыпает совесть, просыпается зло.

ЧЁРНЫЙ ВОРОН

Чтобы не возбуждать подозрений, после осквернения статуи нашего Вождя, мы с Богданом продолжали обычную ежедневную работу, как обыкновенные старательные девятиклассники. Мы регулярно посещали занятия, даже при плохой погоде, когда остальные наши одноклассники опаздывали или вообще не приходили. Мы чрезвычайно тщательно готовились и могли ответить на любой вопрос учителя.

Как «активисты» мы дважды в неделю посещали курсы «Военной подготовки», где изучали топографию, стрельбу и учили оказывать первую помощь. После надругательства над статуей Вождя, которую увезли ночью после общего школьного собрания, политинформация стала обыкновенным делом в нашей школьной жизни, неразрывно связанной с другими предметами.

Если до освобождения, полтора года назад, учебный день начинался с молитвы, то теперь учителя ежедневно распространялись про «научный социализм», исторические достижения наших вождей и вклад «великого русского народа» в пролетарскую революцию. Нам говорили, что без научных достижений «прогрессивных сыновей» этого народа нельзя даже представить современную математику, физику и химию. Но более того, славное будущее, которое мне и Богдану обещала директриса, было бы просто утопической мечтой без Октябрьской революции 1917 года.

Обычно уроки оканчивались осуждением врагов народа, призывами к бдительности и угрозами сурового наказания тех, кто надругался над статуей.

Однако неделя за неделей, слыша «Мы проучим их!», «Мы отрубим их грязные руки!», я начал терять интерес к учёбе. Делая вид, что вроде слушаю, в мечтах я был далеко от класса, от города, даже часто на другом континенте. Я любил развлекаться, вспоминая приключения Тарзана или путешествия Гулливера. Затерявшись в джунглях, я баловался с обезьянами, а выплыв поле кораблекрушения, загорал на безлюдном острове под тропическим солнцем.

Мы с Богданом ещё играли в шахматы, но не так часто и увлечённо, как раньше. Мысли Богдана, казалось, блуждали в другом месте. Часто, когда я предлагал встретиться после уроков, он говорил, что имеет важные дела. У меня было странное чувство, что наша дружба рушится. Проходили недели – мы не играли в шахматы, я сомневался, можно ли преодолеть между нами пропасть. Я успокаивал себя тем, что Богдан тоже переживал и беспокоился.

Меня не волновали заклинания учителя: «Мы проучим их!», «Мы отрубим их грязные руки!», эти угрозы относились ко всем сорока пяти ученикам нашего класса, а значит не только конкретно меня. Это были просто слова, которые учитель механически выкидывал нам, повышенным заученным тоном. Они мне были также безразличны, как когда-то

запугивания священника адом. Однако спустя месяц эти угрозы начали эхом стояли в моих ушах даже после школы.

В такие минуты меня охватывала тревога. В основном перед сном, когда я был один, на меня накатывались волны страха. В эти моменты, не в состоянии заснуть, я прислушивался к звукам снаружи. Самое тихое шуршание, похожее на гул автомобиля или людские голоса, пугали меня; казалось, «Они» пришли за мной.

Хуже всего было одной ночью. Поскольку пан Коваль неделю назад уехал на проверку, я остался дома один. Когда я наконец заснул после тревожной, бесконечной ночной тишины, услышал стук в двери веранды. Я подумал что это мне приснилось. Но скоро убедился, что это не сон. Стук было настойчивым: кто бы это не был, он был полон решимости войти.

Это не мог быть пан Коваль. Он имел ключи от дверей, к тому же он стучал особенно, словно азбукой Морзе: один короткий удар и два длинных. Пани Шебець стучала наоборот, а я; три коротких удара и один длинный. На таком способе стучания настаивал пан Коваль «просто знать, кто пришёл».

Стук усиливался. Я был уверен, что это пришли за мной «ОНИ», ведь кто мог быть безмозглым, чтобы идти в такое позднее время ночью в гости? Ночью город принадлежал «чёрным воронам»; маленьким чёрным грузовичкам, в которые тайная полиция забирала «врагов народа» из их жилищ и увозила на железнодорожную станцию, откуда их отправляли в вагонах в Сибирь, Казахстан и в другие забытые Богом местности.

Раньше я считал это просто слухами, которые распространяли недовольные, что бы очернить систему. Иногда я слышал, как пани Шебець наушничала пану Ковалю про такие вещи, но я был уверен, что это враньё. Она была «пани», и поэтому предубеждённо относилась к системе трудящихся. Но две недели назад я изменил своё мнение, когда среди ночи проснулся от гула «чёрного ворона» и плача детей из соседнего сиротского дома, который содержали польские монашки. К утру дом опустел, а через несколько дней в него въехали советчики.

Стучание стихало, чтобы через мгновение возобновиться с новой силой. Я уже одел на себя самую тёплую одежду, которую нашёл, приготовившись к «их» визиту. Я открыл двери на кухню и вышел на веранду. Теперь в дверь стучали кулаком.

; Кто там?; спросил я. Я старался говорить уверенно, хотя понимал, что это было мало убедительно.

; Это я,; послышался вроде женский голос.

Неужели мне показалось?! Я на цыпочках подошёл к дверям и протёр небольшую щель в замёрзшем окне. В неё я увидел огромную фигуру на фоне полной Луны.

Я открыл двери веранды. Стена ледяного холода обдала меня, когда эта фигура вошла на веранду. Закутанная в длинный, тяжёлый тулуп, в мохнатой, меховой шапке, натянутой на глаза и в толстом шарфе почти до глаз, она казалась каким-то приведением.

; Я; Анна,; сказала приведение, раскрывая лицо.

Я сразу узнал её. Это была Анна, самая молодая подруга пана Ковалья, голубоглазая, с длинными, до пояса волосами. Последний раз она навещала пана Ковалья и оставалась у него ночевать, незадолго перед войной. Я хорошо запомнил это посещение: уходя на другой день, она поцеловала меня в щеку и сказала: «Какой хорошенький мальчик. Ты выглядишь точно, как пан Коваль».

Я был горд услышать, что похож на своего опекуна. Пан Коваль был для меня идеалом мужчины; такой изысканный и элегантный, он мог победить в споре, даже не повышая голоса, женщины просто обожали его. Меня иногда удивляло, как они за него борются, словно за какого-то актёра или князя. В отличие от моего отца-крестьянина, который еле умел читать и писать, единственным развлечением после работы в поле и разведения коров были воскресные богослужения, пан Коваль свободно говорил немецком, французском и ещё несколькими языками, ходил на концерты и в оперу, его постоянно приглашали на ужины и различные приёмы. Даже наш яворский священник считал за честь принимать у себя такого гостя, как пан Коваль, когда тот приезжал к нам на отдых. По селу

ходили слухи, что жена священника была сильно влюблена в пана Ковалья.

Мы с Анной пошли в кухню. Я зажёл керосиновую лампу. Дрожа, она попросила горячего чая. Я взамен предложил ей водки. Она выпила рюмку и попросила ещё.

Я затопил в кухне печь. Она подвинулась ближе, чтобы согреться. Сидела молча, всматриваясь вдаль, облокотив голову на руки. Мне казалось, что она о размышляет чём-то серьёзном. Может она убежала от кого-то или чего-то? Как по-другому объяснить этот её неожиданный ночной приход.

— А где пан Коваль? — вдруг спросила она так, словно он ей был срочно нужен.

Я объяснил, что уже пол года пан Коваль бросил работу начальника отдела аудита, перешёл на должность инспектора и теперь часто ездит по сёлам и провинциальным городкам, проверяя их дела. Это ему нравится больше, чем сидеть в кабинете. Теперь он свободно передвигался, знакомился с новыми людьми, и к тому же привозил из своих поездок сало, масло, колбасу, которые в городских магазинах и нечего искать.

Я хотел ей рассказать ещё о пане Ковале, но она перебила меня:

— А когда он вернётся?

— Может завтра, — сказал я. — Но никогда не знаешь, что от него ожидать.

Она замолчала. Медленно попивала маленькими глотками чай. Казалось, что мысли её были очень далеко. Я не осмелился расспрашивать её.

Наконец она встала и пошла в спальню пана Ковалья. Я погасил свет и пошёл спать.

Через несколько часов меня разбудил будильник. Я быстро умылся холодной водой, схватил каши, взял портфель и хотел идти в школу, но в последнее мгновение меня осенило, что Анне могут быть нужны ключи. Я осторожно приоткрыл дверь в комнату пана Ковалья. Анна крепко спала, накрывшись тулупом и одеялом аж до глаз. Из-под покрывала виднелась одна рука, которая сжимала какой-то тёмный предмет, частично спрятанный под подушкой. Заинтересованный, я присмотрелся. Я не поверил своим глазам — это был револьвер.

Я быстро ушёл, радостный, что Анна спит, а посему, вернувшись из школы, я буду делать вид, что ничего не знаю. На уроках всё думал, зачем ей оружие. Наверно, в хорошую передрагу попала. А может она хочет убить пана Ковалья?

К моему большому удивлению, когда я вернулся, пан Коваль уже прибыл с проверки и был жив-живёхонек. Он сидел рядом с Анной и рисовал что-то похожее на карту. Меня не очень интересовало, что это, но когда я подошёл, он перевернул листок, очевидно не желая, чтобы я его видел.

Я извинился и пошёл в свою комнату. Не успел я закрыть за собой двери, как услышал голос пана Ковалья: «Михась, вернись-ка на минутку».

В его голосе слышались нотки волнения, которых ранее я не слышал. Он сказал, что они с Анной «имеют много работы» и будут трудиться допоздна, а это будет мешать мне делать домашнее задание. «Почему бы тебе не переночевать у Богдана?»

Подумав, он добавил: «Кстати, я много чего привёз из проверки. Угощайся и возьми кольцо колбасы и немного масла для мамы Богдана».

УЛИЦА БОГДАНА

«Наилучшие» улицы Львова названы в честь различных исторических событий, побед и поражений, выдающихся исторических личностей, таких как жестоких или милостивых королей или восставших, поэтов, писателей, шляхтичей, святых. Однако несколько известных улиц получили свои названия вследствие довольно сомнительных человеческих игр.

Улица Шептицкого отличалась тем, что начиналась около греко-католического собора св. Юра и оканчивалась около римо-католического собора св. Елизаветы. Второй её достопримечательностью было то, что её называли в честь шляхетного польского семейства.

Один из сыновей этого рода почувствовал в своих жилах украинскую кровь, перешёл в греко-католическую веру, стал священником, а спустя и митрополитом этой церкви.

После освобождения улицу Шептицкого переименовали на улицу Некрасова. А сейчас 80-летний митрополит жил под арестом в доме напротив собора. Власти не осмеливались отделаться от него в связи с его большой популярностью. Его называли «священником бедноты».

В любом случае, несмотря на переименования, улица Шептицкого оставалась такой, как и была, хотя много домов было запущено. Дома вблизи собора св. Юра выглядели лучше, так как были каменные и поэтому их не надо было постоянно красить. Они принадлежали богатым людям, которые могли себе позволить «итальянский стиль». Теперь эти дома принадлежали «государству трудящихся». Бывшие хозяева, если они ещё не были в Сибири, должны были получить разрешение на проживание и платили, как и все остальные.

Я зашёл в двухэтажный каменный дом с арочным входом, который вёл к проходу, откуда было видно большой сад с другой стороны дома. Слева от прохода на второй этаж вела широкая лестница.

Я поднялся наверх и остановился перед дверью из красного дерева, колеблясь, надо ли стучать. Это были двери в квартиру Богдана. Он жил с матерью и старшим братом Игорем.

Я колебался из-за того, так как мне казалось, что наша дружба с Богданом зашла в глухой угол. Когда-то между нами было настоящее доверие.

Оно усилилось после открытия, что директриса хотела из нас обоих сделать доносчиками, и достигла вершины после случая со статуей Вождя. Тогда наша внутренняя близость стала ещё более крепче.

Однако через некоторое время после осквернения статуи, мы начали понимать, что наш поступок намного серьезнее, чем казалось. Ежедневные проклятия в адрес «врагов народа» начали потихоньку отравлять нас. Не желая того, чем дальше, тем больше мы удалялись друг от друга. Мы учились в одном классе, и хоть сознательно не избегали один другого, очень редко общались во время перемен. Мы сообща совершили «преступление» — поступок, который вызвал у нас невероятное чувство радости и гордости; но теперь, казалось, каждый должен идти своей дорогой.

Именно поэтому мне было неловко, когда я стоял возле дверей квартиры Богдана.

Я постучал.

Молчание, хотя кто-то на цыпочках подошёл к дверям; я дважды слышал скрип половиц.

Я снова постучал.

— Это я; Михаил.

— А, это ты. Богдан открыл дверь, и только я зашёл в прихожую, он закрыл их на ключ. Казалось, Богдан боится, что какой-то нежелательный гость следит за мной.

— Что случилось? спросил он, удивлённый моим приходом. Я ответил, что у пана Коваля гость и им необходимо побыть вдвоём.

— Можно мне у тебя переночевать?

Богдан колебался. Он вынул из кармана носовой платок и вытер им нос, словно хотел высморкаться. Я знал, когда он не знает что ответить, то часто так поступает.

— А почему бы и нет? наконец сказал он, заталкивая носовой платок назад в карман.

У меня с души свалился камень.

Мы сели за стол, за которым обычно играли в шахматы. На нём всегда стояла шахматная доска, но сегодня её не было.

— Ты больше не играешь в шахматы? спросил я.

— Нет. А ты?

— Нет.

— Тебе больше не нравятся шахматы? спросил он.

― Ну... Не знаю, всё меняется... А тебе?

― Мне?

― Да, тебе. Когда я две недели назад предложил сыграть партию, ты сказал, что не имеешь времени на такие глупости.

Лицо Богдана всегда было серьёзным, даже когда он смеялся, поэтому он выглядел на несколько лет старше. Но сейчас он посмотрел на меня ну совсем по-взрослому, как человек, который считает себя на голову выше своего собеседника.

― Михаил, есть время играть, а есть время работать, ― сказал он, словно цитируя строчку из учебника.

― Неужели? И над чем ты сейчас работаешь?

Он поднялся и подошёл к окну. Повернувшись ко мне, он вроде хотел что-то сказать, но колебался.

Потом еле слышно проговорил:

― Я не уверен, что ты к этому готов.

― Готов к чему? ― спросил я. ― Ты не доверяешь мне?

Я встал. Мы смотрели один другому в глаза.

― Я тебе доверяю, ― сказал я. ― И должен сказать, что нынешняя ситуация ненормальна для меня. Я напуганный. Когда я слышу самый тихий шорох ночью, мне кажется, что за мной пришли. А Боцва... Рано или поздно она вызовет нас в кабинет и спросит про результаты. Если придём с пустыми руками, будет нас подозревать. Да ты и сам знаешь, что значит быть под подозрением ― это то же, что быть виноватым ― прямой билет в Сибирь или даже...

Богдан не дал мне закончить. Он знал, о чем разговор.

― И что ты предлагаешь? ― спросил он.

― Я хочу убежать за границу, на немецкую территорию Польши, ― сказал я очень убедительно, хотя убедить хотел скорее себя, чем Богдана.

― Как??? ― спросил он, по-настоящему удивившись. ― Как?

― Не знаю как. Я много об этом думал, ― ответил я. ― Я сяду на поезд в Явору, но выпрыгну там, где поезд проходит в километре от границы, которая проходит вдоль Сана. Я хорошо знаю местность. Путешествуя с паном Ковалем, мы не раз пересекали эту реку во многих местах.

― Ну, и когда ты собираешься её снова преодолеть? Летом? ― перебил Богдан, вложив в эти слова весь свой сарказм.

Эта язвительность показалась мне несвоевременной, но об этом я ему не сказал, а просто ответил:

― Нет, не летом. Летом тяжело бежать. Мой дядя Дмитрий ― лесник, поэтому имеет доступ в пограничную полосу. Летом ловят десятки перебежчиков. Он говорил, что зимой колючую проволоку замечает снегом. Пройти тогда на лыжах ― детская игрушка.

Я увидел реакцию Богдана, не закончив ещё говорить. С кривой усмешкой на лице он сказал:

― А если ты попадёшь на пограничников?

― Я про это подумал, ― ответил я бравируя. ― У меня есть револьвер. Или они, или я.

― Жить надоело?

Я замолчал. В моей голове металась тьма-тьмущая противоречивых мыслей.

Наконец Богдан заговорил:

― Михаил, ты ― романтик. Забудь про переход границы. Ты должен остаться тут. Тут очень много работы.

Он остановился и оглянулся, чтобы убедиться, что нас никто не подслушивает. Наклонившись ко мне и прикрыв рукой рот, словно боясь, что слова могут разлететься, он зашептал:

«Существует одна тайная организация. Она делает много хорошего.
Тайная организация?! чуть не крикнул я, но моментально снизил
голос. Ты принадлежишь к ней?!
Он пропустил мой вопрос сквозь уши.
Пошли спать, сказал он. Про это мы поговорим завтра.

«Каждый есть кем-то другим и никто не является собой»
Мартин Гайдегер

НОЧНАЯ ВСТРЕЧА

Вернувшись из школы, я увидел на своём столе записку:

*«Должен срочно выехать на проверку. Вернусь через несколько дней.
Коваль.
PS: Если пани Шебець спросит, ты ничего не знаешь».*

Он очень торопился; это было видно из его записки. Как всегда, она была написана каллиграфическим почерком; каждая буква аккуратно написана и соединена с другой. Для меня его каллиграфия была образцом. Я так научился его повторять, что не отличишь от подлинника. Иногда пан Коваль просил подписать меня какие-то не очень важные записки или счета, так как, как он шутил, моя подпись смотрелась более подлиннее, чем его.

Их с Анной отъезд показался мне ещё более загадочным, когда на следующий день я обнаружил, что в подвале нет ни моих, ни его лыж. Принимая во внимание обстоятельства, при каких появилась Анна, а также то, что я заметил, как пан Коваль тайно от меня рисовал карту, я очень сомневался, что они просто поехали покататься на лыжах.

В своём воображении я видел, как они садятся в поезд до Яворы, выпрыгивают из него, надевают лыжи и направляются к границе. Завёрнутые в белые простыни, они сливаются со снегом. Речку и колючую проволоку вдоль неё покрыло снегом. На другой стороне границы они останавливаются и оглядываются. За ними остался мир страха и неверия. Там нет места сегодняшней жизни; там только ужасы будущего.

Однако меня удивило, что пан Коваль убежал. Разве он не слишком молод, чтобы начинать новую жизнь в неизвестных землях? К тому же это безответственно. Без него я буду вынужден присоединиться к хулиганам или уехать назад в село, а это ещё хуже. Село превратили в колхоз. Люди целый месяц гнут спину за несчастный мешок картошки. Это было подготовкой к обещанному будущему.

Вот если бы я драпанул за границу, это совсем другое дело. У меня были объективные причины; статую и директрису. К тому же я не имел никаких обязательств. Пан Коваль скучать за мной не будет; он опекал меня уже пять лет, и скорее всего, я ему сильно осточертел. На его месте, я бы радовался моему исчезновению. Отец не в счёт; он умер. Да даже если бы и был жив, то сомневаюсь, что он очень горевал за мной. Он даже слова не сказал, когда я ехал во Львов. Припоминаю, что он был рад моему отъезду. Мать? Она единственная, кто будет за мной тужить. Но пройдёт много времени, пока она узнает о моём исчезновении. К тому же пан Коваль придумал бы для неё какую-нибудь убедительную историю. Она ему полностью доверяла.

Но какой смысл размышлять о переходе границы, если я уже передумал? Я остаюсь. Я вступаю в тайную организацию. Как выяснилось, Богдан уже несколько месяцев является её членом. Я войду в его «звено». Он рассказал мне о тайном характере организации, идеализме её членов, их полной преданности делу освобождения нашей страны; это было основной целью организации.

Чем больше Богдан рассказывал, тем больше я захватывался. Я ежедневно встречался с Богданом после уроков. Мы поодиночке выходили из школы, шли в противоположных направлениях, но в обусловленное время «случайно» встречались в Стрийском парке. Это самый большой парк в юго-восточной части города. Зимой тут немного народу, но достаточно, чтобы быть вне подозрений.

Разговаривать в парке было безопасно, но и тут мы были начеку. Как говорил Богдан, даже деревья имеют уши. Время от времени мы останавливались, делая вид что просто разговариваем, и тихонько осматривались, не следит ли кто за нами. Моё увлечение организацией нарастало с каждым днём, словно прилив, заглушая страх перед Бойвой и перед «Ними», кто бы они не были. Я уже не один. Я стал частью тайного, но очень реального образования по имени «Организация». Было удовлетворено моё стремление принадлежать к чему-то, быть с людьми, которым я доверяю. Мои школьные чувства бессилия уступили место уверенности в себе. Безусловно, огромный вклад в это сделал и револьвер, спрятанный в подвале со времён немецко-польской войны.

Я стал владельцем револьвера, когда мы с Богданом игрались в милицию. Тогда польская армия уже покинула город, а красные ещё не установили своего режима. Собственно, он был мне не нужен, но мне нравился блеск и глубокая синева его стали. Если бы не пули, он смотрелся как симпатичная игрушка. Когда пришлось возвращаться к учёбе, я, не зная что делать, положил его в небольшую коробку и закопал в подвале.

Теперь я его выкопал, потому что Богдан сказал, чтобы стать полноценным членом организации, надо уметь метко стрелять. Через несколько дней, почистив его, я решил попрактиковаться без патронов у себя дома.

Мишень выглядела солидно ― красные круги, сужающиеся к центру. Посередине я нарисовал букву «Б», обозначающую директрису Бойвы. Крепко держа револьвер в руке, я поднимал и опускал его (согласно с инструкциями учебника для Красной Армии), прицеливаясь в центр мишени. Вот линия моего прицеливания уже на букве «Б». Моя рука недвижима, словно замороженная, указательный палец нетерпеливо хочет нажать спусковой крючок...

Нажать его мне помешали шаги на веранде. Вскоре я услышал скрежетание ключа в замке. Испугавшись, я схватил ящичек с патронами и спрятал вместе с револьвером под кровать. Мишень снять я не успел, она так и осталась висеть на двери спальни пана Ковалья.

Открылись входные двери и на кухню вошёл мой опекун. Не успел я и поздороваться, как он увидел мишень:

― А это что такое?

Я соврал:

― Это домашнее задание по военной подготовке. У нас завтра контрольная.

Молча, даже не спросив как я был без него, он пошёл к себе в комнату.

Не припоминаю, чтобы я когда-то врал пану Ковалью. В это не было необходимости. Мне было стыдно. Успокаивала меня разве что история про Иванка и его маму, которую несколько лет назад рассказал нам учитель. В ней говорилось про маленького Иванка, которого мама учила говорить правду и только правду. Один раз, когда его мама находилась в подвал, пришёл мужчина с ружьём и спросил Иванка, где его мать. Наученный говорить правду, он ответил, что она в подвале. Так Иванко остался без матери.

Раздумывая над этой историей, я подумал, как удивительно, что она скучала где-то в моей памяти, ожидая чтобы вот так выскочить в самый подходящий момент. Однако это была мгновенная мысль. Что меня вправду беспокоило ― это то, что пан Коваль пришёл с пустыми руками. Обычно, возвращаясь из проверки, он гордо выставлял свои «трофеи». А сегодня он не принёс ничего, ни колбасы, ни сала, и даже хлеба. Самое главное, не было моих лыж. Однако, испытывая радость что он вообще вернулся, я не расспрашивал ни про Анну, ни про лыжи. К тому же моё уважение к нему не позволяло задавать такие вопросы. На следующее утро пани Шебець перехватила пана Ковалья по дороге на работу. Я в это время чистил зубы своей общипанной щёткой, поэтому не разобрал о чём они говорили,

однако до меня постоянно долетало имя Анны. Я даже услышал последние слова пана Ковалья, которые он бросил, закрывая с улицы двери веранды: «До свидания, пани Ищейка!»

Хоть Анна и не вернулась с паном Ковалем, она была колючкой в жизни пани Шебець ― потому что стояла на пути матримониальных стремлений. Хоть какой мерзкой оказалась для пани Шебець новая система, а особенно её московские представители, она отдавала ей должное только за одно существенное достижение ― она положила конец «бабничеству» пана Ковалья. В его спальне с момента освобождения побывало всего несколько женщин. Это дало пани Шебець надежду, что он «одумается» и наконец женится на ней.

А теперь эту надежду подорвала Анна. Взятая в плен ревности, она считала, что Анна появится снова ― дай только время. А сейчас, чтобы получить от пана Ковалья внимание, она чаще куховарила для него, одновременно ругая за «слабость к женщинам».

Однажды ночью, более месяца после исчезновения Анны, я поздно возвратился домой после «тайного» задания и сразу лёг спать. Вскоре меня разбудили голоса из спальни пана Ковалья. Наверно он решил, что я остался у Богдана, потому что в последнее время это было часто.

Сначала я услышал писклявый голос пани Шебець:

― Лучше немедленно решай!

― Нет, ни за что. Об этом не может быть и речи, ― ответил пан Коваль.

― Какой же ты трус Иван, ― боишься брака, ― громко сказала она. Я отчётливо слышал её голос, несмотря на то, что ветер бил в окна и шипел как змея, готовая кинуться на свою жертву.

Ответ пана Ковалья был неразборчивым, зато голос пани Шебець был достаточно громким ― мягким и сердитым, умоляющим и угрожающим:

― Ты не можешь сейчас решить? Сколько мне ещё ждать? Ты намереваешься жениться на мне в Сибири? Думаешь, они не знают, что ты офицер австрийской армии? И петлюровской! Не будь таким уверенным. Они доберутся до тебя ― это вопрос времени... Кстати, где ты прячешь свои военные фотографии? Ты на них как павлин, самовлюблённый павлин... Как только увидишь юбку, распускаешь хвост, выставляя все краски, только бы соблазнить женщину.

Я услышал только последние слова ответа пана Ковалья:

― Посушай-ка, я никогда не обещал на тебе жениться.

― Врун, опомнись! Да ты для Анны дедом мог быть! ― наседала пани Шебець.

Шум ветра заглушил слова пана Ковалья, но он наверно что-то сказал, что очень разозлило пани Шебець. Она завопила:

― С меня хватит! Я последний раз с тобой. Я уже уйду прочь!

Я надеялся, что она всё-таки уйдёт, но этого не случилось. Установилась тишина и длилась долгое время.

Неожиданно её пронзил крик пани Шебець, словно её кто-то уколол ножом. Кровать пана Ковалья перестала скрипеть.

«Всё что мы имеем, мы имеем от других. Быть ― значит кому-то принадлежать».

Жан-Поль Сартр

ДУХ ИЗВЕЧНОЙ СТИХИИ

Четвёртая платформа, с которой отправлялся поезд на Самбор, была запружена крестьянами, которые возвращались с чёрного рынка. Прождав поезд больше часа, они

сидели молча и неподвижно, держа на руках свои котомки, крепко прижимая их к себе, словно боялись потерять.

Сегодня на рассвете они садились в этот поезд в противоположном направлении. Они ехали из сёл в город с картофелем, яйцами, зерном, мясом и другими продуктами, которых нет в государственных магазинах. Они шли на Краковскую площадь, где продавали плоды своего труда на чёрном рынке. Домой, как сегодня, они везли сахар, водку или кожу ― то, чего не было в селе. Водка им была нужна, чтобы радоваться освобождению. Сахар они покупали на самогон, чтобы их жизнь была ещё счастливее. А кожу они покупали, чтобы делать себе обувь, так как купленная в государственных магазинах разлеталась на следующий день.

В тусклом металлическом свете единственной лампочки в углу вагоны они смотрелись как огромные куклы. Их взгляд был обращён в собственную глубину так, словно остальной мир их не интересовал. Я даже не уверен, что кто-то заметил, как мы с Богданом зашли и сели на свободные места возле туалета. А если и заметили, то им было всё равно. Замкнутые в себе, они интересовались только тем, когда тронется поезд.

Со своей стороны мы старались ничем не привлекать их внимание. Просто едут себе домой два школьника после выходных. Богдан нёс старый ранец, а я ― поношенную сумку. В билетах было написано, что мы едем в Комарно ― село, расположенное в 40 километрах от Львова. Мы никогда там не были, но нам сказали, что оно в трёх километрах от железнодорожной станции. Прибыв в Комарно, мы должны были идти по дороге на восток, там нас встретит незнакомый нам человек, но он нас узнает.

Мы имели тайное задание. Я вступал в Организацию. Богдан был моим поручителем. Данный нам инструктаж был очень понятным: выйти из поезда, подождать минут пятнадцать на станции, пока все разойдутся, идти в направлении Комарно, а связник будет ехать на телеге и встретит нас на половине пути. Его пароль ― «Пасха», наш отзыв ― «Великодень».

Выехав из Львова, поезд вначале ехал медленно, пыхтя как астматик, но потом набрал обычную скорость, что вселило в нас надежду вовремя прибыть к месту назначения. Он вяло свистел на переездах и возле семафоров, останавливался на каждой самой маленькой станции, выпуская нескольких сонных пассажиров.

Казалось, лампочка засветилась ярче, а вагон наполнил пар, который просачивался из труб. Когда потеплело, туалет возле наших мест начал оттаивать. Сладковатая вонь растаявших человеческих фекалий присоединилась к спёртому воздуху. Впрочем, когда какой-то мужик закурил самокрутку из махорки, тот противный дым забил все остальные запахи.

После освобождения махорка стала и модой и необходимостью, потому что из-за нехватки сигарет и папиросной бумаги курцы не имели выбора. Это же касается и туалетов. Когда была буржуазия, их чистили. Делали это люди, вынужденные заниматься этой недостойной работой, чтобы выжить. Теперь не было высоких и низких классов. Все мы были равны ― трудящиеся. Все мы были членами одного класса ― пролетариатом. Такая грязная работа была ниже нашей чести.

Наконец, около десяти вечера, поезд прибыл в Комарно. Приятно было вдохнуть свежий воздух. Согласно инструктажа, мы подождали 15 минут возле станции, пока не разошлись все пассажиры и станционный смотритель погасил свет и ушёл домой.

Тогда мы грунтовой дорогой, которая простилалась на восток от станции, направились в сторону Комарно. Днём она, наверно, была в грязи, но теперь подмёрзла. Её запятнали заплаты снега, которые казались синеватыми при свете восходящей Луны. Мы шли молча в плену предчувствий, смешанных с волнением и моментами страха перед неизвестным. Время от времени мы переглядывались, словно чтобы уверить один другого, что мы на правильном пути.

― Смотри! ― вдруг крикнул Богдан. ― Видишь?

Из-за поворота появилось какое-то серое пятно. Оно приближалось. Вскоре мы

увидели, что это телега. Поравнявшись с нами, она остановилась.

— Куда это вы так поздно? — услышали мы голос ездового, который оказался бородатым старым мужчиной с длинными густыми усами, в традиционной меховой шапке, натянутой на глаза.

— Может вы домой едете... — он на мгновение замолчал и в глазах его сверкнули какие-то огоньки, — на Пасху?

— На Великодень, — громко ответили мы с Богданом.

— Быстро в телегу, — велел он. — Ложитесь ниц! Молчать! Не вставать! Понятно?

Мы легли. Не успели мы обдумать нашу ситуацию, как на нас набросили покрывало, а сверху, что-то, вроде мешков с соломой.

Телега развернулась и поехала туда, откуда прибыла, вскоре повернула влево, некоторое время ехала прямо, направо, а потом я потерял ориентацию. Не знаю, как чувствовал себя Богдан, потому что ездовой постоянно приказывал нам молчать, хотя голос его звучал каждый раз иначе. Я начал побаиваться, что нас поймали в ловушку. Периодически у меня возникало желание выпрыгнуть из телеги, но каждый раз я отбрасывал эту мысль — возница мог иметь оружие.

Через некоторое время я уже не мог оценить, долго ли мы едем, потому что в таких условиях время бежит или очень быстро, или очень медленно — телега выехала на ухабистую дорогу. Иной раз мне казалось, что нас вместе с поклажей вытрясет из телеги.

Наконец остановка. Мы услышали шёпот, а потом скрежетание, словно отворили тяжёлые ворота. Телега ещё немного проехала, остановилась, ворота за нами закрыли.

Мы не знали что ожидать. Коней выпрягли и увели. Потом голос, который не принадлежал ездовому, повелел нам сойти с телеги.

Мы очутились в темноте, наверно, в какой-то конюшне, потому что пахло навозом и сеном. Вскоре послышался скрип дверей — вошёл человек с керосиновой лампой. Подойдя, он поднял лампу и осветил на нас. На лицо его был натянут капюшон. Мы видели только его глаза, которые осматривали нас. В этих глазах светилась необычная сила — угрожающая и одновременно успокаивающая.

— Слава Украине! — сказал он, не отрывая от нас взгляда. Это было официальное приветствие нашей Организации.

— Слава Вождю! — ответили мы. Таким был официальный ответ. Я хорошо знал это приветствие, потому что некоторое время был в Организации стажёром. Я входил в «звено» из трёх человек — Богдан, я, и третий, которого я не знал, — с ним, по причине конспирации, поддерживал контакт только Богдан. Два месяца у меня был испытательный срок, выполняя различные полутайные задания, в частности узнавал расположение отдельных воинских отрядов, малоизвестных проулков в центре города и подземных каналов, которых не было на карте. К этому времени я уже доказал, что могу честно выполнять возложенные на меня обязанности.

Теперь человек в капюшоне должен был привести меня к присяге и принять в полноправные члены Организации.

В правой руке он держал тризуб. Наши «освободители» боялись его, потому что он символизировал нашу независимость. Показывать его или даже говорить о нем было преступлением серьёзнее, чем умышленное убийство. Для нас это был символ свободы. Они забрали у нас всё — нашу землю, нашу историю, нашу культуру, нашу церковь, даже наш язык. Они хотели вынудить нас доносить один на другого. Единственное что у нас осталось, — это тризуб, они не могли его забрать, ведь этот символ был вырезан в наших душах.

Я был готов дать на нём присягу.

Подняв тризуб, человек в капюшоне начал торжественно читать преамбулу к Десяти Заповедям Организации.

«Я, Дух Извечной Стихии, Причина и Цель твоей жизни, повелеваю тебе отдать твою

жизнь на алтарь свободы твоей Нации, без которой ты будешь проклятым и навеки останешься рабом. Я веряю тебе Десять Заповедей, которые ты поклянёшься беспрекословно выполнять».

В тусклом оранжевом свете лампы, за пределами которого лежала густая темнота, это были не просто человеческие слова ― казалось, ко мне на самом деле обращается Дух. Я ощущал это каждой фиброй своей души.

Теперь моя очередь. Человек в капюшоне велел мне положить правую руку на тризуб. Своим пронизывающим взглядом он впился мне в глаза. Его глаза, казалось, гипнотизировали. Я начал рассказывать Заповеди. Словно чародей, он не сводил с меня глаз, пока я не прочитал все десять Заповедей. Моё тело пронизало горячее щемление. Я понимал, что отныне моя жизнь не принадлежит мне.

Она стала собственностью организации.

«Око за око, зуб за зуб».

Моисей

«Око за око ― и двух глаз нет».

Ганди

ТАИНСТВЕННОЕ ПИСЬМО

В середине мая, после нескольких недель настоящей весенней погоды, внезапно налетели метели. Метель пришла с северо-востока и с ожесточённостью бешеного зверя покрывала землю толстым слоем тяжёлого, влажного снега, ломала крыши и деревья. По городу было трудно ходить. Понадобилось несколько дней, чтобы прибрать поломанные ветки каштанов на нашей улице.

Но очень скоро небо засветилось голубизной и с него улыбнулось весеннее солнце. Снег исчез так же быстро, как и появился, превратив некоторые улицы в русла бурных ручьёв. Примятые цветы, поломанные кусты отходили после оттепели. Тюльпаны в нашем садике были полностью уничтожены, но сирень каким-то чудом уцелела.

Днём густая масса этого голубого и белого цветения, казалось, соперничала с небом. Вечером их успокаивающие сладкие ароматы окружали наш дом, проникали на веранду, даже если она была закрыта.

В один из таких вечеров я сидел на веранде, ища утешения в аромате сирени. Из головы не выходил сегодняшний арест брата Богдана и Романа ― его лучшего друга и одноклассника. Девочка из нашего класса, которая в это время вышла с урока в туалет, видела, как их выводили из кабинета Боцвы в наручниках.

Вначале она хотела об этом промолчать, потому что рассказывать про такие вещи считалось помощью врагам народа. Однако перед последним уроком на перерыве она подошла к Богдану с раскрытой тетрадкой и попросила объяснить ей лекцию, а тем временем шёпотом рассказала то, что видела. По пути из школы Богдан шепнул мне с невозмутимым взглядом: «Моего брата арестовали. Отбой». «Отбой» ― наше условное выражение, которое означало, что необходимо временно прекратить любую деятельность, связанную с Организацией и быть начеку.

Возможно Игоря и его друга арестовали по подозрению в осквернении статуи Сталина. Нас это очень беспокоило, ведь тогда их накажут за наше преступление. Но возможно было и то, что они принадлежат к Организации. Но в любом случае тут не обошлось без доносчика.

Самым вероятным подозреваемым был одноклассник Игоря ― Николай Ефремович Когут. Чтобы отомстить за арест, мы придумали хитрый план.

Николай был секретарём комсомола в нашей школе. Он был известен как гений математики и «уши» директрисы. При проведении политических мероприятий его представляли как «преданного строителя социализма» и пример «будущего советского человека». Он мог с уверенностью религиозного фанатика на память цитировать Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Он был высокий и широкоплечий, имел настойчивый и раздражающий голос, вёл себя так, словно всё в мире ему было известно.

Богдан был уверен, что именно Николай виноват в аресте его брата.

Я разделял его мысли. Действовали мы очень просто ― написали Николаю письмо, вроде от его друга, но послали не по почте, а проскользнули в его класс, когда все были в спортзале, и положили ему в верхнюю тетрадь.

«Николай, ― было написано в письме, ― ты понимаешь, почему я таким необычным способом направил тебе это письмо. Рад, что ты достиг такого положения в комсомоле и что скоро тебя будут рекомендовать в члены партии. Это отличное прикрытие. Нам необходимо больше таких людей, как ты, чтобы продолжать нашу работу. Скоро свяжемся с тобой „случайно“, по дороге домой».

Последствия были прогнозируемые и мгновенные. Мы не были их свидетелями, но нам про всё через некоторое время рассказали.

Вернувшись из спортзала, класс Николая ждал учителя математики. Николай ожидал с особым нетерпением, так как будучи «гением математики», он заслужил исключительную честь рассказать теорему Пифагора всему классу. Для него это была большая честь и случай похвастаться, ведь учитель математики к тому же был и членом партии. Николай раскрыл тетрадь, что бы что-то повторить, а там ― письмо. Оно было не заклеенным, и это не удивительно ― конверты теперь вообще не заклеивали, чтобы легче было цензорам. Но там таинственная записка...от кого? Почему? Провокация? Ошарашенный он читал и перечитывал её, не замечая прихода учителя.

― Николай Ефимович, что с вами? Вам плохо? ― прозвучал голос учителя.

Согласно школьных правил, когда входил учитель, все должны были встать. Услышав голос учителя, Николай понял, что он единственный, кто сидит. Он вскочил, держа в руке письмо. Сначала растерялся, не зная что с ним сделать, а потом попытался спрятать.

― Что это у вас? Дайте-ка посмотреть? ― сказал учитель.

Прочитав, он побледнел и минуту стоял молча.

― Сидите. И тихо. ― сказал он, выходя из класса. Через некоторое время он вернулся и попросил Николая пойти с ним к директору.

Учитель вернулся один. Как и брат Богдана с другом, Николай зашёл в кабинет директрисы и с тех пор про него больше не слышали.

Несколько недель после ареста Игоря и его друга мы с Богданом воздерживались от выполнения заданий Организации и очень убедительно изображали из себя «строителей социализма». Мы поднимали руки, чтобы отвечать на вопросы учителей, в то время, когда остальные ученики надеялись избежать этого. Мы посещали внеурочные курсы политического образования и военной подготовки. Мы со всей своей пылкостью осуждали «врагов народа», «капиталистических предателей» и «буржуазных националистов».

Мы поклонялись нашим вождям, клялись в беззаветной верности «делу пролетариата» и «коммунистического будущего».

Наверно мы неплохо играли эту роль, ведь даже продавщица военной книги была уверена, что я один из лучших активистов в школе Боцвы. Я часто посещал этот книжный магазин за различными книгами, которые, как она считала, свидетельствовали о моей заинтересованности военным делом. На самом деле эти книги заказывала Организация.

Кажется я ей и вправду нравился. Её звали Наталия Артёмовна. Она была москвичкой ― низкая, приземистая женщина, одетая в серую одежду и валенки. Лицо у неё было как пончик, а голос ― резкий, и одновременно похожий на материнский.

Одни раз, зайдя в книжный магазин, я увидел директрису Боцву, которая разговаривала с Наталией Артёмовной. Я вежливо поздоровался и пошёл в другой конец книжного

магазина, но услышал, как Наталия Артёмовна сказала директрисе, что она «должна гордиться таким учеником». Я радовался от таких слов, так как понятия не имел, что директриса теперь про меня думает. Я не заходил к ней с тех пор, как она попросила стать доносчиком.

*«Очень тяжело, товарищи, жить только одной свободой.
Определяющая черта нашей революции та, что она дала народу
не только свободу, но и материальный достаток. Именно по этому
жить стало лучше и веселее».*

Сталин

«Меньше громких слов, больше простой, ежедневной работы».

Ленин

МАМИН ХЛЕБ

Метель не помешала нам с Богданом выполнять задания организации. Поскольку занятия на несколько дней отменили, мы смогли взяться за то, что нам поручили в начале апреля. Мы должны были взять под наблюдение военный гарнизон на улице Лычаковской и за цитаделью, находящейся на холме улицы Коперника. Как и Оперный театр, здания гарнизона на Лычаковской улице возвели в середине XIX столетия, когда Львов принадлежал Австро-Венгерской империи и его называли Lemberg. Между казармами, которые очерчивали квадрат, находился двор, размером с футбольное поле.

Цитадель была намного старше. Некоторые считали, что её соорудили в XIII столетии. Наверно всё начиналось с небольшого укрепления на вершине холма за городскими стенами. Из наблюдательного пункта было видно весь город как на ладони, а также необозримые равнины на востоке, юге и западе. Такое преимущество давало цитадели преимущество, когда нападали татары, турки и монголы.

В XVI веке старую деревянную крепость разрушили, а на её месте возвели высокую круглую башню из тяжёлых каменных блоков. Вокруг построили мощную, на вид непреодолимую стену. Там, наверху, под крышей башни ― ряд небольших, круглых отверстий. Если бы врагу всё таки удалось взобраться на стену, его бы оттуда встретили камнями, огнём факелов или жидкой, кипящей смолой.

Столетие спустя крепость была готова к встрече с турками, но к счастью, то ли для турок, то ли для горожан, турецкое войско направилось на юго-запад, в Вену. Там, если верить историкам, им дал отпор польский король Ян Собеский ― это самый великий эпизод в истории Польши. Однако теперь учебники истории, изданные в Москве, отрицали его заслуги в борьбе с турками, провозглашали его «защитником прогнившей польской шляхты».

Цитадель приняла свой теперешний вид, когда Львов присоединили к Австро-Венгерской империи. Император перестроил башню так, чтобы можно было пользоваться ружьями, ручными гранатами и артиллерией. Вокруг построили длинные ряды казарм для многочисленных войск.

Теперь в Цитадели находилась Красная Армия. Наблюдая за Цитаделью, мы узнали, что там размешены отряд пехоты, артиллерийский полк и танковая дивизия. Чтобы убедиться, что мы правильно сосчитали солдат, вооружение и транспорт, мы с Богданом следили за воротами по очереди. Мы установили, что пехотные офицеры были русскими, а смуглые лица и раскосые глаза рядовых свидетельствовали, что они с Дальнего Востока, может, из Узбекистана, Казахстана или Монголии.

Чтобы не возбуждать подозрения у часовых, я сидел на другой стороне улицы, немного сбоку от входа в Цитадель, делая вид что читаю книжку по марксизму-ленинизму. На самом

деле я шифрованно записывал вид и количество воинских подразделений, которые прибывали в Цитадель и выходили оттуда. Один раз похожий на монгола часовой начал подозревать меня, так как я засиделся, и подошёл ко мне. Однако, когда он увидел мою книгу в красной обложке с большими золотыми буквами И.Сталин «История Коммунистической Партии Советского Союза», его лицо просияло и он заметил: «Хороший книга. Мой камандир тоже читает». Он оставил меня в покое. Я видел как он присоединился к другим часовым возле ворот. Он казался очень могучим, когда стоял по стойке смирно с винтовкой на плече и четырёхгранным штыком, который высоко торчал над его головой в каске.

Он выглядел только на несколько лет старше меня ― лет 18–19. В те дни призыв в армию был пожизненным приговором. Но этот парень казался мне счастливым. Наверно, у него дома была ещё большая нужда. Тут он жил в казарме, его не выпускали в город, но армия обувала его, одевала, кормила. Не менее важным, наверно, было убеждение, что он делает что-то значащее, что-то такое, что изменит ход истории. Он видел будущее. И не он один. Пресса, радио, политуки, учителя говорили про будущее гиперболами в настоящем времени.

Когда возле цитадели ничего не происходило, я вчитывался в «Историю Коммунистической Партии Советского Союза». Некоторые отрывки звучали искушающее, красиво и убедительно, но то что я видел вокруг не имело с ними ничего общего. Мне страшно было и подумать, что в один прекрасный день меня могут забрать в армию.

Иногда наблюдая за Цитаделью или гарнизоном на Лычаковской, я ловил себя на мысли, что не понимаю, зачем Организации информация про количество и вид воинских подразделений во Львове. Они не имели силы, чтобы противостоять Красной Армии в открытой борьбе. Может Организация работала на кого-то другого? Я как-то спросил об этом Богдана, но он безразлично кинул: «А тебе не всё ли равно? Наше задание делать что приказывают. Организация знает что делает. К тому же враг нашего врага ― наш друг».

Я начал думать как Богдан. Мы дали присягу на верность Организации. Ставить под сомнение её мудрость ― это просто предательство. Кто бы не воспользовался информацией, которую мы собираем, он делает это не на пользу системе, которая породила директрису Боцву. К тому же, жить двойной жизнью было так захватывающе: дурить учителей, директрису, продавщицу из военного книжного магазина, всех тех часовых возле ворот Цитадели и других гарнизонов.

Удавалось ли мне обманывать пана Ковалья? Иногда у меня возникало странное чувство, что он читает мои мысли. А эти его «проверки» по сёлам, которые в последнее время участились, наталкивали меня на мысль, что и он может иметь отношение к организации, и если он не в руководстве, то по крайней мере связной.

Впрочем я не имел времени углубляться во все эти размышления. Ходить на уроки, быть активистом и одновременно заниматься подпольной работой не оставляло много времени на сон. Поэтому я радовался, что весеннее полугодие заканчивается. Скоро я поеду в Явору, мать уже больше года меня не видела.

Последнее письмо от неё я получил около месяца назад. Чтобы обойти цензуру, она передала его через старшего брата Дмитрия, лесничего, когда он ехал во Львов. Так она могла писать, что думает.

Это было длинное письмо, оно чуть не довело меня до слёз. Она всё переживала, или есть у меня продукты, как учёба, беспокоится ли обо мне пан Коваль, как те зимние носки, которые она мне прислала ― наверно уже порвались. «Неделю назад снился плохой сон. С тобой правда всё хорошо?»

Однако переживать должен был я о ней, а не наоборот. Условия в селе, как она писала, постоянно ухудшались. Когда село год назад превратили в коллективное хозяйство, всем оставили только по небольшому куску поля, которого едва хватало на овощи. Она теперь имела только одну корову, остальных пять и коня забрали в колхоз. Даже сепаратор и

жернова пришлось отдать. Она писала, что сепаратор её всё равно не нужен, потому что одна корова давала недостаточно для него молока, а вот без жерновов она не могла смолоть муки на хлеб.

Я вспомнил, как наши летние гости любили тот хлеб с домашним маслом. Я отдавал предпочтение булкам, которые она подавала в воскресенье к завтраку. Наблюдая, как она замешивает тесто для булок, я наслаждался запахом муки, дрожжей, изюма и сливок.

Это письмо возбудило у меня ненависть к «Ним» ― учителям, директрисе, к тем самодовольным опекунам моего будущего, ко всем тем, кто утверждал, что знает, что хорошо для меня, для пролетариата, для всего мира.

Благодаря этой ненависти, я вдруг понял, насколько я отдалился от мамы. Когда я уезжал из Яворы, отец был ещё жив. А теперь она осталась одна с моим младшим братом Ясем.

Она писала, что счастлива, что я живу в городе. «Тут, в селе, нет жизни. Некоторые люди хуже скотины. Напуганы, каждый трясётся за свою шкуру. Мы с утра до вечера мозолимся в колхозе. Нас разделили на бригады, в каждой из которых другая работа. Мне посчастливилось ― назначили в полевую бригаду. Я беру Яся с собой. Через неделю ему будет шесть лет и в августе он пойдёт в первый класс. Он так быстро растёт ― уже выше тебя в его возрасте. Иногда рассказывает мне так, будто я об этом не знаю, что имеет во Львове брата и когда-нибудь поедет к нему. Господи, как бежит время! Тебе скоро пятнадцать. Я и тебя когда-то брала летом на наше поле. Ты был таким смирным ребёнком, даже в пелёнках никогда не плакал».

Следующие четыре строки были зачёркнуты и очень закрашены, чтобы я ничего не прочитал. Почему? Может она боялась моей реакции? А может это было что-то очень личное и она колебалась, стоит ли делиться этим со мной. Только одно слово можно было разобрать. Это было слово «Коваль».

Письмо продолжалось. «По воскресеньям, тогда, когда раньше люди ходили в церковь, теперь село сгоняют в клуб. Там люди осуждают один другого и сами себя, как голодные волки. Они называют это „критикой и самокритикой“. Потом они вынуждают нас давать обещания, что мы будем работать лучше и больше, чтобы выполнять и перевыполнять нормы, которые они нам дают. Я, спасибо Богу, ещё в силе, но что будет дальше? Не хочу и думать об этом. Верю, что всё будет хорошо».

Дальше она сообщала, что церковь в селе сожгли, а старого священника арестовали. Тот священник, напомнила она, один раз дал мне подзатыльник, когда я на уроке религии запнулся, рассказывая Заповеди.

Невероятно, но она помнит такие мелочи. Но наиболее меня удивило то, что она написала в конце.

«Дорогой Михаил, какое это счастье, что я могу тебе написать. Не помню, говорила ли я тебе, что я не ходила в школу. В моё время девочек в школу не посылали. Мы были предназначены к замужеству, должны были быть помощницами нашим мужьям, как говорил твой отец, земля ему пухом. Только после твоего рождения благодаря пану Ковалю я научилась читать и писать. Тем летом он привёз мне из Львова азбуку, тетрадь, два карандаша, ручку и чернило. До сих пор помню, как дрожали мои пальцы, когда я впервые в жизни держала ручку. Он тогда сказал: „Времена быстро меняются. Научитесь читать и писать, может придётся когда-нибудь написать Михасю и читать его письма“. Пан Коваль человек уважаемый, он знает что говорит. Поблагодари его за опеку над тобой. Будь почтительным с ним».

«Революция пожирает своих детей»

В.Л.Леонард

ТАНЕЦ ЛАСТОЧЕК

— Куда ты в такую рань? — услышал я голос пани Шебець, выйдя на веранду. Она стояла в приоткрытых дверях своей комнаты. Наверно она только что проснулась, потому что вышла босиком, в ночной рубашке. Волосы были растрёпаны, а лицо — белое как снег.

Такой её вид вряд ли понравился пану Ковалю. В его обществе она была совсем другим человеком — безупречно уложенные волосы, нарумяненные щёки, на губах — помада, которую она хранила, наверное, со старых времён.

— В Явору, — ответил я, не готовый к её утренним расспросам. Кроме того я боялся опоздать. Поезд в Явору шёл один раз в день и я был уверен, что мама меня встретит. Я написал её, что приеду 22 июня.

— Ты на всё лето останешься в Яворе? — снова начала пани Шебець.

— Нет, на всю жизнь, — с сарказмом ответил я, захлопывая двери веранды, даже не попрощавшись с ней.

Я отлично знал, почему она спрашивает на какое время я еду — надеялась, что не вернусь. Она считала меня препятствием её замужеству с паном Ковалем. Я часто слышал, как она говорила: «Я так хочу быть с тобой, вечно, только я и ты, Иван, мы вдвоём и больше никого» или «Почему бы тебе не отправить Михася к матери? Он и так слишком долго пробыл с тобой. Он достаточно сильный — пусть помогает матери в хозяйстве. Она, наверно, нуждается в помощнике».

Чего-то такая забота пани Шебець о моей матери не оказала на пана Ковалья впечатления. Может я и ошибался, но не думал, что я был виноват в отказе пана Ковалья жениться на ней. Пан Коваль был самоуверенный и выше всего ценил свою самостоятельность. Да, он любил женщин, но не хотел быть связанным ними. Если бы не его «бабство», как говорила пани Шебець, он мог бы жить как аскет или, наверное, стать монахом на горе Афон.

Пани Шебець не знала, что я не был уверен, хочу ли я после каникул вернуться во Львов. Но эта неуверенность ничего общего не имела ни с ней, ни с паном Ковалем.

Если я вернусь в школу, то стычки с директрисой не миновать. Она не глупая. Прийти к ней с пустыми руками просто невозможно, так как, если верит прессе, враги народа не дремлют. Она сделала бы вывод, что мне (да и Богдану) нельзя доверять. Последствия очевидны. Последние месяцы даже местных «старых коммунистов» критиковали, публично обвиняя в «идеализме», называли «замаскированными буржуазными националистами», отправляли в ссылку. Партия «чистила свои ряды» от «плёвел» и меняла их на пришельцев из центральной России. Сестре пани Шебець Ульяне, которая верила в коммунизм, как преданный христианин верит в Иисуса, выпала судьба первых христиан. Василий, наш бывший сторож, который после освобождения стал членом исполкома города Львова, тоже исчез. Когда-то его фотографии часто появлялись в газетах. Его называли «настоящим пролетарием» и «преданным строителем коммунизма», но после чистки о нём не было никаких вестей.

Я был на распутье и не знал, какой дорогой идти. Казалось, все они вели в тупик. Самой привлекательной было бегство на Запад. Это было рискованно, особенно летом, но я был готов к опасностям. Одно меня волновало — что об этом скажет мама.

Я решил на всё лето остаться в Яворе, помогать матери. В конце лета я сказал бы ей, что возвращаюсь в школу. Она бы провела меня до станции. Однако, вместо того, чтобы ехать во Львов, я выпрыгнул бы из поезда там, где он самое ближе подходит к границе. А дальше дорогу я знал.

Я рассказал о такой возможности Богдану. Сначала он пришёл вне себя, обвиняя меня в измене Организации, а потом согласился, что я имею резон.

Готовясь к переходу границы, я решил взять с собой револьвер. Я спрятал его в Марковом «Капитале». Эта книжка имела соответствующие размеры. Я положил револьвер

на страницу 77 (счастливый номер), обвёл его контуры, и затем одну за другой вырезал страницы. Это была медленная нудная работа. Мне приходилось постоянно затачивать лезвие ножа. Наконец вырез был достаточно глубоким ― револьвер вошёл в него как рука в перчатку.

В воскресенье 22 июня 1941 года по дороге на станцию, я нёс его в заплечной сумке вместе с несколькими другими книгами, грязными рубашками, бельём и зимними носками, которые мама велела привезти, чтобы заштопать.

Я мог бы сесть в трамвай, но так как они ходили очень нерегулярно и мне необходимо было делать две пересадки, я решил идти пешком. Так было быстрее и безопаснее.

Наступил рассвет ― время, когда команды «чёрных воронов» уже спали, а пекари просыпались и приступали к работе. Вдоль улицы, по которой я шагал на станцию, выстроились одноэтажные домики, все одного размера, по два окна возле входных дверей, однообразно покрашенные фасады. Это были дешёвые «железнодорожные дома», построенные в начале столетия для железнодорожников.

Сейчас их жители ещё спали. В некоторых были приоткрыты окна ― было слышно храп. Кроме этого звука было слышно разве что ласточек. Они летали над домами, словно танцевали в потоках ветра, падали вниз, иногда проносились над моей головой, словно приглашая к своим играм.

Улица Железнодорожная сливалась с улицей Городецкой. Немного погодя я вышел на перекрёсток, далее свернул на Привокзальную ― широкую улицу вымощенную булыжником. Посреди неё тянулись две трамвайные линии, а обочина была обрамлена каштанами и изящными газовыми фонарями. Улица выходила на большую площадь, за которой расположился главный железнодорожный вокзал, построенный во второй половине XIX столетия, во времена Франца-Иосифа. Как и все другие здания, возведённые во время его императорства, вокзал был уменьшенной копией Венского оригинала, но достаточно большой, чтобы удовлетворить императорское тщеславие. Теперь над большой аркой входа висели портреты Ленина и Сталина, а под ними транспарант с лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Я вышел на площадь в тот момент, когда остановили пешеходное движение потому, что по улице проходила военная колонна ― странная смесь Т-34, кавалерии и пехоты. Они направлялись к грузовому депо. Возле Цитадели я видел разные воинские подразделения, но такой комбинации, как эта ― никогда. Что-то тут было не так. Казалось, там господствовала спешка, чуть ли неразбериха.

По ту сторону площади огромные часы перед входом на вокзал показывали без пятнадцати минут шесть. Солнце только что взошло над крышами домов, заливая улицу тёплым светом. Погруженный в свои мысли, я представлял себе, как встанет моя мама и готовится к моему приезду. Через четыре часа она будет встречать меня на станции Волосянка. Оттуда было тридцать минут хода к селу. Дома она приготовит завтрак: горячее какао, хлеб с маслом или деруны, может даже жареную куриную ляжку, которые она часто готовила летом нашим гостям. Однако я понимал, что мечта про такой завтрак совсем призрачна, потому что теперь не было ни какао, ни яиц, ни масла, а я был такой голодный, что был бы рад и стакану молока с куском хлеба.

Военные отряды всё ехали и ехали, а рядом собиралось всё больше и больше народу, который хотел перейти на другую сторону площади. У меня было чувство, что вроде я стою среди опечаленных ― никто и словом не перемолвится, каждый как и я, замкнувшись в себе, всматривался перед собой невидящим взглядом. Из моего воображения даже исчез образ яичницы с жареной картошкой.

Пустоту заполнило всё более усиливающееся гудение. Я поднял глаза вверх и увидел три самолёта. Я подумал что это советские Ил-2. Эти были похожи на кресты, жужжащие в воздухе. К удивлению, когда они пролетали над станцией, звук их моторов внезапно прекратился ― так, вроде они зависли в воздухе. Затем один за одним они наклонили свои носы и понеслись как ласточки вниз.

Оглушительный рёв разорвал тишину. Через мгновение прогремел взрыв. В воздух поднялась туча обломков и дыма. Солдаты искали укрытие. Ошалевшие кони ржали и становились на дыбы, как бешенные. Танки загорелись. Пешеходы разбежались. Я спрятался под припаркованным трамваем.

Вскоре по станции прокатилась вторая, а затем третья волна взрывов. Не в состоянии бороться с любопытством, я высунул голову, чтобы посмотреть на улетающие самолёты. Мне показалось, что на их крыльях были изображены чёрные кресты.

*«Ничто не вечно, кроме изменений»
Гераклит*

КОНЕЦ БУДУЩЕГО?

Волны взрывов в разных частях города разбудили, наверное, всех и каждого. По дороге со станции домой я видел перепуганные, ошеломлённые лица в окнах — люди не знали чего ожидать.

Я был единственным на узкой улочке. Какой-то мужчина открыл окно и заметив меня, спросил о том, что интересовало всех: «Что творится?» В его голосе было больше тревоги, чем интереса. Я конечно не знал, но рассказал ему про налёт на железнодорожную станцию. Одно крыло вокзала сравняло с землёй.

Он выругался, а потом настойчиво повторил свой вопрос: «Что, чёрт возьми, происходит? Радио поёт песни так, словно ничего не происходит. Погоди-ка, сейчас будут новости».

Он поставил радио на подоконник, одну пару наушников дал мне, вторую взял себе. В моих ушах зазвучала «Катюша» — песня о девушке, которая встречается на берегу реки юношу и предлагает ему любить не её, а «социалистическую родину». Слова песни, конечно, не были поэтическими, но мелодия была навязчивой. Слушая её, я поймал себя на том, что непроизвольно подпеваю.

Затем были новости, обыкновенные ежедневные новости. Про важные решения ЦК КП; про успехи стахановского движения; про прогресс в свиноводстве, которого достигла какая-то свинарка. Наконец, про «радостную реакцию советских людей» на призыв товарища Сталина «удвоить усилия в построении будущего». По радио было всё нормально.

В своей квартире пан Коваль, одетый в халат, прикипел к своему коротковолновому радиоприёмнику. Он крутил ручку туда-сюда. Интересно, где он прятал тот приёмник? Ведь русские прибыв во Львов, приказали сдать все коротковолновики. Тех, кто этого не сделает, они будут считать шпионами и соответственно наказывать.

Проверив провода, пан Коваль снова принялся медленно крутить ручку. Я смотрел как стрелка медленно двигалась по шкале с названиями европейских столиц. Слышно было только хриплый, урчащий треск. Когда указатель приблизился к Берлину, скрип и дребезжание усилились, и вдруг послышался чёткий голос: «Deutscher Rundfunk, Berlin, den 22 Juni 1941, 8 Uhr Morgens. Sondermeldung». К моему удивлению, школьных знаний немецкого было достаточно, чтобы понять: «Немецкое радио, Берлин, 22 июня, 1941, 8 часов утра, Спецвыпуск».

Лицо пана Ковалья просветлело. В глазах вспыхнули искорки. Он глянул на меня, словно говорил: «Видишь, я добился своего!» Приложил указательный палец к губам — мол: молчи. Когда начались новости, я хотел похвастаться перед паном Ковалем своими знаниями немецкого языка, но уже во втором предложении споткнулся на слове «Барбаросса». Это имя для меня никак не вязалось с новостями. Впервые я услышал его на уроке истории. Припоминаю, учитель рассказывал про германского короля, который стал где-то в XII столетии императором Священной Римской империи. Из-за цвета бороды его

назвали «Барбаросса» ― от итальянского «рыжебородый». Тот учитель был такой смешной ― говорил, что Священная Римская империя была ни священной, ни империей.

Мысленно углубившись в XII столетие, теперь я мог улавливал только отдельные отрывки новостей. Единственное что я понял, так это то, что что-то случилось в три часа ночи. Судя по торжественному тону диктора, что-то серьёзное, но что, я не понял.

Ближние взрывы положили конец моему недоумению. Наверно разрушили электростанцию, потому что зелёный огонёк радиоприёмника несколько раз моргнул и погас вместе с голосом диктора.

Пан Коваль повернулся ко мне: «Война! Сегодня в три часа немецкие войска пересекли советскую границу, встретив только небольшое сопротивление. Советская армия в панике отступает. Так говорит радио».

Переводя только что услышанные новости, он и сам говорил как диктор, но в его голосе зазвучала грустная нотка, когда он добавил: «Это уже третья война в моей жизни, надеюсь последняя, но»... Он не окончил. Молча смотрел на меня, словно старался представить, что может мне приготовить эта война.

― Я ожидал эту войну, ― наконец тихо проговорил он. ― Как иначе можно справиться с лицемерным, примитивным русским. Но, ― заколебался он, словно не зная, стоит ли это говорить, ― кто знает, что там будет. Война ― панночка привередливая. Как говорят, человек стреляет, а Бог пули носит.

― А что там было про Барбароссу? ― серьёзно спросил я. ― Что общего имеет император XII столетия к войне против России?

Пан Коваль медленно снял очки, и окинул меня таким взглядом, словно я спросил что-то очень смешное, и захохотал. Он пытался что-то сказать, но не мог сдержать смех. Сначала я не понимал в чём дело, но этот смех был таким заразительным, что я и сам начал смеяться. Мы аж за бока брались. Впервые за два года это был настоящий, искренний смех, а не вынуждаемый нашими «освободителями».

― Ну как насчёт Барбароссы? ― снова спросил я.

― Это название немецкого похода против России, его называют «Операция Барбаросса». Может они употребили это имя просто как сентиментальное воспоминание про бывшее германское величие, а может это намёк, что Гитлер начал войну, чтобы восстановить Германскую империю. Увидим. Всё покажет его отношение к Украине.

Мне понравились слова пана Ковалья. Он выражался чётко и формально, рассматривая события, по его словам, «в исторической перспективе». Но мне был непонятен его намёк на то, что отношение немцев к нашей стране может быть негативным. Что бы они могли иметь против Украины, думал я. В отличие от россиян, немцы прибыли из цивилизованного Запада. Они представляют западную культуру. Я не видел причин, чтобы немцы не хотели видеть нас свободными после столетий угнетения. Мы были бы их лучшими друзьями.

Один раз у нас Богданом зашла беседа на эту тему, когда он рассказал мне, что Организация «разыгрывает немецкую карту». Зная, что Богдан всегда интересовался «глобальными проблемами», я сказал, хотя и не был уверен, что как по мне, это нормально, но не следует забывать, что Россия имеет мирный договор с Германией. Слова Богдана рассердили меня. Он говорил как всезнайка: «Этот пакт ― просто тактический ход. Столкновения не избежать».

Теперь, слыша гром далёких взрывов, я понял, что Богдан был прав, но одновременно почему-то думал, что его бы слова да Богу в уши. Наши мнения сходились в том, что поддержка немцев нам необходима, чтобы добыть свободу, хотя бы потому, что больше помощи просить не у кого. Франция уже пала под немецкими ударами. Англия? Кто бы поверил Англии! Она должна была прийти на помощь Польше в войне с немцами, но даже пальцем не пошевелила.

Пан Коваль снял очки и крутил их в правой руке, сидя перед радиоприёмником и опёршись головой на левую руку. Я часто видел его в таком положении глубокомыслия. Я

хотел уйти прочь, но он остановил меня:

— Подожди, мы совсем забыли о пани Шебець. Её порадуют такие новости. Пойди разбуди её.

— Не может быть, чтобы она спала, — ответил я, такие фейерверки и мёртвого разбудят.

— Ошибаешься, когда она спит, ей можно возле уха из пушки стрелять. Пойди постучись к ней, но хорошо постучись.

Я постучался — безрезультатно. Постучал сильнее — ни звука. Может она умерла? Да нет, наверно она просто напугана до смерти и поэтому не отвечает. Стук в дверь неоговоренным заранее способом означал, что пришли «они», чтобы депортировать её. Владельцы соседних домов давно были в Казахстане или где-то в Сибири.

— Это я, Михась — закричал я.

Я был прав. Она не спала. Из-за двери послышался её голос.

— Михась? Неправда. Он уехал. Я видела, как он ушёл на рассвете.

Наверно она не узнала мой голос, потому что я кричал. Поэтому я сказал уже обычным тоном.

— Пани Шебець, клянусь — это я. Михась.

— Но ты же ушёл, я видела тебя на рассвете, теперь ты должен уже быть в Яворе.

— Да, но железнодорожную станцию разбомбили, поезда не ходят.

— Разбомбили? Ты что, с ума сошёл? Кто?

— Немцы. Началась война, пани Шебець, настоящая война. Пан Коваль отправил меня известить вас. Вы должны радоваться, вам вернут дом, вы снова станете хозяйкой.

Такая перспектива ей нравилась, после минутного молчания она добавила:

— Я хотела бы верить тебе, но... — она не закончила предложения, потому что воздух расколол взрыв, дом аж зашатался. Я упал на пол. Прозвучала серия последующих взрывов.

Встав, я посмотрел через разболтанное окно веранды. На другой стороне улицы, неподалёку от нашего дома бомба оставила глубокую воронку. Посмотрев левее, на Кульпарковскую, я увидел темное облако над бывшей психиатрической больницей. Россияне в прошлом году превратили её в военную базу. Мы с Богданом не один час следили за войсками, которые там располагались. От мысли, что немцы используют информацию, которую мы собирали, мне стало как-то не по себе.

«Мы наиболее и прежде всего заинтересованы в Украине»

Геринг (1933)

«Если бы Урал, Сибирь и Украина принадлежали Германии, то наше государство под управлением национал-социалистов жило бы в полном достатке»

Гитлер

«В Украине и на Урале Германия найдёт богатства, каких нет ни в одной заморской колонии»

Риббентроп (1938)

BLITZKRIEG, 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Рыжебородый император Барбаросса, наверно, испытывал радость в своём гробу, видя, как его потомки борются за то, что не удалось ему семь столетий тому назад. Историки смеялись над Священной Римской империей. Но хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Операция «Барбаросса», как называли поход против Советского Союза, поможет

создать невиданную до сих пор империю от Северного моря до Средиземного, от Атлантического океана аж до Урала, а может и дальше.

Гитлер, исполнитель воли Барбароссы, был уверен в успехе. Современные технологии дали ему невероятные возможности вести войну неизвестным до сих пор способом. Имя этого способа было Blitzkrieg. Сила Blitzkrieg была в неожиданности и скорости — молниеносной скорости воздушных и наземных атак. Так воевали разве что древние боги. Зевс и Юпитер были мастерами этого дела. Они, как никто другой, умели использовать молнию как оружие.

Внезапная бомбёжка Львовской железнодорожной станции и военных лагерей засвидетельствовали начало войны. Уже несколько дней во Львов доносится эхо немецких наземных боёв. На восьмой день немецкая армия была уже на подступах ко Львову. Под молниеносным напором бомбардировщиков и танков российская армия отступала.

Первым в город вошёл батальон «Нахтигаль» ― батальон соловьёв. Это было 30 июня. Нахтигаль ― соловья считали родным сыном Украины. Хорошие и не очень хорошие поэты воспевали его во многих стихах, немало пели песен, наследуя птичий голос.

Воины «Нахтигаль» были украинцами в немецкой форме. Немцы создали батальон, чтобы, двигаясь дальше на Восток, иметь переводчиков. Однако, члены батальона, имели иную цель. Для них «Нахтигаль» был первым отрядом будущей Украинской армии. Как члены ОУН они стремились к независимости Украины и от России, и от Германии. Именно ОУН была той тайной Организацией, к которой принадлежали мы с Богданом. Командование батальона «Нахтигаль» перехитрило регулярные отряды немецкой армии и появилось во Львове на семь часов раньше. В городе немедленно провозгласили независимость Украины и создание Временного правительства под руководством ОУН. Все улицы были облеплены плакатами, которые провозглашали это историческое событие. Над Ратушей развивался сине-жёлтый флаг. Мама когда-то говорила, что синий цвет обозначал небо и свободу, а жёлтый ― пшеничные поля и независимость.

Встретившись с Богданом, мы не могли вымолвить и слова, просто стояли и зачарованно смотрели один на другого. Ещё несколько дней назад мы боялись. Я хотел убежать на Запад, однако Запад сам пришёл сюда. Мы свободные! Видеть сине-жёлтые цвета вместо кроваво-красных цветов, которые душили нас страхом, было невероятным счастьем.

― Да здравствует Украина! ― выкрикнул Богдан, когда мы подошли к университету ― нынешней резиденции Временного правительства.

Здание университета тянулось вдоль нижней стороны парка Иезуитов. Как суды и тюрьмы, её возвели во времена Австро-Венгрии. Построили университет как доказательство того, что император любил искусство и науку. То здание смотрелось как императорский орёл, который вот-вот поднимется в воздух. Два крыла его разделяла центральная часть с высокими ионическими колоннами. Оно пережило императора и его империю. Когда в конце Первой мировой войны империя распалась, огромную гранитную статую Франца-Иосифа, что стояла напротив университета, сбросили и выбросили на свалку. Имперские эмблемы заменили гербами только что созданного Польского государства.

Два года назад россияне вместо польской символики установили красные звёзды и серпы с молотами. Теперь, когда россияне дали драпа, а немцы ещё не объявили своих прав на здание, оно «принадлежало нам». На фасаде, рядом со статуями трёх муз ― правды, науки и власти ― развевались жёлто-голубые стяги.

Наконец Львов стал «нашим». Мы были «в собственном доме». Мы быстро пошли к университету. Издалека было видно, как в него входят и выходят какие-то люди.

Возле входа стояло четыре часовых в одежде, похожей на различную военную форму. Они были не очень старше нас с Богданом. Лица их были суровы, но приветливы. Они напомнили мне наши «милицейские» времена. Один из них был похож на старшекласника из нашей школы. Скорее всего он узнал нас, потому что поздоровался первым: «Слава Украине!» Это было приветствие Организации, которое использовали только её члены. Впервые услышав его вот так открыто, свободно, мы с гордостью ответили: «Слава Вождю!»

и таким был официальный ответ организации.

Однако... на эти наши слова часовые скривились как среда на пятницу. Самый длинный направил на нас винтовку: «Ни с места! Руки вверх!» Другой часовой начал дуть в свисток.

Нас мигом окружили молодые люди в импровизированной форме. Они схватили нас за руки и повели в здание. Я слышал, как один из них, который вёл себя как начальник, называл нас «агентами Мельника». Богдан хотел что-то сказать, скорее, спросить, кто такой Мельник, но ему приказали «закрыть рот» и: «поговорим в подвале». Богдан недоуменно посмотрел на меня, но я был ошарашен так же, как и он. Только мгновение назад мы чувствовали себя свободными хозяевами в собственном городе, а теперь с нами обходятся как с пленниками. Если бы нашими порабощателями были хотя бы россияне, но это же наши! У них сине-жёлтые повязки. Заговор? Недоразумение? Жестокая шутка? Мы и: «агенты Мельника»? Это что за один? Такие мысли роились в моей голове, но все они были напрасными. Когда по мрачной лестнице мы спустились вниз, я не на шутку перепугался, потому что один из наших порабощателей вставил ключ в щель дверей подвала и: они собирались закрыть нас. Я ощутил холодный пот на ладонях. Рефлекторно крикнул: «Стойте! Что вы делаете? Мы же члены Организации! Мы рисковали жизнью под Советами!»

Мой крик подействовал. Они согласились нас выслушать. Затем они проинформировали нас про запутанные изменения в руководстве Организации, о которых мы с Богданом и даже и не слышали.

Организация, сказали нам, уходит корнями ещё в Первую мировую войну. В конце той войны на смену российскому царизму пришёл коммунистический режим, а Польша, которая вот уже столетие была под Австро-Венгрией, получила независимость. Как результат и: восточная Украина очутилась под российским коммунистическим управлением, а западная и: под польским. После Первой мировой офицеры разгромленной украинской армии организовали тайный центр, из которого в конце 20-х годов создалась ОУН. Своей целью она ставила освобождение Украины и от польской, и от российской оккупации.

Чтобы не попасть в лапы коммунистов после раздела Польши между Россией и Германией в 1939 году, руководство Организации перебралось на польскую территорию, оккупированную немцами. Оттуда она поддерживала тайную связь с сетью Организации на западной Украине.

Однако вскоре руководство, а вместе с ним и Организация, раскололись на две враждующие фракции, каждая из которых считала другую незаконной и пыталась получить эвентуальную власть в Украине. Руководителем одной из фракций был Мельник. Её члены называли себя мельниковцами. Другую фракцию возглавлял Бандера. Её члены назывались бандеровцы.

Как нам сообщили, мельниковцы стремились сотрудничать с немцами, шли на большие уступки. С другой стороны бандеровцы, которые находились в большинстве, «проводили принципиальную, бескомпромиссную политику в вопросах украинской независимости».

Именно бандеровцы прибыли во Львов в составе батальона «Нахтигаль» и обклеили город объявлениями о самостоятельности Украины и создании Временного правительства. Такими мерами они хотели упредить захват власти мельниковцами. Но мельниковцы, как сказали нам, собираются войти в Киев и там провозгласить себя правительством Украины. Бандеровцы хотели помешать им, задерживая их, насколько это было возможно.

А что к этим событиям имели мы с Богданом? Получилось так, что после раскола фракция Мельника всё ещё придерживалась старого приветствия и: «Слава Украине!/ Слава Вождю!», которое знали мы с Богданом. А вот фракция Бендеры изменила ответ на «Героям слава!» Поскольку мы ответили «Слава Вождю!», они решили, что мы мельниковцы, которые только что пришли от немцев.

Когда мы рассказали о своей деятельности во время российской оккупации, нас засыпали извинениями. Покрасневши, руководитель группы, который арестовал нас, всё

повторял: «Это недоразумение», «Большое недоразумение», «Больше так не повторится».

Чтобы загладить свою вину, они дали нам возможность встретиться с каким-то членом Временного правительства. По дороге в его кабинет, я представлял себе в годах, представительного господина, похожего на пана Ковалю, а он оказался крепким мужчиной средних лет. Выбритая голова с высоким, выпуклым лбом и тёмные глаза придавали ему вид начальника. Некоторое время он смотрел мне в глаза. Услышав про наши подвиги, он похвалил нас как «самых молодых подпольщиков», которых он когда-либо встречал.

Позже нас представили руководителю, ответственному за подготовку «походных групп». Как нам сказали, это были небольшие группы, которые отправлялись на восточную Украину, чтобы создать местную сеть постов Организации Бандеры. Когда немцы захватят Киев, Организация, имея в своём распоряжении такие посты, сможет противопоставить себя немцам, как власть столицы Украины. Нам предложили присоединиться.

Это казалось интересным приключением. И хоть я ощущал горький привкус нашего «ареста», эта идея пленила моё воображение. Я уже видел себя в Киеве, возле Золотых Ворот, в старинном соборе св. Софии, искал следы монгольского нашествия в степях восточной Украины, исследовал поля битв казаков с турками. Осуществится моя мечта детства посетить памятник Тарасу Шевченко на берегах Днепра. Мысленно ожили, прояснились, приобрели новых красок фотографии из учебников истории. Сомнений не оставалось; я согласился.

ПОХОДНЫЕ ГРУППЫ

Наша группа упорно двигалась по тропинке, что стелилась параллельно дороге из гравия. Мы не торопились, шли размеренным шагом. Нас ожидали несколько недель хода. Конечным пунктом у нас была Белая Церковь; городок в 500 км от Львова и в каких-то 40; от Киева. Когда мы выходили из Львова, Белая Церковь была в руках Красной армии, поэтому мы не знали, когда туда прибудем. Всё зависело от скорости продвижения немецкой армии.

Тропинка была сухой. Уже две недели с начала войны, но не упало ни одной капли дождя. Наша обувь поднимала тучи пыли. У каждого был рюкзак. По дороге мы не встретили ни души.

Мы были одной из бандеровских «походных групп»; одной из многих, которые послали на восточную Украину. Нас было трое: наш руководитель пан Сорока, Богдан и я. Перед тем как выступить в дорогу, мы с Богданом прошли недельную подготовку; изучали программу Организации и способы образования местных постов. Наши рюкзаки были наполнены агитлитературой и плакатами. Я едва нашёл место для одной рубашки и нижнего белья. Единственная пара носков была на мне.

Руководителем нашей группы был пан Сорока; «старый волк» Организации. Он прибыл с «немецкой стороны» через несколько дней после «Нахтигала». Он в совершенстве владел немецким языком и носил зелёную «тирольскую» шапочку. Эта шапочка и густые усы были ему очень к лицу, как и сапоги, которые он ежедневно чистил. Его белоснежные зубы сразу бросались в глаза, как и очки в толстой оправе. Был одет в такие облегающие галифе, что впереди виделся бугорок. Как для мужчины, которому за тридцать, он был очень быстрым и проворным. Когда я или Богдан замедляли движение, он подбадривал нас словами: «Представьте себе, что если мы не потеряем темп, то первыми придём в Киев и установим наш национальный флаг на соборе св. Софии».

Он загорелся идеей прибыть первым в Киев и хотел заразить этим желанием нас с Богданом. Разговаривал тихо, никогда не повышал голос, словно в его словах не было никаких эмоций. Его голос был голосом Организации. Время от времени он распространялся о преданности «нашему делу», у меня было жуткое чувство, что слушаю выступления директрисы Бочвы про славное будущее, которого я так счастливо избежал. Его голос был бесцветным, монотонным, с нотками приглушённой надменности, если не агрессии. Как-то я

об этом заговорил с Богданом, но он заявил, что это всё плоды моей извращённой фантазии. «Пан Сорока, ― сказал Богдан, ― настоящий патриот, нам повезло что он наш руководитель, нам есть чему у него поучиться».

С тех пор я держал эти мысли при себе. Чем дальше, тем больше Богдан попадал под чары нашего руководителя. Однажды, когда я запротестовал против приказа Сороки идти дальше, Богдан полностью согласился с ним, что в «походной группе» должна быть такая тесная связь, как нитки в материи, и поэтому тут нет места тем, кто выбивается из ритма. Я ничего не имел против такого постулата, но марширование было нудным и ограничивало свободу. Прожив два года по «указаниям партии», мне было необходимо «сбиться с шага», побегать по полю, поваляться в траве, дышать как мне захочется.

Мы шагали день за днём, ночуя в пустых сараях и конюшнях. Дорога, обрамлённая тополями, стелилась перед нами, как серебряный узор. Пшеничные поля справа от дороги казались бесконечными, сливаясь на горизонте с небом. Слева было море подсолнухов. Они безобидно покачивались, словно приглашая нас остановиться и отдохнуть, но наш руководитель всё торопил и торопил нас.

Иногда нам попадались российские Т-34, застрявшие в грязи или просто брошенные посреди дороги, с открытыми люками. Один раз мы увидели кучи мёртвых солдат в открытом поле ― лица некоторых из них почернели, как сажа, других обклевали вороны или пообгрызали какие-то звери. К удивлению, мы не видели разрушенных мостов, из чего мы сделали вывод, что Красная армия поспешно убегала.

Наконец мы пришли в Ровно. Сине-жёлтый флаг привёл нас к городской ратуше, где расположился пост бандеровцев. Он состоял из множества юношей моего возраста и более старших мужчин ― руководителей. Они координировали «походные группы».

Через три дня мы выступили на Житомир ― первый большой город восточной Украины на нашем пути. Перед нами протянулась современная широкая асфальтированная двухсторонняя дорога ― первая в Восточной Европе, хотя ещё и недостроенная. Россияне строили её для передвижения своих войск на случай, если они начнут войну с Германией. Теперь немцы использовали её для транспорта своих отрядов и снабжения.

Движение было в двух направлениях, но в основном на восток, к границе, туда, куда направлялись и мы. Мимо нас проезжали нескончаемые колонны немецких машин, нагруженных боеприпасами. Когда одна из колон притормозила, мы им помахали, а они вытупили глаза, не понимая, какая лихая нас сюда забросила.

Поток на запад был другим. Многочисленные колонны советских военнопленных под охраной немцев тянулись, словно похоронные процессии. Измождённые, с выражением обречённости на лицах, они еле волокли ноги, спотыкаясь, как поломанные куклы. Я вздрагивал при их виде. В учебниках истории такого не было. Война должна была быть весёлой...

От мыслей меня отвлекло скрежетание тормозов. Остановился военный грузовик. Водитель позвал нас. Не спрашивая ни кто мы, ни куда направляемся, предложил подвезти. Пан Сорока сел впереди, мы с Богданом устроились на кузове на боеприпасах.

Какое это было облегчение ― ехать после стольких недель ходьбы и не видеть впереди себя спину нашего начальника. Теперь нам было больше видно военнопленных, покалеченных российских танков, брошенных пушек, поломанных грузовиков и телег, тьму-тьмущую противогазов, которые наверно выбрасывали красноармейцы, чтобы легче было убегать. Иногда над головой тархтел разведывательный самолёт.

Дорога уходила вперёд, пересекая необозримые равнины ― бывшие степи, а теперь колхозные поля. Именно этими степями когда-то кочевали орды турок и татар, разрушая и сжигая всё на своём пути. Именно тут, триста лет назад, родилось движение против польской шляхты, которая делала крепостными свободных людей. Я листал страницы истории быстрее, чем ехал грузовик.

Бандеровский пост в Житомире размещался в школе. Его легко было найти по сине-жёлтому флагу. Однако нам сказали, что мельниковцы пришли на день раньше и

разместили свой пост в помещении суда в противоположной части города.

Кто первый, у того и преимущество. Чтобы избежать таких поражений, съезд руководства постановил назначить пана Сороку главным координатором «походных групп», которые будут проходить Житомир.

Поскольку Белая Церковь была чрезвычайно важным пунктом на пути в Киев, нам с Богданом приказали идти туда на следующее утро. Как нам сказали, город ещё в руках россиян, но вот-вот должен сдаться. Наша задача — установить там пост.

«Увлечение — это не программа»

Томас Масарик

ЖАРЕНый ЛЕНИН

Белая Церковь когда-то была шумным городом, но когда мы туда прибыли, она казалось голым пустырьём. Ни главные улицы, ни узенькие переулочки не подавали никаких признаков жизни. Маленькие низкие домики, некоторые ещё под соломенной крышей, казалось, всасывала сила притяжения. Мы постучали в несколько дверей — ни шороха. Ни одного звука, ни одного взгляда из-за задёрнутых занавесок. Ни детского плача, ни собачьего гавканья, ни птичьего чириканья. Красная армия оставила город два дня назад, а немецкая прокатилась без остановки.

Единственным звуком было эхо наших шагов, когда мы шли вымощенной площадью к административному зданию. Напротив него стояла гранитная статуя Ленина, почти такой же высоты, как и здание сзади неё. Ещё несколько дней назад Ленину поклонялись тут как великому пророку будущего. Теперь, брошенный своими покровителями, он глазел на площадь — такую же пустую, как и его обещания.

Тот кто последним покидал административное здание, очень торопился. Двери были открыты и придавлены мешком с зерном, чтобы не захлопнулись. Комнаты были захламлены открытыми ящиками из-под боеприпасов и винтовками. В главной, самой большой комнате, были только скамейки и стулья. Эту комнату наверно использовали для заседаний городского совета. Над столом посередине стены висел портрет Сталина, на скамье лежала «Правда», словно кто-то её бросил не дочитав. Я заметил заголовок «Героический отпор рабочих и крестьян фашистскому нашествию».

Мы повесили над входом сине-жёлтый стяг и облепили город объявлениями, что Организация Бандеры берёт на себя власть в городе и призывает население сотрудничать с ней.

Но читать эти объявления было некому. Чуть ли не целый день мы ходили пустынными улицами, надеясь случайно встретить кого-нибудь. Только вечером мы попали на две живые души — деда, который гонялся за своей курицей, и очень старую бабу, которая сидела на пороге дома за стеной подсолнухов. Когда мы рассказали кто мы и что привело нас в Белую Церковь, она подозрительно глянула на нас, как бабушка на капризных внуков. «А вы для этого не очень малы? — спросила она огрубевшим от возраста голосом. — Да и согласятся ли немцы на вашу независимость? А ваши родители — знают ли они, чем вы занимаетесь?» Нам эти вопросы не понравились. Мы покраснели и отвернулись.

Женщина сказала, что ей восемьдесят лет, но выглядела она ещё старше, а её сморщенное лицо напомнило мне зрелый подсолнух. Её было нужно, чтобы её кто-то выслушал. Рассказала, что ей посчастливилось пережить Первую мировую, революцию и коллективизацию. Её муж погиб в шахте, а маленькая дочь умерла от голода в 1930-х. У неё были надежды на сына — офицера Красной армии, но он полтора года назад был убит на Финской войне.

Задумавшись, замолчала. Потом, всматриваясь в наши с Богданом лица, словно стремясь увидеть наше с Богданом будущее, промолвила: «Если бы возвратить время назад, я бы не хотела быть матерью». Её слова оказали на меня тяжелое впечатление, ведь и моя мать не знала, чем я занимаюсь.

Старик, её сосед, пока она говорила, сидел молча. Его взгляд блуждал где-то далеко, словно пытался сложить воедино куски своей жизни, придать ему какое-нибудь значение. От него воняло махоркой. Когда баба замолчала, он оторвал кусок бумаги и попробовал скрутить самокрутку своими узловатыми пальцами. Он долго слюнявил конец газеты языком, но она не держалась; старая слюна не была уже такой клейкой, а бумага была слишком толстой. Он раздражённо выбросил недоделанную сигарету: «Единственное, что я сейчас хочу; это нормальной сигареты перед смертью. Может немцы хоть настоящую папиросную бумагу привезут.»

Казалось, что он ждал ответа. Не зная что ответить, мы с Богданом перекинулись взглядом. Тем временем дед нашёл более мягкую бумагу и скрутил новую сигарету. Затягиваясь, словно это было единственное утешение в его жизни, он разговорился. Сообщил, что за несколько дней перед немцами прибыла Красная армия и приказала всем эвакуироваться. Также рассказал, что многие не хотели подчиниться и теперь прячутся в лесах, ожидая, не придут ли опять красные. «Вот увидите,» сказал он, выпуская облако дыма, «только красные окажутся по другую сторону Днепра, сразу в городе будет полно народа».

Нам с Богданом не судилось дожидаться этого, потому что на следующий день к нам в подмогу прибыли ещё два отряда Бандеры. Нам приказали идти в направлении Васильково; ближайшего к Киеву городка; и основать там пост, пока это не сделали мельниковцы.

Вечером, перед выходом в Васильково, нас ожидал неожиданный банкет. Одна из наших «походных групп» по дороге в Белую Церковь прихватила в брошенном колхозе кур и яиц. Немало мы ощипали перьев, пока куры были готовы, чтобы пожарить их на костре возле подножья статуи Ленина. После недель сухомятки они были вкуснее, чем те, которых мама готовила для наших гостей.

Мы пригласили на праздник деда с бабой. Баба принесла кастрюлю борща, а дед; бутылку самогонки. Нас поразило то, что он ещё принёс и бандуру. В умелых руках этот инструмент может, сказал как-то мне пан Коваль, плакать самым сильным горем и смеяться наибольшей радостью. Я много читал про бандуристов, как правило, старых и слепых, которые ходили от села к селу, играя и певши песни о казацкой вольной жизни, их походах и их страданиях в турецком плену. Впервые я услышал звук бандуры после «освобождения», когда во Львов приехала капелла бандуристов из Киева.

Мы со всех сторон окружили старика. Теперь с бандурой на коленях он не был похож на человека, у которого только и мечта, что достойная сигарета перед смертью. В отблесках костра его глаза вспыхивали, в то время пока пальцы бегали от струны к струне, настраивая их. Закончив, он распечатал бутылку, хорошо выпил из неё и передал нам.

Я чуть не подпрыгнул, когда он прошёлся по струнам. Мощный поток звуков вырвался из-под его пальцев. Лавина звуков периодически превращалась в меланхолический ручеёк, а затем снова окуналась в высь, как каскады волнообразной каденции. Сейчас его хриплый баритон разлился по площади, словно вызывал небесные силы слушать его пение. Песня была о Байде...

Казак Байда сражался с турецким султаном и российским царём. Один раз султан послал к нему прекрасную женщину, которая напоила его, как он думал, мёдом, а на самом деле; сонным зельем. Его связали, заковали в кандалы и повели к султану, который был в захвате от сорвиголовы. Султан предложил Байде поступить к нему на службу, но тот отказался. Отказался он и от дочки султана. Ему трижды предлагали, и он трижды отказывался служить пришельцам. Тогда султан решил подвесить его за ребро; пусть висит так до смерти. Вдруг появился невидимый ангел и дал Байде лук и стрелы. Байда

выстрелил в султана и расколол ему голову.

Тут бандура затрепетала со всей силой, на которую были способны пальцы деда. Когда голос старика сообщал известие о смерти султана, струны дрожали, рыдали, плакали от радости. Как заколдованные, мы пустились в танец. Увидев нас в кругу, бандурист заиграл сильнее, громче, быстрее, вкладывая в ту мелодию всю свою душу. Мы кружились, подпрыгивали, танцевали словно последний раз в жизни.

Кто-то крикнул: «Давайте поджарим Ленина!»

Мигом в костёр накидали дров. Статую облили бензином. Ещё одну канистру кинули к подножью памятника. Словно от молнии, в небо поднялся огонь. Мы зачарованно наблюдали, как жарился Ленин.

«Когда говорят пушки, законы молчат»

Цицерон

«Методы Армии Свидетелей Иеговы не годятся для ведения войны»

Гитлер

ДЕТСКАЯ ИГРА

На следующее утро, выйдя из административного дома, мы слышали какой-то галдёж. На другой стороне площади возле телеграфного столба игрались дети.

Мы должны были идти в Васильков, но из интереса решили понаблюдать за ними. Самую маленькую, примерно пятилетнего возраста, девочку привязали верёвкой к столбу, а в нескольких метрах от неё выстроились в ряд ребята. В руках они держали игрушечные ружья. Самый высокий из ребят, лет десяти, вёл себя как командир. Из нагрудного кармана он вынул кусок бумаги и начал читать.

Девочка, сказал он, является дезертиром, изменницей родины. Наказание за её преступление — смертная казнь через расстрел. Он вынул красный платок и завязал глаза «дезертирше».

Игра выглядела вполне реально, наверно дети видели настоящую казнь. Вчера бабка рассказала нам, что перед отступлением из Белой Церкви большевики казнили на площади дезертира. Они оставили его тело привязанным к столбу, чтобы отбить охоту у других от дезертирства, а потом похоронили неподалеку на пустыре.

«Стрелки» навели ружья на проклятую «дезертиршу», командир приготовился отдать команду «Огонь!». Девочка с завязанными глазами, привязанная к столбу, тихонько ожидала казни. Крепко сжала кулаки, а пальцы босых ног впились в землю. В это мгновение, когда уже всё было готово к казни, «дезертирша» вдруг крикнула от боли — в ногу ужалила пчела.

Командир дал девочке нагоняй за то, что она испортила игру, некоторые «стрелки» побросали оружие и помчались ей на помощь. Одновременно с другой стороны улицы послышался топот конских копыт. «Солдаты!» — зашумели дети и рассыпались на все стороны, как пригоршня гороха.

С криком «Тревога!» мы с Богданом инстинктивно вбежали в дом. Из окна увидели, как на площадь выехали три красноармейских всадника. Ноздри их коней трепетали, изо рта шёл пар. Казалось, всадники не знали куда ехать дальше. Остановились, вынули карту. Мы видели, как они размахивали руками, озирались вокруг, снова что-то искали по карте, не обращая внимания ни на наш сине-жёлтый флаг, ни на привязанную к телеграфному столбу девочку. Ничего не видя, она скорее всего считала, что всё происходящее, это часть игры.

Тем временем появился с винтовкой один из руководителей наших групп. Оттолкнув меня, он стал на колени, положил ствол на подоконник и прицелился в патруль. «Смотрите!»

и прошептал он, нажимая на спуск.

Испуганные кони вздыбились. Один из всадников сполз набок как тряпичная кукла и упал, когда его конь из всех сил кинулся прочь. Другие, не зная откуда стреляли, во все стороны отстреливались из автоматов. Потом повернулись и помчались туда, откуда приехали, оставив за собой тучи пыли и запах пороха.

Когда осела пыль, мы с Богданом подбежали к столбу. Роль, которую должна была сыграть девочка, стала для неё фатальной: её голова и руки повисли, а по льняной вышитой рубашке расплывалась кровь. Пуля, что прошила тельце, врезалась в столб.

Отвязывая девочку, мы снова слышали цокот копыт. Бросив её полуразвязанной, мы перепрыгнули забор и побежали прятаться.

На площади появился конь без седока и свободные стремяна качались как люлька. Конь остановился возле убитого всадника. Покрутив вверх-вниз, влево-вправо головой, он, казалось, нашёл свою дорогу и помчался прочь, покрыв мёртвое тело маленькой «дезертирши» тучей пыли.

Не зная что ожидать, мы сняли свой флаг, заблокировали входные двери и выставили караул, дежуря по два часа. Только на следующее утро мы с Богданом решились пойти в Васильков.

День был тёплый и солнечный, как и все дни с начала войны. Глубокая голубизна неба простиралась над золотом пшеничных полей, которые виднелись везде, куда мог упасть взор. Весёлое щебетание птиц, жужжание пчёл и бесконечное пространство полей всё больше втягивало меня в мир поэзии. В голове выныривали строки Шевченко. Я раздумывал о нём, рождённого «на нашей, не своей земле». Крепостной по рождению, он стал певцом свободы. Я пытался представить себе хату, в которой он жил, его село, и в памяти у меня всплыл один из его стихов, который я знал на память. Я бормотал сам себе стих, когда внезапно меня прервал Богдан и начал декламировать, словно он стоял на сцене:

Мене там мати повила
І, повиваючи, співала,
Свою нудьгу переливала
В свою дитину... В тім гаю,
У тій хатині у раю,
Я бачив пекло...

После этой строки мой голос слился с Богдановым. Словно в театре, мы декламировали с пафосом мастеров сцены, и деревья были нашими единственными слушателями.

Потом мы шли молча. Дорога простиралась как стрела, прямо. Через некоторое время мы заметили, и наша примитивная карта это подтвердила, что впереди дорога круто поворачивает влево, обходя лес. Чтобы спрятаться от палящего солнца и сэкономить время, мы решили идти напрямую через лес.

Идя по узкой тропинке, мы наслаждались прохладным ветерком, время от времени останавливались, прислушиваясь к глухому грому канонады, которая всё время усиливалась. Однако вскоре я перестал обращать на это внимание. В тишине леса я почти забыл о войне. Мысленно я окунулся в далёкое прошлое. На экране истории я видел Белую Церковь сожжённую татаро-монгольскими ордами, медленно отстроенную, позже завоёванную Польско-Литовским королевством, крестьян, превращённых в крепостных. Потом в моём воображении возникло крестьянское восстание, короткий промежуток свободы и наконец порабощение Украины Россией.

Образы этого столетия были ещё чётче. И снова они наполнились жестокостью и кровью. Я видел, как Австро-Венгерская армия шагает через Белую Церковь на Киев, а россияне отбивают это наступление. И те и другие истекают кровью. Между двумя фронтами я видел эпизод рассказа о моём деду и пане Ковале. В последних кадрах огни, грабежи, насилие становились всё более безумным и с севера надвигались орды

большевиков. Их девизом была свобода, но несли они смерть.

Теперь я был свидетелем настоящей истории. Она развивалась перед моими глазами. Я слышал и дышал ею. Постоянный гром взрывов, стрекотание артиллерии становились всё сильнее. Очевидно, немцы готовились наступать на Киев.

От мысли о том, что мы скоро будем в столице, я ощутил волну возбуждения, смешанную с надеждой и опасением неизвестности. В таком блаженном настроении я вышел на поляну. Оглянулся, чтобы спросить Богдана, или не хочет он отдохнуть. Но не успел и слова сказать, как услышал: «Halt! Nichts da hoch!»²⁰

Мы подняли руки.

На другой стороне поляны, готовые стрелять, стояли два немца. В камуфляжной форме их еле можно было отличить от листьев.

«Freund»,²¹ промямлили мы.

Через секунду нас обыскали и повели по широкой тропинке, обрамлённой, казалось издали, кустами, а на самом деле замаскированными танками и палатками.

Наконец нас привели к большой палатке. Какой-то высокий мужчина, судя по форме и наградам, офицер, наклонившись стоял возле столика, покрытого картами. Наш конвоир отдал ему честь и обращаясь к нему «Herr Oberst»²², доложил, что нас задержали возле военного лагеря. Oberst мельком взглянул на нас и повернулся к своим картам. Через несколько секунд, словно подумав, он снова посмотрел на нас: «Что, чёрт возьми, тут делают эти дети? Идите ка сюда, ребята».

Мы подошли ближе к столу, солдат остался сзади.

Oberst с интересом посмотрел на нас, как на слона в картинной галерее. Он был высоким, примерно лет сорока, самоуверенным, голубоглазым и рыжеволосым. Медали на кителе и серебряные погоны придавали ему солидность. К удивлению, разговаривал он с нами очень доброжелательно. Хотел узнать кто мы, что делаем в зоне военных действий. Понимаем ли, что сейчас стоим посреди танковой дивизии, которая ожидает приказ наступать на Киев? Вопреки ожиданиям, его слова звучали искренне и приветливо, он чем-то напоминал мне пана Ковалю.

Мы не очень хорошо владели немецким, чтобы ответить на все его вопросы, но этого мы бы и не сделали, даже если бы и знали её в совершенстве. Перед выездом из Житомира нам велели, если будут спрашивать немцы, не признавать своего членства в Организации.

Переплетая правду и ложь, мы соткали простенькую историю. Своим школьным немецким и жестами мы проинформировали Oberst'a, что мы одноклассники из Лемберга, ищем Богданова брата Игоря, арестованного россиянами по обвинению в надругательстве над статуей Сталина. Несколько недель перед войной его перевели в какую-то киевскую тюрьму. Мы хотели прибыть в Киев сразу после того, как его захватят немцы, надеясь застать Игоря живым. В конце мы выразили уверенность, что немецкие войска через несколько дней возьмут Киев, поскольку они намного сильнее красных.

Oberst'a эта история взволновала, а особенно наша уверенность в превосходстве немецкой армии. Однако он покачал головой и твердо предостерёг нас, что «война — не детская игрушка», что находиться возле линии фронта опасно, что нас можно легко принять за российских шпионов.

Он позвал своего адъютанта, тот пришёл с небольшой портативной пишущей машинкой — самой маленькой, которую я видел. Посматривая на нас, Oberst что-то продиктовал, кажется относительно нас. Адъютант напечатал, Oberst подписал и поставил

²⁰ Стой! Руки вверх! (нем.)

²¹ Друга (нем.).

²² Господин полковник (нем.)

печать. С улыбкой человека, который гордится своим добрым поступком, он дал нам эту бумагу. «Вот, ребята, » сказал он, письмо-просьба к германским подразделениям оказывать вам содействие в транспорте и питанием по дороге домой, в Лемберг».

БРОШЕННАЯ БУХАНКА

Проигнорировав совет Oberst'a, мы снова обходным путём направились в Киев. Через несколько часов ходьбы мы добрались до трассы Киев-Одесса.

Дорога стелилась необозримыми полями перезревшей пшеницы, которую из-за войны не убирали. Ещё несколько дней назад эти поля ласкал ветерок, нежило солнце. Сегодня они пахли смертью.

Воронки, обгоревшие танки, мёртвые лошади, разбитые грузовики, брошенные пушки, изувеченные тела убитых красноармейцев покрыли обочины дорог возле полей. Охмелевшие от крови убитых солдат, кружили стаи ворон. Из интереса мы с Богданом взобрались на Т-34, который лежал на боку в кювете. Однако мы не смогли заглянуть в середину, потому что вонь разлагающегося трупа вынудила нас спрыгнуть с танка.

К мрачности присоединилась и погода. Впервые с начала нашего путешествия небо загрустило, ветер гнал одинокие серые тучи. После полудня мы слышали далёкий звук грома, усиленный грохотом пушек где-то возле Киева. Иногда до нас долетало рычание миномётов и стрекотание пулемётов. Российский «Максим» было не тяжело узнать по его сердцебиенному ра-та-та-та. Пока мы добрались до трассы, небо потемнело, поднялся ветер. Тяжёлые тучи мчались одна перед другой, словно их преследовала невидимая сила. Казалось молнии пытаются расколоть небо пополам, земля дрожала от грома. Военные колонны на некоторое время исчезли с дороги. Наверно, немцы предвидели ненастье и решили его переждать.

Капнуло несколько тяжёлых капель и вдруг всё стихло, как это бывает перед настоящей бурей. Даже просветлело. Неподалеку, правее дороги появились контуры села. Мы решили там переночевать.

Свернув на полевую дорогу, которая вела в село, мы слышали гул мотоцикла. Это ехали немецкие солдаты в касках с автоматами за плечами. За ними катился военный грузовик.

Мотоцикл со скрипом остановился перед нами, а грузовик » сзади.

» Украинцы? » спросил солдат, слезая с мотоцикла.

» Да, » бодро ответили мы, радуясь, что он не принял нас за российских шпионов и надеясь, что он нас подвезёт.

» Bandera Bewegung!²³ » выкрикнул он.

» Нет, не Бандера! » закричали мы, а Богдан дал ему письмо от Oberst'a.

Даже не глянув в письмо, он приказал нам открыть рюкзаки, которые наполовину были забиты бандеровскими агитками.

» Бандеровская пропаганда! » с ненавистью выкрикнул он, поймав нас на обмане и швырнул рюкзаки вместе с письмом Oberst'a в канаву.

Когда он запикивал нас в грузовик, я заметил, что знаки на его форме не такие, как в военном лагере » погоны были чёрные, а на двух ромбиках по краям воротника были буквы «S.D.», что, как мы позже узнали, обозначали «Sonder Dienst » » «Специальная служба».

Пока грузовик ехал по трассе, мы знали, что направляемся на север, но когда он свернул на грунтовую дорогу, а затем на другую, ещё более неровную, мы утратили ощущение пространства и времени. Однако нам хоть было сухо. Снаружи лютował ливень, словно хотел расквитаться за сухое лето. Мои запасные штаны и рубашка остались в

²³ Бандеровское движение (нем.)

рюкзаке, который выбросил в канаву солдат.

Наконец грузовик остановился. Мы стояли посредине площади, окружённой бараками и ограждённой колючей проволокой. Когда-то эти бараки использовали или для Красной армии, или как лагерь принудительных работ. Нас завели в один из барakov и затолкали в узкую пустую комнату.

Озадаченные таким развитием событий, мы сидели на полу, молча переглядываясь и прислушиваясь к малейшему шороху, который мог бы нам подсказать, что ожидать. Но слышно было только хлюпанье дождя по крыше и окнам. Я почти дремал, а Богдан мирно спал, растянувшись на полу.

Заскрипели двери, что-то глухо бухнуло на пол; мы вскочили на ноги. Растерянные и напуганные, мы увидели в темноте тело человека, лежащего вниз лицом, всхлипывающего и судорожно хватающего воздух.

Мы забились в угол, и когда всхлипывание затихло, заснули. Утром мы увидели человека, сидящего напротив у стены. На его опухшем, избитом лице засохла кровь. Один глаз был похож на гнилую сливу. На нём была форма Красной армии с оторванными знаками различия. Сначала он не реагировал на наши вопросы, но когда мы рассказали кто мы, он сознался, что родился в Украине и окончил в Москве военную академию. Запинаясь из-за рассеченной нижней губы, он сказал, что был командиром танковой части, которую окружили немцы. Под шквалом воздушных и наземных атак он решил сдаться с несколькими теми, кто выжил. Он надеялся на «цивилизованное отношение» со стороны немцев, ведь что бы о них не думали, но они пришли с Запада. Но теперь он увидел их настоящее лицо.

Немцы привезли его и других офицеров на допрос в лагерь. «Они почему-то,» сказал он, «допрашивают ночью, а как это делают, видно по моему лицу. Они ведут себя с нашими офицерами хуже чем с преступниками. Если бы я знал про это, дрался бы с ними до конца. Мне ещё посчастливилось остаться в живых. Двух других сдавшихся со мной офицеров расстреляли, потому что на допросе выяснилось, что они комиссары».

Когда через несколько часов открылась дверь и солдат приказал нам с Богданом идти с ним, по мне прошёл мороз. Представляя своё лицо таким избитым, как у командира, я сжал зубы, чтобы приглушить страх перед болью. К удивлению, когда мы дошли до конца коридора, страх исчез, мной овладела какая-то болезненная уверенность.

Вопреки надеждам, нас не повели в казармы, где производили допросы, а затолкали в крытый кузов военного грузовика. Закрытые, не понимая куда нас везут, мы только знали, что после долгой ухабистой полевой дороги мы выехали на ровную. Через несколько часов мы снова ехали по грунтовой.

Наконец грузовик остановился. Мы услышали голоса на немецком языке и звук отворяющихся ворот. Грузовик проехал ещё немного и остановился: «Вылезайте!»

Справа на склоне стояло длинное приземистое здание из кирпича. Левее возле подножья за высоким ограждением из колючей проволоки я увидел то, что в сумерках казалось кучей кукол в лохмотьях формы Красной армии. Это были военнопленные. Медленно, еле волоча ноги, по щиколотку в грязи, некоторые из них приникли к ограждению, как привидения, выкатив на нас свои полумёртвые глаза, держась за ограду, они выцветшими, почти мертвецкими голосами, умоляли дать хлеба.

Может и нам с Богданом судится тут влачить жалкое существование? Ворота лагеря для военнопленных были метрах в двадцати.

Встревоженные, мы не поняли приказа конвоира и направились к воротам. Он остановил нас, показав на кирпичное здание и приказал идти туда. К удивлению, он с нами не пошёл. Что это; капкан?

Мы шли медленно, ещё медленнее я открывал двери.

Мы оказались в освещённом помещении размером с небольшой спортзал, где достаточно чистый пол был застелен соломенными тюфяками. Что за чудеса? После суточного путешествия по ухабам в грузовике мы уже ни над чем не задумывались. Забыв

про жажду и голод, мы упали на тюфяки и заснули.

На следующий день к нам присоединилось два грузовика «наших». Среди них было «руководство Организации» из Житомира и члены двух отрядов, которые пришли нам на замену в Белой Церкви. Оказалось, что два дня назад S.D. начало проводить повальные аресты наших отрядов, чтобы не дать Организации пробраться в Киев и установить там свою власть. Было подозрительным то, что среди задержанных не было пана Сороки ― руководителя нашей группы, а потом координатора всех групп в Житомире. Допускали, что он ― немецкий агент, выдавший немцам сеть отрядов. Покраснев, Богдан признал, что ошибался, считая пана Сороку «настоящим патриотом, преданным нашему делу».

Теперь нас было свыше шестидесяти. Военнопленные имели все основания завидовать нам ― мы ночевали под крышей, имели покрывала, воду, хлеб, каждый вечер суп, а их держали под открытым небом, под дождём и солнцем, спали они на грязной земле, пухли от голода.

Однажды мы с Богданом шли по дорожке между зданием и оградой и несли буханку хлеба из комиссариата. Сотни протянутых рук и скорбящих голосов молили у нас хлеба. Мы разломали буханку и кинули её за ограду. Господи, что там началось. Пленные рванули туда, где должен был упасть хлеб. Через мгновение там была огромная куча тел, которые лупили один другого. Мы не видели, кто поймал буханку, но когда народ разошёлся, несколько тел осталось лежать втоптаннами в грязь.

Мы недоумённо раздумывали над тем, что мы сделали. У нас были добрые намерения, но итог..?

Это мне напомнило постулаты катехизма. Когда-то священник поучал нас, что «добрые» намерения делают плохие дела хорошими, а плохие намерения делают наоборот. Каким дураком был этот представитель Бога. Мы собственными глазами видели, что хорошее намерение может уничтожить людей.

Военнопленные мучались от холода и голода, а мы ― неуверенностью будущего. Немцы хорошо нас кормили, но не говорили, что будут делать с нами дальше. Казалось, они и сами не знают. Sonder Dienst нас задержал и привёз в лагерь, а лагерем руководили структуры вермахта (военных). Некоторые из наших руководителей считали, что волноваться нет надобности, что это «просто недоразумение» ― когда нас привезут во Львов, «наше правительство освободит нас». Самые высокопоставленные утверждали, что «немцам придётся ещё и извиняться за это недоразумение, так как без нас им не выиграть войну».

Про ход военных действий мы узнали случайно, когда Богдан нашёл в столовой смятую немецкую газету. Она была датирована 24 сентября 1941 года. В ней сообщалось о «наибольшей сокрушительной битве в мировой истории южнее Киева». Согласно газеты, в том бою Красная армия потеряла тысячи пушек, танков, свыше миллиона солдат было взято в плен. Эти потери, писалось в газете, свидетельствовали, что близится окончательное поражение врага. Словно для того, чтобы лишить последних сомнений в победе немцев, в статье на той же странице описывался какой-то Парацельзус ― «немецкий гений», который ещё четыреста лет назад предвидел большую победу Третьего Рейха.

Всё понятно: Киев в немецких руках, Германия выиграет войну. Наш коллектив несколько дней безостановочно обсуждал эти новости. Я уже эту статью знал почти наизусть. Я запомнил дату публикации, потому что через десять дней, 4 октября, из нас вызвали двадцать одного человека. Среди вызванных были наши руководители, и как ни странно, мы с Богданом. Во дворе нас ожидал крытый военный грузовик.

Мы поднялись в кузов, за нами ― вооружённый солдат. На наши вопросы он нехотя ответил, что мы едем в Лемберг. Все несказанно обрадовались. Один из руководителей уверенно выкрикнул: «А что я вам говорил ― скоро мы будем дома и на свободе!»

«Малые всегда платят за дурости больших».

ПРИЁМ ВО ЛЬВОВЕ

К вечеру мы въехали на окраину Львова. Охранник отодвинул брезент. Нашу дрёму развеяла волна холодного осеннего воздуха. Когда Богдан восторженно крикнул: «Мы во Львове!», все вскочили на ноги. Наш конвоир и глазом не моргнул. Он был таким же сдержанным и безразличным, как и на протяжении всей поездки. Это был солдат вермахта, а не SD-совец, и это задание могло быть ему противным.

Я стоял рядом с ним, и мне казалось, что если бы я выпрыгнул из грузовика, ему было бы всё равно. Именно эта мысль пришла мне в голову, когда мы проезжали мимо памятника Мицкевичу. В это мгновение один из самых главных наших предводителей взволнованно сообщил, что грузовик направляется к университету, где пока что заседало наше Временное правительство. «Там нас и освободят». Именно по этому я отказался от своего намерения.

Однако неподалеку от университета наш грузовик свернул влево и выехал на оживлённую улицу. Теперь бежать было напрасно, так как спереди и сзади ехали немецкие военные автомобили.

Вскоре мы повернули на улицу Дзержинского, названную так в честь комиссара ГПУ; самой страшной организации большевиков 20-х годов. ГПУ отвечало за «революционную справедливость», согласно которой смерть была единственно правильным наказанием для врагов народа. Именно на этой улице во время советской оккупации Львова размещался штаб не менее ужасного НКВД.

Наш грузовик остановился напротив этого штаба. Теперь на фасаде развевался немецкий флаг. Наш водитель вышел и зашёл в здание.

Вскоре он вышел, что-то сказал конвоиру, тот закрыл тент, снял с плеча автомат и держал его наготове. Грузовик снова поехал. Повернули вправо. Немного проехали вверх и остановились.

Мы услышали три автомобильных гудка, затем какой-то скрежет, словно открывали железные ворота. Грузовик въехал и ворота за ним закрылись с тяжёлым лязганьем.

Часовой выпрыгнул. Мы слышали, как он с кем-то разговаривает, а потом передаёт какую-то папку человеку в форме S.D. Вскоре появились двое младших S.D. и, как это не удивительно, блондинка в белой блузке, галифе и чёрных сапогах. В руках держала нагайку и на поводке чёрного добермана. Она осмотрела нас, как крестьяне осматривают свиней на базаре.

«Наши первые гости!»; воскликнул старший S.D., который был похож на офицера.

На одном дыхании он закричал нам: «Heraus! Heraus! Выйти!»; одновременно спустила добермана и била нагайкой. События развивались так быстро, что я даже не ощутил боли от удара нагайкой по спине. Через мгновение мы были на земле. Нам приказали выстроиться в три шеренги. Доберман скалил зубы, бешено гавкал, готовый кинуться на нас из-за малейшего движения. Я надеялся что он откусит кусок задницы нашему руководителю, который распинался, что во Львове нас освободят.

Мы стояли во дворе тюрьмы Лонцкого. Я помнил этот двор и вокруг стоящие здания ещё с времён «детской милиции», когда мы тут пооткрывали камеры и выпустили заключённых.

Передали список. «Двадцать один»,; подтвердил наш бывший конвоир. «Двадцать один»,; подтвердил S.D. Вскоре грузовик уехал. Мы стояли, словно стадо овец в загоне. Перед нами находилось длинное трёхэтажное здание с зарешёченными окнами. Справа была непреодолимо высокая стена с тяжёлыми стальными воротами посередине. Сзади нас, в центре двора стояло строение с малюсенькими окошками и

тяжёлыми решётками. Она казалась средневековой башней. Нижние его окна были на уровне двора.

Одного за другим нас заводили в здание спереди. Во время того, как офицер S.D. задавал нам вопросы, какой-то гражданский, похожий на нашего учителя латыни, всё стенографировал: имя, дату и место рождения, место жительства, образование и, наконец, причину ареста. Они знали ответ: *Bandera Bewegung!* Я начал протестовать, пытаюсь сказать им то, что мы с Богданом придумали для Oberst'a две недели назад, но мне сказали закрыть рот. Затем был обыск ― повыворачивали карманы, забрали иголки, ремни и шнурки.

Меня повели в старое здание в центре двора и посадили в камеру № 9. Допросы закончились в полночь. Теперь нас в камере было одиннадцать человек ― в узкой, угловой, подвальной келье с потрескавшимся бетонным полом и зарешёченными окнами на уровне двора. Узкий, ленивый луч света пробирался из коридора через глазок в металлических дверях.

Мы ждали хотя бы каких-нибудь одеял, но их так и не принесли. Фактически мы не видели их в период всего своего пребывания в Лонцкого. Итак, мы легли на бетон. Десять устроилось боком один возле другого, а одиннадцатому пришлось растянуться между нашими ногами и стеной. Ни тебе повернуться, ни скрючиться. Но, по крайней мере, было тепло.

ЛЕТОПИСЬ СТЕН

Это был не сон ― открыв двери, надзиратель крикнул «Heraus! Heraus!».

Заспанные, вскочив на ноги, мы столпились в углу кельи, а это невероятно разозлило его. Он ворвался в камеру с поднятой дубинкой и измерял нас враждебным взглядом. Потом снова нутужно заорал: «Heraus! Heraus!» ― таким голосом, словно у него в горле застряла кость.

Возле дверей он всех без разбора лупил. Мне по голове не попал, потому что я пригнулся. Запуганные, мы стояли в тускло освещённом коридоре. Он приказал выстроиться в ряд и стоять смирно. После команды «Налево! Шагом марш!» мы направились за ним. С заносчивостью, он отвёл нас в туалет в другом конце коридора. Запускал по одному и следил, как мы отливали, словно хотел удостовериться, что в нашей моче не содержится ничего такого, что мы должны были сдать вчера во время обыска. Когда один из нас попросился «по-большому», в ответ услышал категорическое «Scheissen morgen!».²⁴ Но природа имеет свои законы ― он не мог ждать.

Надзиратель принял это как личное оскорбление. Он приказал мужчине убрать Scheissen голыми руками. Наказание для всех: «Завтрака не будет!» Он повёл нас назад в келью. Узкие стальные двери захлопнулись за нашими спинами. С ржавым скрежетанием щёлкнул замок. Никто не проронил и слова. Все смотрели в окно камеры. Вместо окон на нём были тяжёлые решетки. Это был наш первый рассвет в тюрьме Лонцки. На улице сумерки местами сдавались дневному свету. Мы заприметили кусочек неба, который отражался в верхнем, наружном окне здания напротив.

В келье посветлело, словно в зимних сумерках. Впервые я присмотрелся к стенам камер. Они были испещрены именами, датами, непристойными рисунками и рядами крестиков. Некоторые надписи были красно-выцветшими, словно выведены засохшей кровью, но в основном были нацарапаны куском металла или стекла. На одной из стен под тонким слоем штукатурки было изображение человека на виселице, а внизу надпись: «Мой завтрашний день 8/XII/1905». Инициалы были неразборчивы, потому что кто-то написал поверх, наверно более позднее: «Тебя легче убить, чем понять». Ниже находился горизонтальный волнообразный ряд чёрточек, проходящий почти по всей стене. Тот кто это

²⁴ Срать завтра (нем.)

сделал, наверно вёл счёт дня в этой камере.

Наш надзиратель был человеком слова. Мы не получили завтрак, но после обеда нам дали кофе и по кусочку хлеба. Ночью мы слышали различные звуки, шаги, лязг дверей. Показалось, что в одну из келий по нашей стороне привели новых заключённых. Мы находились в угловой, девятой камере. В десятой были остальные члены нашей группы. Утром, когда новых заключённых вели в туалет, судя по звукам, мы сделали вывод, что они из одиннадцатой камеры.

Вопрос: кто они?

Большинство из нас в девятой камере были новичками. Франц-Иосиф строил эту тюрьму не для таких мальчиков, как мы с Богданом. Её возвели для неисправимых преступников, ужасных убийц, анархистов, заговорщиков против принцев и королей. Впрочем, и среди нас было несколько «ветеранов». Это были опытные подпольщики, которые уже отсидели несколько лет в польских и российских тюрьмах. Они знали, как в них.

Вот они и принялись выяснять, кого посадили в одиннадцатую келью. Стены между камерами были слишком толстые, чтобы проходил звук голоса, но нормальные для передачи звука удара. С помощью азбука Морзе, Крига и Одайник, которые побывали в Берёзе Картузской — первом польском концлагере — начали перестукиваться с десятой кельей, а те со своей стороны — с одиннадцатой. Это был медленный, растянутый способ общения, но в наших условиях — единственно возможный, потому что каждую келью в туалет водили отдельно, а в коридоре нам запрещали разговаривать. Иногда нужен был целый день, чтобы передать короткое предложение.

Наконец мы получили ответ. Но не такой, который мы хотели бы получить. До сих пор мы могли надеяться, что кто-то там на свободе знает где мы, и старается что-то предпринять. А теперь всему конец.

Оказалось, что в одиннадцатой келье сидят члены нижнего эшелона Временного правительства. Их арестовали месяц назад и держали в помещении гестапо на улице Дзержинского, а теперь перевели сюда. Нашего правительства больше нет. Его членов отправили в Sachsenhausen²⁵ за то, что те не захотели отказаться от провозглашения украинской независимости, как этого требовали немцы. А одного, который не желал иметь ничего общего с немцами, застрелили на месте.

В Лонцьке постепенно налаживалась жизнь. Нас ещё водили в туалет нерегулярно, иногда только один раз в три дня, но каждое утро давали кружку кофе с куском чёрствого хлеба, а со второй недели нашего пребывания — черпак водянистого супа, поздно после обеда. Кофе и суп мы пили стоя, а надзиратель нетерпеливо ожидал, чтобы забрать пустую посуду. Он постепенно привыкал к нам, а мы к нему и его причудам.

Иногда казалось, что он хотел быть тактичным. Конечно, он не мог себе такого позволить, но несмотря на нашу ежедневную близость, мы находились на разных планетах. Он имел ключи от наших келий и власть решать, когда нам ходить в туалет.

На пятое воскресенье в Лонцьке нам дали кружку супа в обед. Это был настоящий суп с лапшой, морковью и вкусом куриного бульона. Из этого кое-кто сделал вывод, что немцы изменили отношение к нам и вскоре выпустят. Другие считали этот суп результатом существенного прорыва на фронте. Может россияне уже сдались. Отрезанные от мира, мы могли разве что выстраивать теории — времени для этого было предостаточно.

Мысленно провожая лапшу своим пищеводом, я прислушивался к удовлетворённому, котячьему урчанию своего желудка. Впрочем, его скоро заглушили звуки с улицы. Во двор въехал небольшой открытый автомобиль с водителем и двумя S.D.. Мы припали к окну.

Вскоре во двор въехала колонна из пяти грузовиков и двух открытых легковых автомобилей и остановились вдоль административного здания. Мне казалось, что из этих

²⁵ Заксенхаузен — один из гитлеровских концлагерей для политических заключенных.

грузовиков выгрузят пачки лапши. Но это была только бредовая мысль; из них выходили люди, настоящие люди, мужчины и женщины, только взрослые.

Они казались не простыми людьми, а скорее богатыми горожанами. Были хорошо одеты; некоторые мужчины были в двубортных костюмах, галстуках и шляпах, другие; в зимних пальто с меховыми воротниками. Только несколько было без галстуков. Один высокий, важный, в одежде от Борсалино, смотрелся как знатный джентльмен и напоминал мне пана Ковалю. Большинство женщин были одеты в изысканные одежды; дублёнки или же в пальто с лисьими хвостами. Они, если бы не чемоданы, казались свадебными гостями. Чемоданы к этому не подходили. Мы напрягли воображение, стараясь отгадать, кто они такие.

Вскоре грузовики уехали прочь. Мужчины и женщины сидели на своей поклаже, как на вокзале, словно ожидая запоздавший поезд.

Заинтересованные вновь прибывшими, мы постоянно их пересчитывали, но никак не могли прийти к общему знаменателю, но наконец сошлись на цифре 154. Удивительным было то, что они казались несколько не озабоченными, спокойными, убаюканными. Разве они не знают, где очутились?

Если бы у блондинки и офицера, которые нас так гостеприимно приняли, не было бы сегодня выходного, рычание добермана и свист нагайки мгновенно их бы разбудили.

Наконец офицер, что их сопровождал, вышел на верхнюю площадку ступеней административного здания и попросил внимания. Он взял список и те, чьи фамилии он называл, должны были брать свою поклажу, подходить ко входу в здание и становиться в две шеренги. Его слова чётко было слышно в нашей камере. Называл фамилию за фамилией. Все они были похожи на еврейские.

Вот и вся загадка. Новоприбывшие; евреи. Они разговаривали на польском и отличались от яворских евреев, которых до прихода россиян у нас было достаточно. Большинство из них проживали в нижнем конце села, возле мельницы и железнодорожной станции. Только семья Ройзы имела дом с небольшим магазинчиком и пекарней в верхнем конце села, недалеко от нас. Её семья разговаривала на идиш, а также смесью ломаного польского и украинского. Летом мама посылала меня к Ройзе за сахаром, солью, дрожжами, а иногда за свежим ржаным хлебом, который так любили наши гости. Случалось, я встречал на крыльце её дедушку, завернутого в молитвенное покрывало с чудной чёрной коробочкой на голове. Иногда он был одет в чёрный кафтан, сидел в кресле-качалке и поглаживал густую седую бороду. Его длинные, пушистые пейсы, казалось, носились в воздухе. Лицо было розовое и гладкое, как мрамор. Был похож на Бога в церковных иконах. Когда я ещё не учился во Львове, меня всё удивляло, почему наш священник не приглашает его на воскресную службу.

Сгрудившись возле окна, мы наблюдали, как обе шеренги двинулись в сторону нашего здания. Шли они медленно, торжественно, словно похоронная процессия, волоча свои пожитки. Не переговаривались. Не переголаживались.

Тяжёлая тишина была нарушена только, когда господин в «борсалино» споткнулся о чемодан соседа. Он выпустил чемодан, который нёс на плече. Тот упал и открылся; всё высыпалось. Мы думали, что конвоир набросится на него, но произошло невероятное; конвоир помог ему собрать вещи и закрыть чемодан.

Наконец вся процессия вошла в здание. Теперь к нам доносилось только глухое лязганье дверей на верхних этажах. Всё стихло. Слышно было только шаги часовых.

ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ВОРОБУШЕК

Начиная с супа с лапшой, который мы получили в день прибытия евреев, пища становилась всё сытнее и вкуснее. Больше не было кружек с мутным, еле тёплым пойлом, в котором где-ни-где попадалась крупа. Однажды овсяной суп был такой густой, что его тяжело было пить. Поскольку ложек у нас не было, я выгребал пальцем этот суп на ладонь, и

уже оттуда слизывал его.

Улучшение в еде сходилась с днём прибытия евреев. Улучшили ли её только из-за них? Именно этим вопросом прониклась вся наша камера. Наконец согласились с тем, что это произошло из-за них. С самого начала с евреями обходились хорошо ― им разрешили взять с собой вещи. Они, наверно, имели подушки, одеяла, полотенца ― всё, чего не хватало нам.

Это породило зависть и возмущение.

― Чем мы хуже евреев?

― У нас немцы забрали всё, даже шнурки.

― Евреи везде могут выкрутить, даже в тюрьме.

― Они «избранный народ»?

― А мы кто?

Я тоже считал, что это нечестно. Спать на голом, холодном бетонном полу ― не очень большое удовольствие. Хотя бы я имел свитер. Рубашка и штаны на мне были грязные и пропахли запахом камеры. Родная мать бы не узнала. Я, как и все остальные, не умывался со дня прибытия в Лонцьки ― тут не было ни одного умывальника. Не удивительно, что надзиратель называл нас «die schwarze Teufel».²⁶ Это когда он находился в хорошем настроении, иначе для него мы были просто «Scheisskerle».²⁷

Отношение к нам улучшилось с момента прибытия евреев. После того, как они появились, в туалете на втором этаже мы нашли пустую бутылку из-под водки. Мы использовали её для малой нужды. До сих пор, кто не мог вытерпеть, делал это через глазок для наблюдения в коридор. Теперь, когда бутылка наполнялась, мы выливали её через окно во двор.

Эта «еврейская бутылка», как мы её называли, нам сослужила хорошую службу. Но один раз, когда мы её опорожняли, вдруг перед окном появилась рука, схватила бутылку и стукнула её об решётку. Бутылка разбилась, обрызгав нас мочой и засыпав осколками стекла. К окну нагнулась блондинка. Размахивая нагайкой, она разразилась проклятиями и обещала «отрезать нам хвосты», если ещё раз поймают нас на чём-то подобном.

Через мгновение в нашей камере появился надзиратель и пожелал знать, откуда у нас бутылка. Все молчали, а он, раскрасневшийся, стоял и тыкал нам под нос своей дубинкой. Надзиратель всячески обзывал нас и говорил, что наше место в свинарнике, с чем я молча согласился, потому что там, по крайней мере, на полу солома и еды побольше.

Он приказал нам собрать осколки, а чтобы убедиться что в камере не осталось ни одного кусочка, велел по очереди снять одежду и вывернуть все карманы. Впрочем кусочек стекла с острым концом остался. Один из нас спрятал его во рту.

Осколок стекла был для нас немаловажной ценностью. Это была единственная вещь в камере, которая принадлежала нам. Каждый раз, когда часовой подходил к камере, кто-то прятал это стёклышко в рот. Когда он уходил прочь, мы молча радовались, что перехитрили его. Стекло служило нам и практически ― для шлифования ногтей после обгрызания, для выпарапывания надписей на стенах, для подсчёта дней. Каждый день новая отметка на стене.

Один раз, осматривая стену, мы с Богданом заметили под слоем штукатурки какую-то надпись. Смачивая слюной и отскабливая стеклом известь, мы строка за строкой читали стих:

Мой друг,
Скажи мне, почему,

²⁶ Чёрные черти (нем.)

²⁷ Засранцы(нем).

Когда горячие и яркие лучи
Весеннего солнца,
Купают всё живое,
Моя печаль бесконечна?
А если знаешь ты,
То, умоляю, мне скажи:
Погладит ли лицо моё
Когда-то солнце,
Или увяну я, как осенний лист
В моей
Душной келье?

Одной ночью я проснулся и раздумывал, кто бы мог быть автором этих стихов, и вдруг услышал скрежетание входных дверей в корпус. Их открывали раньше, чем обычно. Потом я услышал шаги часового этажом выше. Вскоре захлопали двери в коридоре, послышались крики: «Auf! Auf! Встать! Heraus!» Странно, всегда до сих пор нас будили первыми и вели в туалет.

По лестнице, что вела на второй этаж, топали подбитые подковами сапоги. Теперь проснулась вся камера и прислушивалась к тому, что происходит. На мгновение наше внимание отвлекло чириканье маленького воробья, который случайно залетел в тюремный двор. Все припали к окну, надеясь увидеть птичку. Однако увидели двух конвоиров, которые куда-то торопились.

Конвоиры сопровождали группу наскоро одетых людей. Некоторые несли небольшие чемоданы, но большинство держало какие-то второпях собранные вещи. Они растерянно топтались на месте. Несмотря на многочисленные команды, они никак не могли выстроиться в три шеренги. Тогда конвоиры принялись выстраивать их кулаками. В сером сумраке рассвета мы видели их лица — затурканные, онемевшие, неподвижные, удивлённые.

Подъехал крытый грузовик и, развернувшись, остановился посреди двора. Через несколько минут появилось авто с откидным верхом. Рядом с водителем сидел S.D. с автоматом на коленях. Автомобиль остановился перед грузовиком.

На ступенях административного здания появилась блондинка. Одета как всегда — чёрные сапоги, брюки для верховой езды, белый свитер с высоким воротником. Нагайку держала, как держат цветы. Она медленно спускалась вниз с доbermanом на поводке — это напоминало мне сцену из какой-то оперы.

В сопровождении двух конвоиров она пересчитала заключённых — тридцать шесть. Потом приказала положить на землю всё, что они держали в руках, снять пальто, пиджаки, обувь. Выполнили. Однако, когда она приказала мужчинам снять рубашки и штаны, а женщинам — платья, никто и с места не сдвинулся.

Блондинка аж побагровела от злости. Один из конвоиров заорал: «Снять одежду, verfluchte Juden!²⁸» Она спустила доbermanа. Скоро все тридцать шесть стояли в одном белье. Затем им приказали стать в очередь сзади грузовика.

Один за одним они залазили в кузов. Их рассадили в четыре ряда, колени приказали подтянуть, а ноги расставить. Но в последнем ряду ноги торчали наружу. Конвоир затолкал их внутрь и затянул брезент. Мои ладони покрылись холодным потом при мысли, что таким может быть и моё будущее.

Подъехал ещё один легковой автомобиль с тремя S.D. и остановился позади грузовика. Они перебросились несколькими словами с блондинкой. Снова проверили, или хорошо закрыт брезент грузовика. Глухой скрежет металлических ворот засвидетельствовал, что их открыли. Короткий свист. Процессия исчезла за углом здания.

²⁸ Проклятые жида (нем.)

МЫ СЛЕДУЮЩИЕ?

Мрачную тишину камеры нарушали только траурные вопли Степана, нашего сокамерника. «Господи, помилуй» как раз отвечало ситуации, потому что относительно судьбы евреев никто не питал никаких иллюзий. Именно Степану было к лицу распевать эту молитву, потому что перед тем, как вступить в Организацию, он изучал богословие. Однако когда он начал служить панихиду, горестно голоса «Господи, спаси наши души!», мы испугались за его рассудок. Но он настоял на своём, говоря, что после нашей казни не будет кому отслужить панихиду, то почему бы это не сделать заранее, пока все ещё живы.

В тот день мы перестукивались до поздней ночи. Поскольку десятая и одиннадцатая камеры выходили окнами во двор, то они тоже видели как вывозили евреев. Каждого из нас волновал только один вопрос: «Мы ли следующие?»

Этот вопрос не давал нам покоя всё больше ― мы были свидетелями вывоза ещё трёх групп евреев.

Теперь остались только наши камеры. К тревоге присоединился ещё голод. Завтраки нам опять приносили нерегулярно, а супы стали водянистыми. Споры вспыхивали, как степные пожары.

― Немцы не осмелится так с нами поступить. Нас сорок миллионов. Им не победить без нас...

― Открой глаза! Они не лучше москалей. Им нужны только земля и дешёвая рабочая сила...

― Немцы цивилизованные, это же не московские варвары...

― Да неужели? Разве не Гитлер писал, что мы просто «вши на поверхности земли»?

― Это какая-то ошибка, когда всё выяснят, нас выпустят...

― Выпустят в ад...

― Даже когда нас не станет, наше дело продолжат, ведь нас массы...

― Что могут массы без надлежащего руководства..?

― Это не без тебя ли? Лучше сдохнуть, чем стать под твоё руководство...

Несмотря на это, все наши дни проходили одинаково. Просыпались на рассвете от грохота в дверь, нас вели в туалет, назад в камеру, давали кружку кофе и ломтик чёрствого хлеба, потом я рассматривал стены, пускал слюни при мысли о супе, который приносили в пять часов, делал вид, что я где-то далеко, представлял себе солнце, старался не думать о маме и пане Ковале, контора которого была в нескольких кварталах на улице Технической, 1. Дни переходили в ночи, а ряд меток на стене удлинялся.

Прошло несколько недель как увезли евреев. К удивлению, с тех пор в Лонцьки не привозили новых заключённых. Теперь некоторые из нас считали, что мы тут будем оставаться вечно. Я имел такое ощущение, словно ожидаю поезд и не знаю, прибудет он или нет. Однако «руководители» из одиннадцатой камеры не сомневались в нашем будущем. Они отстучали нам через стену, что нас не постигла судьба евреев благодаря митрополиту Шептицкому, архиепископу Львова, который относительно нас провёл переговоры с немецкими властями. Архиепископ был народным, его уважали все оккупанты, даже россияне не осмелились трогать его. «Он убедит немцев, ― считали руководители. ― Это же в их интересах».

Вскоре они поняли, какими были дураками.

Обычно первой будили нашу камеру, вели в туалет, отправляли назад. Потом эту процедуру проходила десятая камера, а затем ― одиннадцатая. В то утро все три камеры разбудили одновременно, всех вывели во двор. Во дворе конвоиры приказали нам выстроиться в три шеренги. Я стоял рядом с Богданом, мы слышали как цокают наши зубы от холода и страха. На мгновение наши взгляды встретились ― не надо было слов. Я понимал о чём он думает: скоро приедет грузовик. Перед моими глазами промелькнула

картина, как евреев загоняли словно скот. При этом воспоминании меня пронзило ознобом, все остальные чувства замерли. Единственное чего я хотел ― согреться. Всё остальное было безразлично.

Мы не могли видеть грузовик ― он стоял сзади нас. Впереди остановился легковой автомобиль, из которого вышел S.D. с листом бумаги в руке. Пересчитал нас.

Конвоиры приказали нам повернуться лицом к грузовику.

Впрочем, как оказалось, это был не грузовик, а автобус ― серый, с небольшими окошками по сторонам. Нас по одному заводили в него и рассаживали по местам. Там было два ряда деревянных сидений. Когда мы все были внутри автобуса, нам велели сидеть смирно, держать руки на коленях, не двигаться, не говорить. Конвоир S.D. сел лицом к нам. На коленях, словно игрушку, безразлично держал автомат. Офицер снаружи закрыл ключом двери автобуса и пошёл к своему автомобилю.

Я сидел в первом ряду напротив конвоира. Со своего места я видел автомобиль, который ехал впереди нас к воротам тюрьмы. Выехав из двора, он повернул налево и через полквартала выехал на улицу Сапег. Автобус за ним. Теперь мы ехали прямо. Автобус держался на небольшом расстоянии от этого автомобиля.

Когда автобус подпрыгнул на выбоине, автомат сполз с колен конвоира, и его ствол толкнул моё колено. Я инстинктивно оттолкнул его. Конвоир резко встал и с криком «Ни с места!» схватил автомат и направил на меня.

Автобус проезжал знакомые места. Вот моя гимназия ― сколько связано с ней воспоминаний! Перед глазами промелькнула директриса Боцва, осквернённая статуя Сталина, «Каталина» ― невыносимый преподаватель латыни, который осмелился назвать меня варваром. Отец Шпитковский ― священник, который стал коммунистом и преподавал географию с фанатизмом вновь обращённого в веру. Когда я увидел бывшую кондитерскую, мой желудок чуть не скрутился узлом. Бывало, я там покупал халву с ванильным и ромовым вкусом.

Вот наконец костёл святой Елизаветы. Казалось, что его прямые готические шпили касались неба. В лучах утреннего солнца его высокие окна из цветного стекла вспыхнули яркими огнями красок, на миг отвлекая мои мысли от автомобиля.

Через пол квартала улица Сапег заканчивалась. Автомобиль и автобус повернули налево на Городецкую и остановились, потому что военная колонна, которая двигалась с вокзала, заблокировала дорогу. Отсюда мы могли ехать в трёх направлениях. Вперёд ― дорога на Перемышль, в Польшу, оккупированную немцами. Немного правее ― на бульвар Фоха, который оканчивался железнодорожным вокзалом. Ещё правее ― на улочку, которая вела к Яновскому кладбищу и к лугу, который кое-кто называл Цветочными, а кое-кто ― Долиной Скорби.

Уже несколько столетий Долина Скорби традиционно использовалась для массовых казней. Под ковром роскошных трав и цветов лежали мёртвые души. Анархисты, радикалы, националисты, коммунисты, реакционеры да и просто невинные заложники ― все они имели отношение к плодородию Долины.

Тут хоронили палачей бывших жертв, которым удавалось захватить власть. Всё было очень просто: привозишь врагов на цветущее поле, приказываешь выкопать себе могилу (размеры зависят от количества жертв), выстраиваешь их на краю и расстреливаешь. Тела падают куда положено. Пройдёт несколько десятилетий или веков, найдут те могилы и соорудят памятник павшим героям. А чтобы удовлетворить жажду мести, будут расстреливать новых врагов. Цветы Долины Скорби упились человеческой кровью. Теперь они смаковали кровь «избранного народа» и ждали нашей.

Я не отводил взгляд от легкового автомобиля. Он стоял. Казалось, военной колонне не будет конца. Меня охватила холодная неуверенность, сквозь которую пробивался слабый луч надежды. Может всё же...

Наконец мы тронулись. Через мгновение ― фатальный поворот. Я замер, закрыл глаза.

Судя по тому, как трясло автобус, мы ехали по Городецкой. Или может просто я себя в этом убеждал? Глаза не раскрывал, поэтому точно не знал. Но открыв глаза, я увидел знак «Krakau 450 km». Мы ехали в направлении Польши, которая была оккупирована немцами.

«Природа поставила над человечеством два верховных правителя — боль и наслаждение».
Джерemi Бентам

МОНТЕЛЮПА

Несколько столетий назад, когда Краков был со всех сторон окружён стенами, одна богатая купеческая семья, которая проживала в этом городе, отправила одну из своих дочерей в Италию изучать религиозное искусство. Звали её Иолантой. Легенда гласит, что красотой и умом она превосходила всех женщин Польши того времени. Не удивительно, что в неё влюбился итальянский шляхтич. Он попросил её стать его женой, но она отказалась. Италия её нравилась, но она не собиралась на всю жизнь оставаться на чужбине.

Впрочем, когда шляхтич пообещал поехать с ней в Польшу, девушка всё-таки приняла его предложение. Тогда Краков имел Магдебургское право и был самым богатым городом Центральной Европы. Наиболее он гордился своим знаменитым Вевельским замком и соседней готической кафедрой, где происходили коронации королей.

Очарованный изящностью готической архитектуры, а также, чтобы поразить жену, шляхтич решил возвести для себя уменьшенные копии замка и катедры. Для этого он выбрал место вне городских стен на холме, откуда было видно город как на ладони. Этот холм (а для некоторых это была настоящая гора) тогда был диким и необжитым, а волков там бродило несметное количество. Именно поэтому горожане прозвали его Wilcza Góra, Волчья Гора.

Шляхтич же называл холм Montelupa, по-итальянски Волчья Гора.

Чтобы построить замок, он нанял лучших немецких мастеров. Однако, когда работы подходили к концу, Краков заняли австрийцы. Они выгнали итальянца и превратили недостроенный замок в крепость. В следующем столетии император Франц-Иосиф решил сделать из него тюрьму. Замок разбили на шестьдесят камер. Монтелюпа, как её начали называть, должна была стать образцовой тюрьмой. Ведь Франц-Иосиф был реформатором. По его мнению, тюрьмы существуют не для того, чтобы заключённый там чахнул, а чтобы перевоспитывался.

Достигла ли Монтелюпа этой цели, пусть судят историки. По крайней мере, после развала империи Франца-Иосифа в конце Первой мировой войны Краков, а вместе с ним Монтелюпа, стали частью Польши. Двадцать лет спустя, в 1939 году, когда немцы и россияне поделили Польшу между собой, Краков очутился на немецкой территории. Значит, сейчас Монтелюпа в руках немцев.

Когда наш автобус прибыл в Монтелюпу, я не знал ни её названия, ни истории. Я и не подозревал о её существовании.

Мы приехали около полуночи. Во время пути автобус остановился только один раз в чистом поле, чтобы мы помочились (естественно, под надзором конвоира). Прибыв в центр города, мы могли только догадываться, что этот город — Краков. На улицах темень, хоть глаза выколи — электричества не было. Единственным источником невесёлого света были фары нашего автобуса. Мы долго кружили по улицам, так что я подумал, что водитель не знает города. Наконец мы въехали на улицу, ведущую на подъём. Вскоре повернули налево, проехали пол квартала и остановились. Фары автобуса выхватили из тьмы стальные ворота с узкими дверьми сбоку.

Водитель посигналил и вскоре мы очутились во дворе перед зданием. Вход освещала

единственная электрическая лампочка.

Когда мы выстроились в три шеренги, появился начальник тюрьмы. Узнав, что мы украинцы, он удивился: «Что вы тут делаете? Разве украинцы не друзья немцев? Тут в Монтелюпе у нас только поляки». Так мы впервые услышали название тюрьмы.

Его удивило, что среди нас было много людей с высшим образованием: два доктора, один студент-медик, бывший преподаватель геополитики из Берлинского университета и другие. Услышав, что мы с Богданом гимназисты, он подошёл ближе и спросил, как мы, такие молодые, оказались тут. Богдан, который лучше меня говорил по-немецки, ответил, что ошибочно. Я кивнул головой в знак согласия.

Сначала он хотел нас развести в разные камеры, но затем принял решение разместить всех в «только что продезинфицированной» камере № 59 на третьем, верхнем этаже. Узнав, что со вчерашнего дня мы ничего не ели и не пили, он пообещал дать распоряжение, чтобы тюремный повар, несмотря на позднее время, что-нибудь приготовил. А тем временем мы должны были пройти процедуру «регистрации».

Теперь нами занимались два конвоира. Они привели нас в хорошо освещённую подвальную комнату и приказали раздеться. Нашу одежду возьмут на дезинфекцию и вернут через день-два. Вскоре появилось три человека в тюремной форме, каждый с машинкой для стрижки волос. Они обкорнали нам головы, лицо, под мышками и пах.

Все три «парикмахера» были поляками. Один из них, бывший студент-медик, был официальным тюремным врачом. Он предостерёг, чтобы мы не вздумали болеть, потому что никаких лекарств нет, даже аспирин, а если бы дошло до операции, которые он, между прочим, в жизни не делал, то ему бы пришлось воспользоваться кухонным ножом. Он сказал это так забавно, что все засмеялись. Это впервые мы смеялись в Монтелюпе.

Затем был душ. Мы шли тускло освещённым коридором. Наконец конвойный открыл дверь какой-то тёмной комнаты и приказал нам войти. Я зашёл последним. Дверь за мной закрылась, нас поглотила сплошная тьма и вонь, как от тухлых яиц. Я почувствовал этот запах ещё когда мы шли по коридору, а теперь он раздирал мне ноздри и горло. Вдруг в сопровождении сильного кахканья на нас полились потоки ледяной воды. Мы закричали. Подали горячую воду. Комната наполнилась горячим паром. Перемешиваясь с паром вонь становилась гуще, пронзительнее, нестерпимее, удушающей. Я слышал, как другие кашляли и фыркали. Меня охватил странный страх. Я вспомнил, как когда-то двенадцатилетним мальчишкой я был на Пасхальном богослужении в соборе св. Юра. Смесь дыма свечек, кадила и человеческого пота разъедала мои лёгкие. Я начал задыхаться. Вдруг у меня потемнело в глазах, колени обмякли и я начал терять сознание. К счастью пан Коваль подхватил меня и вынес на свежий воздух. Теперь я чувствовал себя так же. Задыхаясь, я схватился за ручку дверей. Они были не закрыты. Все выбежали.

А «доктор» аж схватился за бока: «Работает безотказно. Газовая камера ― вот как мы её называем». Он объяснил, что душевую используют также для дезинфекции газом одежды. Даже если бы комнату должным образом проветривали, а этого никогда не делали, газ всё равно вьёлся бы в потолок и стены. Пар вытягивал его, усиливал, мешал дышать. «Кое-кто и душится с испуга», ― подумав, добавил он.

Каждому дали тонкую льняную холстину вместо полотенца. Теперь нас голых и вроде бы чистых надзиратели повели на третий этаж. Этажи были отгорожены от лестниц стальными решётками, которые необходимо было каждый раз открывать, когда их проходили.

Наконец мы в камере № 59 ― большой, длинной, узкой, с деревянным полом и тремя большими, зарешёченными окнами, забитыми снаружи досками. Две кучи соломенных матрасов и одеял радовали наш глаз после бетонного пола Лонцьки. Надзиратели выделили по одному матрасу и одеялу на двоих. Я разделил спальное место с Богданом. Поскольку нас было нечётное количество ― тридцать три, один из нас имел в своём распоряжении целый матрас. Это был бывший преподаватель берлинского университета, доктор Кордуба, которого комендант тюрьмы назначил старшим по камере.

Начальник сдержал слово. Перед сном два заключённых принесли нам котёл с супом. Это был настоящий суп с лапшой, густой, как тот, который нам давали в день прибытия евреев. Его хватило ещё на добавку. Я наслаждался, напихивая себе рот густой, мягкой лапшой и немного придерживая её перед тем, как проглотить, чтобы продлить употребление пищи и получить удовольствие от вкуса.

Оглянувшись вокруг, я увидел странную картину. Правее сидел голый Богдан. Левее ― ряд голых мужчин пристроились на краях матрасов. Голые, бледные и костлявые, они выскрёбывали последние капли супа из своих кружек. Всё остальное, казалось, было им безразлично.

НОЧНЫЕ ГОСТИ

Наступила третья ночь в Монтелюпе... Мы до сих пор голые, потому что одежду не вернули из дезинфекции. Церковные колокола пробили полночь. Я старался повернуться на другую сторону, не потревожив Богдана. Он крепко спал и наверно ему что-то снилось, потому что веки глаз дёргались, а тяжёлое дыхание сопровождалось слабым постаныванием. Наш матрас был узким, рассчитанным на одного человека, но после бетонного пола на Лонцьки он был роскошью.

Почти засыпая, я услышал какой-то звук, вроде открылись двери нашей камеры. Я хотел проигнорировать это, однако раскрыв глаза, увидел группу голых мужчин, которые входили в камеру. Сначала я думал что мне кажется, но всё происходило взаправду. Надзиратель закрыл на замок за ними дверь, а они молча стояли, как выводок цыплят. Теперь все проснулись, удивлённо и с интересом рассматривая вновь прибывших, недовольные их ночным вторжением.

Их было двадцать один. Голые и обстриженные, все они были словно копии один одного. Наше присутствие тоже сбило их с толку. Молча каждая сторона пыталась оценить другую. Для них место было на полу, а вот матрасов и одеял не было.

Наконец старший в камере нарушил эту молчаливую конфронтацию. Авторитет профессорского голоса очень подходил ему, как старшему над нами. Когда выяснилось, что новоприбывшие украинцы, он приветствовал их от нашего имени. Но узнав что они мельниковцы, а значит наши соперники, мы охладели. Мне было безразлично, что они будут спать на полу без матрасов.

На следующий день им принесли постель, и все мы стали равноправными, несмотря на политические убеждения. За исключением шестнадцатилетних, меня и Богдана, всем остальным было от двадцати пяти до пятидесяти лет. Вечером, когда расстелили матрасы, они покрыли весь пол от стены до перегородки, за которой стояла посуда для мочи.

В тот же день принесли нашу одежду. От неё воняло так же, как в душевой. Моя рубашка была в пятнах и облезла, а на ощупь напоминала накрахмаленное полотно. Наши попытки установить контакт с соседними камерами перестукиванием успеха не имели. Или стены были слишком толстые, или камеры были пустыми.

С этого момента наша жизнь в Монтелюпе начала нормализоваться, входить в обычную тюремную колею. Как и в каждом заведении с вековой историей, жизнь узников в Монтелюпе подчинялась определённым традициям, к которым присоединилась ещё немецкая точность. Наша жизнь протекала точно по расписанию.

6:00 ― нас будит свисток надзирателя. Через одну-две минуты он входит в нашу камеру. Тот, кто первый его увидит, кричит «Achtung!²⁹» Все встают, вытягиваются, надзиратель приказывает троим открыть окна, а ещё двоим ― взять посудину с мочой, а затем все идут за ним в туалет. Там только один унитаз, которым нам нечасто доводится пользоваться, и один умывальник.

²⁹ Внимание (нем.)

Вернувшись в камеру, складываем матрасы и одеяла в аккуратные стопки. Тут они будут стоять до вечера, так как нам строго запрещено пользоваться ими на протяжении дня. За нарушение этого правила лишают ужина. Затем уборка ― собираем все соломинки, которые упали из матрасов.

7:00 ― приходит надзиратель, делает переключку. Мы ждём его, выстроившись в три шеренги. Старший, что стоит в начале первой шеренги, кричит «Achtung!» Мы стоим по стойке «смирно», а он стандартно рапортует: «Камера № 59: пятьдесят четыре заключённых, присутствуют все, всё в порядке». Пересчитав нас, надзиратель объявляет «Вольно!» и приступает к осмотру матрасов и одеял, затем проверяет окна ― не отбиты ли доски. Когда он уходит, старший снова кричит «Achtung!», мы вытягиваемся, а после того как надзиратель закрывает дверь, мы поём «Боже Великий, Единый, нам Украину храни...»

8:00 ― долгожданный миг ― завтрак. Выстроившись в очередь, мы ожидаем, пока надзиратель откроет дверь. Двое заключённых приносят емкость с кофе. Один из них выдаёт нам по поллитровой жестяной кружке, а второй наливает туда кофе. Третий раздаёт хлеб ― 1/5 Komissbrot, как они его называют. Это вдвое больше, чем в Лонцьки. Многие завидуют заключённым, работающим на кухне. Это занятие привилегированное, его доверяют по старшинству.

Не хотел бы я дожидаться таких привилегий.

8:30 ― собирают пустые кружки и пересчитывают их. Мы можем до вечера делать что вздумается. Можно стоять, сидеть, вот только лежать нельзя. Можно раздумывать о таинстве жизни и смерти. Можно обвинять за наши судьбы Сталина, Гитлера, Бога или стечение обстоятельств. Можно укорять себя за глупость. Много чем можно заниматься. Но тяжелее обвинять себя.

18:00 ― событие дня ― ужин. Говорят, история повторяется. В Монтелюпе она повторяется ежедневно. Пронзительный свист знаменует начало ужина. Мы выстраиваемся в три шеренги. Надзиратель открывает двери. Тюремный повар ― самый привилегированный арестант ― раздаёт ужин собственноручно. Он держит большой ополовник, как когда-то короли держали скипетр и даже не глядя на нас, погружает черпак в суп ― ячменный или с лапшой. Главное в том, что суп в большое кастрюле на дне густой, а сверху ― одна вода. Поэтому очень важно, как глубоко повар погружает черпак.

Один раз, стоя в очереди, я попробовал загипнотизировать повара, чтобы он дал мне со дна густого навара. Но когда подошла моя очередь, он зачерпнул только по поверхности и плеснул мне мутной жидкости. Обычно, как и при других обстоятельствах, я бы просто повернулся и ушёл разочарованный, надеясь что завтра посчастливится больше. Но теперь я вылил эту водичку назад в кастрюлю да ещё так, что она расплескалась, забрызгав повара лицо.

Ошеломлённый, он моргнул на меня своими голубыми, будто бесцветными глазами. В них ощущалась слабость. Я твёрдо посмотрел на него и решительным движением протянул к нему кружку. Какое-то мгновение он колебался. Потом отвёл взгляд, зачерпнул со дна и налил мне густое варево.

После ужина до 21:00, когда начинается вечерняя проверка, мы опять занимаемся чем придётся. Как и утром, мы стоим по стойке «смирно», когда старший рапортует: «Камера № 59: пятьдесят четыре заключённых, присутствуют все, всё в порядке», надзиратель пересчитывает нас, проверяет окна, уходит.

Как-то нас проверял новенький. Уходя из камеры, он сказал gute Nacht, спокойной ночи. Поняв, что надзирателю не к лицу говорить такое, он смутился, сказал entschuldigung, извините, после чего засмутился ещё больше.

При таком распорядке времени у нас было достаточно. Люди на свободе, даже наши сторожа, которые работали всё время ― могли нам завидовать. Однако Василий, наш доморощенный философ, воспитанный на помпезных, банальных утверждениях, лучше разбирался в этом. Он говорил, что «время без свободы бесполезно, а свобода без времени

и лишняя».

ВЛАСТЬ ЛЮДЕЙ И ВШЕЙ

Через несколько недель страсти улеглись. Напряжение спало. Вначале казалось, что мельниковцы и бандеровцы никогда не смогут мирно сосуществовать в одной камере. Споры вспыхивали как степные пожары, основным вопросом было «Кто виноват в расколе Организации?» Каждая фракция обвиняла другую. Были и такие сорвиголовы, которые хотели просить коменданта рассадить нас по разным камерам. К счастью, умеренных было больше. В нашей фракции к ним принадлежали профессор Кордуба и Василий, наш философ; у мельниковцев и Сенатор и Полковник.

Полковник был офицером кавалерии казачьей бригады в Первой мировой войне. Для офицера он был слишком низким, но крепким и энергичным. Когда он разговаривал, его тёмные глаза под суровыми, красивой формы бровями, вспыхивали искорками. Голос у него был настойчивый, иногда раздражающий. Он хвастался, что участвовал в ожесточённых боях против большевиков, пролил реки крови, ездил по полям, усеянным трупами, словно колосьями на косовице, имел склонность к преувеличению и помпезности, но умел хорошо вести переговоры между враждебными фракциями. «Мы в одной лодке, и говорил он, и пойдём на дно вместе».

Сенатор был высоким, широкоплечим мужчиной с обвисшими веками, лет пятидесяти. Его груди с распухшими сосками были подозрительно большими, а на круглом лице и следа щетины. Роман и студент медик из нашей фракции и божился, что это гермафродит, он имеет и мужские, и женские органы. Нам с Богданом было интересно это увидеть. Один раз, когда нашу одежду забрали в вошебойку, а наша камера была газована, нас перевели в соседнюю. Сидя, мы не сводили глаз с бритого паха Сенатора, который стоял перед нами. Однако нам удалось увидеть разве что сморщенную мошонку, а над ней что-то похожее на сливу. Это, наверно, был его мужской орган и малюсенький как для мужчины Сенаторовой стати. Он был такой короткий, что даже не болтался. Больше ничего не было видно. Если там и был «женский орган», то его заслоняла мошонка.

В любом случае Сенатор был искусным посредником во время перепалок между фракциями. Он напоминал, что цель у нас одна и свобода и независимость. Его парламентаризм много сделал для восстановления мира в нашей камере. Но наиболее за это мы были благодарны вшам. Они были общим врагом, который объединял нас, вынуждал забыть и про Бандеру, и про Мельника.

Через месяц после нашего прибытия в Монтелюпу внезапно, из неоткуда, появились вши, как Blitzkrieg. Сначала, ещё не зная про вшей, я ощутил зуд. Начал чесаться. Чесалось не только в паху, но и под мышками. Рассказал об этом Богдану, он сказал, что у него тоже самое. Мы решили, что это вши, но поскольку были самыми молодыми, (к нам так и обращались и «ребята»), постеснялись об этом говорить. Вскоре чесалась вся камера.

Дмитрий, самый откровенный в нашей фракции, первый поймал вошь и показал её всем. Он был с ними знаком ещё с польских тюрем. Он утверждал, что та вошь была полностью немкой и белая, худая, чуть не прозрачная и чрезвычайно энергичная.

Теперь все охотились у себя за вшами. Меня удивило, что вши, которые жили в нашей грязной одежде, такие чистенькие, словно только что из душа. Они имели плоское полупрозрачное тело, в середине которого виднелась красная точка и моя кровь. В отличие от блох, вши не прыгали, не торопились. Бескрылые, они сонно, чуть не торжественно бродили, удерживая равновесие, на своих коротеньких цепких ножках. У них было острое жало, чтобы прокалывать кожу и пили кровь.

Некоторые из нас, и Сенатор тоже, утверждали, что у них вшей нет. Действительно, Сенатор пытался не употреблять это слово, считая его неприличным. Когда уже очень было необходимо говорить про вшей, он вдавался к «нейтральному» аналогу anaplura. Поэтому за глаза мы называли его Сенатор anaplura.

Чтобы скоординировать наши действия в борьбе с вшами, мы создали «правительство», которое состояло из двух солидных членов от каждой фракции во главе со старостой камеры. После дискуссии, которая длилась целый день, решили, что успех кампании зависит от систематического поиска и безжалостного уничтожения. Для этого определили «вшивое время». От 12:00 до 13:00 все без исключения искали и душили вшей. Дмитрий, эксперт по вшам, стал советником.

К удивлению, Полковник яростно протестовал против этого. Он настаивал, что каждый по своему должен разобраться с ними, как и где угодно, к тому же это всё напрасно, потому что «ничто в мире ― ни власть, ни правительство, ни даже Бог ― не могут справиться с вшами». «Вши управляют человечеством», ― говорил он.

Несмотря на его протесты, перевесило решение «правительства». Теперь ежедневно, и в воскресенье тоже, мы с 12:00 до 13:00 били вшей. Это было настоящее побоище. В то время, когда немцы воевали с россиянами, мы воевали с немецкими вшами. Наш математик подсчитал, что в первый месяц каждый в среднем убивал ежедневно 33 вши. Нас было 54, значит ежедневно наша камера уничтожала в среднем 1812 вшей ― число, которое к удивлению сходилось с годом победы над Наполеоном. Полковник утверждал, что Наполеон получил поражение не из-за боевого духа российских войск, а потому, что вши заразили его армию тифом. «Большая часть его армии, ― сказал полковник, ― погибла от тифа, а не от русских пуль».

Несмотря на внушительные показатели убитых вшей, живых становилось всё больше. Они бродили по всему телу, хотя наиболее любили быть в паху и под мышками. На ночь прятались в складках одежды и на мошонке, где и откладывали яйца.

Со временем охота на вшей стала нудной и мало продуктивной. Мы проигрывали эту войну. Но однажды случай поднял наш боевой дух. По каким-то непонятным причинам нашей камере начали выдавать лишнюю пайку хлеба. Сначала мы пробовали делить её на 54 части, но без ножа это было канителью ― хлеб крошился, к тому же порции были неодинаковыми. У Богдана появилась идея ― отдавать тот хлеб тому, кто убьёт больше вшей. Сначала некоторые протестовали, говоря, что тем, у кого плохое зрение, победа не светит. Но «правительство» всё-таки одобрило это предложение.

Скучная обязанность стала теперь увлекательным соревнованием. Благодаря этой лишней пайке хлеба ежедневный «урожай» вшей существенно увеличился. Но конкуренция имела и негативные последствия ― кое-кто мошенничал и крал вшей у других.

«Человеческая жизнь ― только мгновение; материя ― быстротекущая; чувства ― слабые; тело ― порочно; а душа, ― словно вихрь; а судьба ― непостижима; а слава ― напрасна...

Чем же руководствоваться человеку? Единственным ― философией».

Марк Авелий

ОБ ГОСУДАРСТВЕ И СВОБОДЕ

Стимул получить лишнюю порцию хлеба пробудил нас от летаргического сна, в который мы окунулись через месяц охоты за вшами. К этому сну прибавилась ещё нехватка света в нашей камере. Итальянский шляхтич, который строил этот замок, запланировал тут три высоких окна, как этого и требовал готический стиль. Я себе представлял, что из этого окна было видно в лучах солнца весь Краков.

Однако сейчас окна были зарешечены и забиты досками. Единственным источником света была электрическая лампочка. Она светила круглосуточно, а выключателя в камере не было. У нас было не очень светло как для дня и не очень темно как для ночи. Свист

надзирателя в шесть утра означал начало дня, Солнце и Луну я видел, разве что закрыв глаза.

Соревнование за хлеб, по выражению наших «правителей», спровоцировало «активный подход к жизни». Теперь наша жизнь была в наших руках. Чтобы начать день «по-нашему», мы становились в круг и пели «Боже Великий, Единый...» Чтобы не было лени и сонливости, мы делали гимнастику. Чтобы преодолеть «дрёму ума», как говорили наши старшие, после «вшивого времени» нам читали лекции немецкого языка или философствование на свободную тему.

Несмотря на сомнительность его «мужского органа», Сенатор оказался самым интересным лектором. Он называл себя «классиком», так как имел степень доктора по антической философии. Он вводил нас в мир древнегреческой и древнеримской философии, мир Гомера и Вергилия. Самой запомнившейся было лекция об «Иллиаде». Поскольку не все читали Гомера и Вергилия, Сенатор сначала кратко пересказал содержание. Потом, приняв позу греческого оратора, подняв одну руку и глядя поверх наших голов, словно высматривая что-то на горизонте, он прочитал вступление из «Иллиады» на греческом языке, чтобы дать нам представление про оригинальный, волноподобный ритм. Даже не понимая древнегреческого языка, я чувствовал себя, словно в море. Потом, уже на украинском, он пригласил нас на борт военных кораблей Ахилла, которые отправлялись на войну против Трои, забрать прекрасную Елену. Эта история поражала, но ещё удивительнее было видеть как спокойный, казалось беспристрастный Сенатор вдруг вспыхивает, читая отрывки из «Иллиады», жестикулирует, мечется, прерывает историю пикантными замечаниями относительно интриг между богами, их оргий, противоречий, обманов и измен.

Я увлечённо слушал конец истории, когда Ахилл со своими воинами проникает в окружённый стенами город в деревянном коне. В этот момент у меня мелькнула надежда, что какое-то невидимое явление проникнет в Монтелюпу и отворит двери нашей камеры.

Иногда Сенатор углублялся в сферу метафизики, которая была чужой и мне, и Богдану, а поэтому очень бестолковой. Впрочем было и такое, что нам было понятно и временами мы осмеливались даже задавать вопросы. Мне понравилась его лекция о «хорошей жизни» — идее греческого философа, жившего за несколько столетий до Христа. Наслушавшись рассказов Сенатора о той «хорошей жизни», при которой бы «над людьми господствовали бы искусство, философия и любовь», я представлял себя в этом мире, забывая на миг что я узник. В эти минуты я был убеждён, что если бы Иисус услышал о возможности «хорошей жизни», он отрёкся бы от страданий.

Одна из наших лекций чуть ли не стала причиной драки. Это был очень сложный рассказ о Государстве и Свободе. Докладчиком был бывший второй заместитель министра внутренних дел Временного правительства Бандеры. Хотя неизвестно, действительно ли он занимал эту должность — некоторые думали, что он сам себе присвоил это звание. На вид, был средних лет. Впрочем, теперь было тяжело определить чей-то возраст — все изнурённые лица казались одинаковыми. Человек твёрдых убеждений, он говорил быстрым стокатто, выплёвывая слова, словно пули.

Мне его лекция была интересной, потому что я никогда не задумывался над такими серьёзными делами. Однако казалось, что он ходит вокруг да около. Когда он третий раз сказал, что не может быть свободы без государства и что «наше государство будет государством свободы», Богдан поднял руку и спросил, будут ли в нашем государстве тюрьмы. Докладчик с энтузиазмом ответил: «Конечно будут. Или ты думаешь, что государство может существовать без тюрем?» Богдан принял такой ответ, но он меня встревожил. Как узнику мне больше всего хотелось оказаться на свободе. Я поднял руку и собрав всё своё мужество, сказал, может немного и наивно, что для меня свобода означает открытые двери всех тюрем.

Лектор ответил, что моё замечание «детское и наивное». Он долго распространялся об этом, смотря на меня свысока, и закончил тем, что я слишком мал, чтобы понимать такие сложные проблемы. Я только должен слушать.

Его перебил Полковник:

«Господин, Министр,» сказал он как можно более саркастичнее, «разве вы не знаете, что государство это паразит, душителъ свободы? Оно пьёт людскую кровь как вошь. И вы называете это свободой?»

Все прикипели взглядами к Полковнику. Министр к этому не был готов. Он только смог ответить, что «наше государство будет другим, совсем другим».

«Те есть ещё деспотичнее, потому что вы будете диктатором!» отрубил Полковник.

Не зная как реагировать, докладчик разозлился. Он не покраснел, потому что в жилах было не очень много крови, но хорошо насел на Полковника. Обозвал его и анархистом, и махновцем, и казаком-приблудой, и беспринципным оппортунистом.

Я понятия не имел, что обозначало большинство этих эпитетов, но Полковника они оскорбили. Он поднялся, выпрямился и со сжатыми кулаками направился к Министру. В последнее мгновение наш старший встал между ними и развёл их. Полковника обвинили в том, что он вёл себя «нетактично».

Теперь все говорили на повышенных тонах. Пока они ругались и спорили, мы с Богданом стояли сбоку, ведь «малы и зелены». Мало кто был на стороне Полковника. Когда все немного остыли, лекция продолжилась. Последнее слово было за Министром: «Хотя тюрьмы и зло, и их количество наверно следует уменьшить, однако они всегда будут неотъемлемой частью человеческого общества».

Борясь с собой, я пытался понять, как заключённый может отстаивать необходимость тюрем. Я обдумывал этот вопрос почти до полуночи, когда Богдан уже сладко похрапывал. Его нос постоянно был забит. Что-то мне подсказывало, что если бы наши руководители захватили власть в свои руки, они без малейших колебаний посадили бы меня вторично за наименьшее прегрешение.

К счастью, такие больные вопросы поднимали не на многих лекциях, большинство из них проходило мирно. Так же, как и Сенатора, мне понравились лекции и нашего старшего профессора геополитики. Чтобы показать зависимость между географией и политикой, он брал нас в путешествие по разным континентам, объясняя миграцию народов, развитие государств на берегах рек и в долинах. Мы побывали с ним возле Нила и Ганга, Амазонки и Рио Гранде, Днепра и Волги.

В знак признания его талантов начальник тюрьмы разрешил ему держать карандаши, чтобы рисовать карты. Вскоре наша камера была похожа на земной шар в миниатюре: все его континенты, океаны, горы, города, пустыни, реки и долины раскинулись по стенам. В таком окружении мне казалось, что я живу в глобусе, в центре земного ядра.

Вначале все те карты создавали иллюзию пространства, а затем они начали угнетать меня. Жизнь в этом закрытом миниатюрном мирке было ещё более замкнутое, чем в тесной камере Лонцьки. От мысли, что там, за стенами Монтелюпы существует огромный мир, мне так и хотелось взять взрывчатку и взорвать к чёртовой матери все эти континенты. Тогда я, по крайней мере, знал бы за что сию.

Как-то во время того, когда я до поздней ночи раздумывал про своё заключение, про вероятность того, что уже никогда не увижу дневного света, я завидовал Богдану: той ночью он спал так беззаботно и спокойно. А я спать не мог. Я впился взглядом в электролампочку, словно хотел вынудить её потухнуть. Был бы у меня камень, я бы разнёс её в щепки.

Затем я закрыл глаза и натянул на лицо одеяло. Это было 6 января; Святой Вечер. Я представлял себя в родном селе, в Яворе.

Ребёнком я не мог дожидаться Святого Ужина. За стол садились когда появлялась Северная Звезда. Я стоял на крыльце и ждал, пока дневной свет потускнеет, небо потемнеет, а на небосклоне засияет первая звезда, тогда я сломя голову мчался в дом и кричал: «Звезда! Вифлиемская звезда!»

В светёлке уже был накрыт стол. На полу лежало сено, раскиданное в память о месте, где родился Христос. В северо-восточном углу стоял пышный сноп ржи; символ

достатка. Длинный стол, покрытый белой льняной вышитой скатертью и свечка, которая мерцала посреди него, ожидали, когда мы разместимся. Я сидел справа от мамы. На другой стороне стола сидел отец, рядом с ним Оксана, дочь пани Гануси, моя одноклассница. Тётя Гануся умерла несколько лет назад, и с тех пор Оксана жила с нами.

Подняв взгляд к потолку, отец начал петь «Бог Предвечный». Мы за ним и статный голос матери, и наши с Оксаной крикливые голоса сливались с его баритоном. Ужин состоял из двенадцати постных блюд: борща, рыбы, голубцов, маринованных грибов и других кушаний, от которых я не очень был в захвате, хотя отец их обожествлял. Между блюдами он наливал самогонку и пил за «всех святых», за «добрый урожай», и удовлетворённо утирал лицо мозолистой ладонью.

Мы с Оксаной нетерпеливо ожидали кутю и последнее блюдо. Кутя почему-то не только нравилась нам, но ещё доводила до смеха. Мы выходили из-за стола, не ожидая разрешения, и бесились на полу и дурачились, прыгали, кидали один в другого сено.

Успокаивались мы только, когда услышали за окном колядки. Прижав носы к холодным стёклам, мы наблюдали за группой старших парней и девушек из вертепа. Пели они про «удивительную новость в Вифлиеме» и рождении Сына Божьего, нашего Спасителя. Я задерживая дыхание, видел голого Исусика на холоде, на маминых коленях, надеясь что он не замёрзнет. Одновременно я был счастлив, что вот я тут, в тёплом доме, имею родителей, которые беспокоятся об нас с Оксаной.

ДЕНЬ, КОГДА НЕ БЫЛО «ВШИНОГО ЧАСА»

Некоторые считали это чудом. Другие объясняли это научно. Но все считали, что это было доброе предзнаменование. От одной из досок, которые закрывали окна нашей камеры, выпал сучок и образовалась дыра величиной с грецкий орех. Волей случая или судьбы нам было определено получить визуальную связь с внешним миром.

Дырку заметили вскоре после ужина и все сразу сгруппировались возле окна, потому что каждый хотел хоть краем глаза глянуть на Краков. Желание увидеть мир после шести месяцев в камере с заколоченными окнами было нестерпимым. После беспорядочной толчеи, которая была вначале, мы выстроились в очередь.

Ожидая своей очереди, я нетерпеливо ожидал мгновение, когда увижу хотя бы маленький кусочек Кракова. Тем временем я вспомнил небольшую коллекцию почтовых открыток и сокровище моей мамы. Они были от её дяди, который учился в Вене на юриста, а затем стал «судей Его Величества» в Кракове. Одна из таких открыток, была собственно фотокарточкой, которая изображала его на фоне здания суда. «Какая ирония, и подумал я, мой прадед, наверно, немало преступников и мошенников упёк в Монтелюпу. Он бы и представить себе не мог, что его племянник окажется среди них».

Он не знал, что Монтелюпа станет особой тюрьмой для политических заключённых. Тут не было уголовных преступников. Наши сокамерники, дежуря на кухне, узнали, что за исключением нашей камеры № 59, где сидело пятьдесят четыре украинца, остальные заключённые были поляками, которых подозревали в подпольной деятельности против Германии. Недавно среди ночи мы слышали их крики во время допроса на нижнем этаже. Вначале от тех криков у меня по коже мурашки ползали и от мысли, что в одну из ночей эти крики могут быть и моими. Но со временем я к ним привык. Меня охватила какое-то уставшее безразличие и пока это не мои крики...

Кроме того мы узнали, что при немцах ни один заключённый не был освобождён из Монтелюпы. Какими бы не были результаты допросов, всех направляли в Аушвиц,³⁰

³⁰ Аушвиц(пол. Освенцим) и один из крупнейших «лагерей смерти», который был создан в Польше в 1940 году. По разным данным, в годы войны там было уничтожено от 1 до 4 млн. людей.

трудоу лагеря недалеко от Кракова. Иногда, запутавшись в вечную сырость нашей камеры, я мечтал о переводе в Аушвиц. Какая бы не была там работа, даже в каменоломнях, я по крайней мере буду вне камеры, буду видеть небо, буду вдыхать звёзды. В эти мгновения я чувствовал, как солнце гладит моё лицо, а капли дождя стекают по нему вниз. Однако, когда я к нему притрагивался, это просто был мой пот.

С приближением моей очереди у меня аж дух перехватывало от желания увидеть внешний мир. Похоже что и других охватили подобные чувства, потому что как мы стали в очередь, никто не проронил и слова. А лица тех, кто заглянул в щель, были торжественными, словно после причастия. Их выражение словно говорило: «Город ещё тут, я его видел».

До сих пор единственным свидетельством того, что мы пребывали не никак-то Богом забытом тихоокеанском острове были колокола Вавельского костёла. Когда ветер дул в сторону Монтелюпы, нам было слышно, как они звонко перебивали вечную хмурость нашей камеры. Но из-за ежечасного звона колоколов время как будто становилось медленнее. Поэтому со временем я научился не замечать их, как и не замечал криков заключённых во время допросов.

Вот и моя очередь. Я так прилип к той дырке в доске, что у меня чуть глаза не вылезли. Солнечный свет! Я вижу его собственными глазами! Собственно, одним глазом, для двух дырка слишком мала. Передо мной простиралась цепочка крыш, дальше площадь, а за ней ― высокое здание. Я подумал что это как во Львове, Оперный театр. Но скорее всего это был железнодорожный вокзал, потому что там толпилось много народа. К тому же над входом в здание висели огромные часы с римскими цифрами, из тех, которые устанавливали на всех станциях Австро-Венгерской империи.

Моё внимание привернул человек в лохмотьях, который сидел на деревянном ящике левее высоченной арки входа на вокзал. Он наверное был нищим ― женщина с огромным тюком за спиной что-то кинула в его протянутую руку ― наверно монетку. Не успел я его как следует рассмотреть, как старший по камере сказал, что моё время закончилось. Люди за мной нетерпеливо ожидали своей очереди.

Отходя от окна, я брал с собой всё, что только увидел ― солнце, небо, дома, нищего.

С тех пор я ежедневно за ним наблюдал. Закрыв один глаз, а второй как можно ближе прислонив к щели, я направлял свой взгляд на него. И хотя из-за расстояния и его огромных солнцезащитных очков, которые он никогда не снимал, я не мог чётко рассмотреть его лицо, я представлял его приятным, изреженным морщинами, с глубоко посаженными глазами в окружении густых бровей.

В тот день «вшивого часа» не было. Мы думали о другом. Мы не знали, что происходит в мире. Продолжается ли война? Как далеко продвинулись немцы? В их ли руках Москва или россияне смогли сдержать наступление? Что делает Англия? Убедила ли она Америку вступить в войну?

Вопросы и только вопросы? Единственное, что мы знали наверняка, ― это то, что если немцы победят, мы обречены. Некоторые надеялись, что россияне и немцы перебьют друг друга, тогда мы сможем вернуться на свою землю.

Ночью меня охватила меланхолия. Я не отводил взгляд от лампочки, которая висела надо мной, словно ожидал от неё ответа. Но она была непоколебима. Даже не мерцала.

Закрыв глаза, я увидел свою маму. Она была в «большой комнате», в кровати, не спала, думала, где я, что со мной. «Почему он не даёт о себе знать?» Поднялась, посмотрела в окно на полную Луну, словно надеясь, что я внезапно оттуда появлюсь.

Пошла на кухню, зажгла керосиновую лампу, села за стол. Теперь её лицо освещало мягкое сияние, её лицо было встревоженным, но не озабоченным. Её большие чёрные глаза окаймлены гладкой дугой бровей. Такие лица я видел на иконах в соборе св. Юра. Что-то в нём свидетельствовало, что в её душе есть такие закоулки, куда она никому не позволит вступить.

Берёт из ящика стола тетрадь, которую я оставил во время своих последних каникул в

Яворе, садится писать.

«Уважаемый пан Коваль.

Надеюсь, что моё письмо застанет Вас здоровым и в хорошем настроении. Я Вам писала три месяца назад, но ответа не получила. В том письме я просила Вас рассказать мне о Михаиле, что он там делает. Я уверена что ему неплохо, но на войне всякое может случиться. Сначала, когда Вы мне не ответили, я подумала, что с Михаилом случились неприятности и Вы колеблетесь сообщить мне об этом. Но теперь, три месяца спустя, я переживаю о Вас. С Вами всё хорошо? Будьте любезны, напишите мне, иначе я буду думать, что Вы что-то скрываете о Михаиле.

Опять благодарю, что взяли его под своё крыло. В апреле ему будет уже семнадцать, поэтому он сможет сам о себе побеспокоиться и вам помочь. Вы так много сделали для него и нашей семьи. Без вас мы бы погибли в конце Первой мировой войны. Вы появились очень своевременно, как ангел-хранитель, и спасли нас. Не нахожу слов, чтобы выразить Вам свою благодарность.

Марися».

Я смотрел, как она перечитывает письмо в мерцающем свете лампы, которая свисала с потолка и вспомнил то мгновение на станции в Яворе перед посадкой в поезд, когда меня отправляли во Львов, «в мир, чтобы стать мужчиной». Она обняла меня, затем выпустила из объятий, посмотрела в глаза, словно хотела увидеть моё будущее, снова обняла и поцеловала.

Свисток надзирателя, который оповещал о начале дня, прервал мои ночные миражи. Но я думал о маме и днём. Она не знала, что пан Коваль понятия не имеет, где я. Он мог догадываться куда я направился, но откуда ему было знать, что пять месяцев я провёл в Лонцьки, в нескольких кварталах от его работы, а вот теперь сижу в Монтелюпе.

Мать тоже удивилась бы, если бы узнала, что пан Коваль во время российской оккупации вел двойную жизнь. Я давно это подозревал, но подтверждение нашёл несколько недель назад, во время «вшивого часа».

Однажды я сидел рядом с Сенатором, когда мы истребляли вшей. Я много их убил, но недостаточно, чтобы выиграть. У Сенатора была только небольшая кучка. Из-за своей близорукости он не имел шансов выиграть дополнительную порцию хлеба. Я незаметно подсыпал ему своих вшей. Посчитав, он был поражён своим результатом. В тот день хлеб получил он.

Жуя этот хлеб, он спросил у меня, откуда я. Я рассказал, что родился в Карпатах, но уже лет десять живу во Львове с моим опекуном паном Ковалем.

«Ты знал Ковалю?» спросил он так, словно это имя было ему знакомо.

«Да, пан Ковалю,» ответил я.

«Случайно, не Ивана Ковалю?»

Это оказалось неожиданностью для меня и Сенатора. Он не просто знал пана Ковалю, они вместе вступили в Организацию и были членами одного «звена». «Пан Коваль,» сказал Сенатор, «был настоящим артистом, обольстителем. Мог очаровать даже хладнокровных большевиков. А как элегантно обращался с женщинами!»

«Да,» подумал я, «это очень похоже на пана Ковалю, но кто знает, или это одна и та же личность. Мог существовать и другой похожий человек.

Однако я ошибался. Я понял это, когда Сенатор сообщил, что пан Коваль работал инспектором, поэтому мог свободно разъезжать по делам Организации, не вызывая подозрения. Наиболее меня поразило то, что Сенатор знал об Анне:

«Она была связной между подпольем Организации на российской территории и организацией, которая существовала на части территории Польши, теперь под немецкой оккупацией.

Всматриваясь вдаль своими голубыми глазами, словно пытаясь выдернуть мгновение из прошлого, Сенатор добавил: «Анна была единственной женщиной в организации и

одновременно любовницей пана Коваля... Интересно, где он теперь. Надеюсь, мы не встретимся с ним в Аушвице».

Как «стойк», Богдан любил себя так называть, он делал вид, что рассказ Сенатора ему безразличен, но на самом деле он был глубоко растроган. Устроившись на полу в углу камеры, мы пол дня размышляли о пане Ковале. Кто он на самом деле? Официально ― начальник бухгалтерии, позднее инспектор. Для меня он был опекуном, благодетелем, человеком, которого стоило наследовать. Для моих родителей ― почётным гостем. Отец Богдана был у него лучшим другом, а его мать оживлялась только при одном воспоминании его имени. «Иван, ― говорила она, ― настоящий джентльмен, он умнее всех моих знакомых мужчин». Для пани Шебець он был бабником, который, как она говорила, менял женщин чаще, чем носки. Правда ли, что под маской такого себе легкомысленного бабника, который, по мнению Сенатора, мог очаровать даже хладнокровных большевиков, прятался опытный заговорщик?

Я в этом не сомневался. Богдан не был уверен.

― Спросим пана Коваля, когда нас выпустят, ― сказал он.

― Выпустят? ― переспросил я. ― Неужели ты в самом деле веришь, что нас выпустят?

Наверно это прозвучало истерически, потому что я начал терять надежду на свободу. Моя единственная надежда была только на то, что нас куда-то перевезут, где я мог увидеть небо и дотронуться до земли.

Вместо ответа Богдан разразился кашлем, сухим кашлем, словно ему было тяжело выдавить из себя слова. Я понял его. Как и другие, мы часто говорили, что будем делать, когда «нас выпустят». Полковник, например, мечтал попробовать «золотые груши в мёде с каплей коньяка». Некоторые хотели просто борща или гуляша или блинчиков со сметаной. А у меня мечта была ― мамин ржаной хлеб с маслом и вкусным малиновым вареньем.

В этих кулинарных разговорах мы на мгновение забывали о тюрьме, и кормили наши желудки иллюзорными блюдами. «Наше освобождение» та иллюзорная еда были просто словами, необходимыми нам фантазиями, потому что не было иного выхода. Поэтому Богдан не ответил на мой вопрос. Он просто не моргающими глазами смотрел на мёртвый свет электрической лампочки. Я тоже окупился в молчание. Только когда в моём воображении промелькнул кусок ржаного хлеба с маслом и вареньем, я пошевелился. Глубоко вдохнул. Кислый воздух камеры, которую газовали несколько дней назад, раздирал мне ноздри и горло, душил меня.

МОЙ «НАПОЛЕОН»

Ветры подули в другую сторону. Уже две недели, как ежедневно двоих из нашей камеры вызывают на допрос. Первым был Министр. Когда он вышел из камеры, мы все оцепенели, ожидая его крики из камеры допросов, которая находилась этажом ниже. Но к своему большому удивлению, мы ничего не услышали. Вернувшись, он сказал, что его переводят в штаб гестапо на улице Поморской. Он сказал, что допрос был простой формальностью, ведь он признал своё длительное членство в организации и пребывание во Временном правительстве. Он должен был ответить на несколько очевидных вопросов и подписать какие-то бумаги. Он даже не прочитал эти бумаги ― хотел показать немцам, что гордится тем, что принадлежал к руководству ОУН, и не боится их.

Наше «правительство» единодушно решило, что мы должны «с гордостью» признавать своё членство в Организации и место в ней, иначе «немцы не будут нас серьёзно воспринимать». Мы с Богданом открыто не возражали, потому что нас бы считали предателями, однако втайне постановили не подчиняться этому решению. Задолго до начала допросов мы решили придерживаться предыдущей легенды: мы шли в Киев искать брата Богдана. Богдану это решение далось нелегко из-за его пламенной преданности Организации. Однако я как-то убедил его, что жизнь дороже преданности.

Через несколько недель Богдана вызвали на допрос. Как и других, его тоже отвезли в штаб гестапо. Его допрос, как он сказал, «прошёл гладко». Они морочились с ним свыше двух часов, но он стоял на своём. Моя очередь подошла через неделю. Меня последнего из нашей камеры направили в штаб гестапо.

Меня завели в небольшую комнату на втором этаже напротив лестницы. Зайдя в комнату я смутился, не зная чего ожидать. Все наши «сокамерники», которые «гордо признали» своё членство в ОУН, говорили, что допрос — это просто формальность, как и все те бумаги. Но со мной и Богданом было другое дело — мы решили всё отрицать. Поэтому Богдана и допрашивали два часа.

Гестаповец, который привёл меня сюда, приказал мне сесть на стул за деревянным столом. Но ещё до того как сесть, я заметил на том столе что-то похожее на пирожное. Не веря, я протёр глаза. Нет, это не игра воображения. Это был настоящий «Наполеон» в открытой бумажной коробке, рядом со стопкой аккуратно сложенных бумаг.

По другую сторону стола, за маленькой, сплюснутой пишущей машинкой сидел следователь — мужчина среднего возраста в гражданской одежде. Он читал какие-то документы, наверно, рапорт о моём допросе в Лонцьки. Что тут делает это пирожное? Его пухлый крем дразнил меня, отвлекал моё внимание. Что это — шутка? Я готовился к серьёзному допросу. Наконец мне удалось отвести взгляд от пирожного и осмотреться. Комната была больше, чем казалось сначала. В отличие от серой узкой комнаты для допросов с высоким потолком и тяжёлыми решётками в Лонцьки, эта комната больше была похожа на кабинет. На окнах даже не было решёток.

Гестаповец, который меня привёл, сел на стул сзади, левее. У него было измученное лицо и тщательно ухоженные, поредевшие, светлые волосы. В его глазах было что-то зловещее. Он наблюдал за моими движениями. Я ощущал на себе его взгляд, даже не глядя на него. Из-за этого я смутился ещё больше, чем из-за «Наполеона».

Следователь дочитал бумаги и положил их на стол рядом с пишущей машинкой. Безразлично, молча глянул на меня. Потом вынул из ящика стола ещё одну папку и начал её читать. Тем временем я взглядом пожирал «Наполеон».

Я вздрогнул, услышав суровый голос: «Когда ты присоединился к бандеровскому движению?!»

Имея на уме только «Наполеон», я был не готов к вопросу, но ответил:

— Я к нему никогда не принадлежал.

Не уверен, что мой ответ прозвучал убедительно, я делал всё что мог, чтобы думать о вопросах, а не о пирожном.

Он сверлил меня взглядом, словно пытался прочесть мои мысли.

— Ты один из тех, кто отрицает свою вину, потому что виноват. Такие всегда так поступают. Без исключений.

— Почему ты отпираешься? — повернулся он ко мне с папкой в руках. — Тут сказано: член бандеровского движения, задержан вместе с другими походными группами на окраине Киева, вблизи линии фронта.

Снова впился в меня взглядом.

— Ты отрицаешь, что был вблизи Киева?

— Нет, но я там был по иной причине.

— Забудь о других причинах, басни мне не нужны.

— Я был там с другом, с Богданом, он наверно вам говорил. Мы искали его брата. Я говорил об этом на допросе в Лонцьки, но они не поверили и приписали нас к бандеровцам. Разве Богдан не рассказал вам нашу историю?

Не следовало мне употреблять слово «история» — следователь криво улыбнулся и сердито крикнул:

— Ну-ну, какая там у тебя «история»?

Я рассказал ему то, что мы с Богданом столько раз повторяли. Его старшего брата арестовали за надругательство над статуей Сталина. Незадолго до войны его перевели из

Лонцьки в Киев. Мы хотели быть там, когда немецкие войска освободят Киев, чтобы найти его или его тело. Ведь россияне, обычно, перед отступлением, убивали заключённых. Так они поступили во Львове.

При воспоминании о теле брата Богдана я смутился, потому что вероятнее всего его с товарищем арестовали за наш с Богданом поступок. И в Киев их не переводили, а убили в Лонцьки, как и всех заключённых, перед отступлением российских войск. В газетах был снимок его тела на горе трупов. Нас с Богданом всё время мучила его смерть, но мы старались не говорить об этом.

Я надеялся, что следователь не заметит моего смущения, поэтому повторил:

— Мы находились недалеко от линии фронта, ждали, когда немецкая армия освободит Киев.

Кажется ему понравилось, что я назвал нападение немцев освобождением. В его глазах зажглись искорки. Изменив тему, он спросил:

— Сколько тебе лет?

— Во время ареста было пятнадцать с половиной.

— Ты ходил в школу?

— Да, в среднюю школу во Львове.

— Каким ты был учеником?

Я не собирался изображать из себя скромнягу:

— Одним из лучших.

Теперь я снова чувствовал себя уверенно. Не ожидая следующего вопроса, я рассказал, что хорошо знаю математику и физику, но больше всего люблю немецкую литературу, знаю на память стихи Гёте и Шиллера.

— Знаешь стихи Гёте и Шиллера... — сказал он задумчиво, и явно, заинтересованно. — Какие именно стихи Шиллера ты знаешь?

— «Рукавичку», — ответил я и начал декламировать.

Какое представление! Комнату заполнил мой глубокий голос. Я имел склонность к декламированию стихов. В школе меня часто просили читать стихи из-за моего голоса.

Я вёл рассказ о даме, которая кинула свою рукавичку в львиное логово и велела рыцарю доказать свою любовь — принести эту рукавичку. Он пошёл, доказал и отдал свою жизнь.

Оаций не было — когда я закончил, господствовала глубокая тишина. Я надеялся, что следователь отпустит меня. Собственно, я был уверен в этом, когда заметил, что он кивнул и подморгнул гестаповцу. Я думал, что это сигнал забрать меня в Монтелюпу. Впервые после ареста я гордился собой и был обязан этому своему таланту чтеца. Я уже почти встал со стула, чтобы идти, но подумав, решил подождать решения следователя.

Тем временем ко мне подошёл гестаповец. Остановился в пару шагах левее от меня. Я почувствовал на себе его взгляд. Я искоса взглянул на него. Он презрительно смотрел на меня. Наступила невыносимая тишина. Но вот он её нарушил. Говорил лукаво и ехидно.

— Ты врождённый вун! Встать, когда я с тобой разговариваю — заорал он.

Я вскочил на ноги.

Он так долго смотрел мне в глаза, что я аж задрожал.

— Богдан сознался! Почему ты отрицаешь?!

— Мне не в чем признаваться...

Он не дал мне окончить. Дал пощёчину по левой щеке, по правой, а потом врезал кулаком в лоб, почти свалив меня с ног.

— Что ты теперь скажешь? — выплюнул он, держа наготове руку для нового удара.

Я молчал, ещё растерянный от ударов, но к удивлению, осознающий, что должен и сопротивляться.

— Что скажешь? — снова спросил он. Он снова хотел меня ударить, но я

отклонился и закричал со всех сил:

«Мне не в чем признаваться! Я не виноват!

Сам себе удивляясь, я ожидал наихудшего. В тишине, которая охватила теперь комнату, я чувствовал быстрое биение своего сердца.

Следователь встал из-за стола и что-то сказал гестаповцу, я не понял что именно. Гестаповец вышел.

Следователь пригласил меня сесть. Углом рубашки я вытер кровь со лба. Перстень гестаповца рассек мне кожу над бровью.

Следователь, как мне показалось, сочувственно поглядел на меня. А может это было только игра моего воображения? Он расспрашивал меня о школе, о моей семье. Как называлась моя школа? Есть ли у меня братья и сёстры? Где жили мои родители? Чем они занимались? Спокойно записывая мои ответы, а потом сказал: «Попробуй Kreamschnitte» по-немецки «Наполеон».

БУКЕТ РОЗ

Октябрь 1942 года был не по сезону холодным. Сквозь щель в доске мы видели густые туманы над крышами, один раз даже игриво кружащиеся снежинки. Люди на вокзале были одеты по-зимнему. Нищий возле входа на вокзал был похож на кучу лохмотьев. Просиживать целый день на деревянном ящике, на холоде и сквозняках было нелегко, но я ему завидовал и с удовольствием бы присоединился к нему.

В нашей камере тоже было холодно, холоднее чем в прошлом году зимой. Тюрьму отапливали только один час утром. Некоторые допускали, что война продолжается до сих пор и немцам необходимы запасы топлива для армии. Однако, по крайней мере, нам разрешали пользоваться одеялами. Завёрнутые в них, мы были похожи на каких-то двухголовых чудовищ, потому что одно одеяло было на двоих. Из-за холода у нас было меньше лекций и больше физических упражнений. Мы ходили шеренгой: десять шагов вперёд, десять назад; больше нам не позволяли размеры камеры.

Недавно мы пережили ещё одно нашествие вшей. Наверно из-за холода их привлекало тепло наших тел. А может по другим причинам. Мы больше не получали дополнительную порцию хлеба, и поэтому не было стимула уничтожить их, как раньше. Нашу одежду чаще забирали в вошебойку, но вши, скорее всего, приобрели иммунитет. После каждой обработки одежды они разве что быстрее размножались.

К тому же, у нас появились «розы»; на груди некоторых из нас высыпали красные пятна, похожие на маленькие розы. Через два дня во время переклички старший в камере доложил надзирателю: «Камера № 59; пятьдесят четыре заключённых, присутствуют все, девять больных, не могут стоять в строю».

Сначала надзиратель начал подозревать их в симуляции, но увидев их груди, с озабоченным выражением лица ушёл прочь. Через несколько дней прибыла медицинская комиссия в составе четырёх докторов. В безупречно чистых офицерских мундирах, начищенных чёрных сапогах, они выглядели как опереточные персонажи. Чтобы случайно не заразиться, они расспрашивали о симптомах из коридора. Двух больных подвели к дверям. Вытянув шеи, доктора издали осматривали их.

Тем временем наш надзиратель стоял ко мне спиной около полушага впереди. Это был Франц, новый надзиратель, Volksdeutscher из Румынии. Несколько дней назад он дал затрещину нашему старшему за то, что тот заметил, что даже в тюрьме люди имеют лица, а не рыла; это слово надзиратель употреблял относительно нас. Тогда мне показалось, что Франц за это ещё дорого заплатит.

И вот, кажется, наступила подходящая минута. Во время «вшивого часа» я поймал две огромные вши; самца и самку. Я не убил их лишь потому, что хотел увидеть как они размножаются. Когда прибыла медкомиссия, я ещё держал их в руке. Глядя на спину Франца, я решил выпустить на него этих вшей. Сначала они вроде как растерялись, но скоро

исчезли у него под плащом. Я представил себе, как они залезут в его пах, будут заниматься любовью, потом проголодаются, вгрызутся в его светлую кожу и опьянеют от его крови. Интересно, подумал я, но вшам национальность безразлична.

Одного взгляда на лица членов медкомиссии было достаточно, чтобы понять, что это был не просто не просто недомогание. Приговор не задержался ― Fleckfieber, сыпной тиф ― болезнь, которую переносят вши.

В тот же день, после захода солнца, больных забрали из камеры. Всех волновал только один вопрос: куда их отправят?

Ночь тянулась, словно упрямый вол. Иногда наша камера была настоящей храповней. Сегодня не храпел никто ― пару раз пукнули, хриплое дыхание, стоны и всё. Обычно, такими бессонными ночами я путешествовал по миру, подальше от Монтелюпы. Я посещал хижину дяди Тома, вместе с Тарзаном искал приключения в джунглях, терялся с Верном в далёких экспедициях. Иногда я плавал по морям вместе с пиратами, хотя плохо чувствую себя на воде. Часто помогал маме по хозяйству или ходил с ней в Кропивник за малиной и орехами. Один раз я целую ночь раздумывал о Волке ― собаке деда, которая потерялась вблизи Киева, но за год нашла дорогу домой. Я шаг за шагом старался проследить сложный путь Волка.

Сегодня у меня не было настроения ночью путешествовать. Мне неплохо было и в камере. Меня как-то ничего не волновало ― ни электрическая лампочка, ни пустой желудок. Тело было вроде невесомым, но горячим. Мой взгляд был направлен на потолок, а перед глазами стояла фотография цвета сепии, на ней был я, двухлетний. Мама очень любила эту фотографию. Её сделали во Львове, во время посещения мамой пана Ковалья.

На ней я стою на высоком стуле, а глаза округлились от удивления, руки по швам, кулачки стиснуты, словно в них я держу какую-то тайну. Мама говорила, что дала мне свои серёжки, для того чтобы я стоял спокойно.

Мальчик на той фотографии цвета сепии удивлённо и благоговейно всматривался в меня, пока я не заснул. Утром я посмотрел на свою грудь ― там букетом роз расцвели красные пятна. Богдан расстегнул рубашку и мы сравнили наши розы ― его были больше и краснее.

На следующий день наш старший искал карандаш, который таинственно исчез у него, и там где мы мочились, обнаружил написанную на стене карандашом молитву. Все вокруг сгруппировались. Только мы с Богданом по-прежнему сидели. Мы знали эту молитву наизусть.

Отче наш,
создатель земли,
неба, тюрем и ада,
мужчины и женщины и вшей.
Проснись и посмотри,
что ты натворил.
То, что Ты создал,
понять может только Люцифер.
Пробудись от воскресной дрёмы и посмотри на свои преступные действия
вместо того,
чтобы наказывать нас.
Это твоё желание,
чтобы тиф и вши ели нас?
Почему ты назначил одних быть тюремщиками,
а других их пешками?
Наш всемогущий отец,
где Ты есть?
Почему не отзываешься?
Не стыдно ли тебе быть запанибрата с тюремщиками?
Мы не хотим много:
только хлеба и тепла,

а ты нам даёшь тиф и вшей.
Боже!
Приди к нам, вниз,
побудь в нашей келье один или два месяца.
Если не придёшь,
наш вывод будет:
Ты есть Люцифер в маске
Божества.

Букеты всё больше разрастался. В конце недели мои и Богдана груди были полностью покрыты точками. Они ни чесались, ни болели. Но тело бросало то в жар, то в холод, то морозило. Мне почему-то было всё равно. Мной овладели апатия и оцепенение.

Когда через несколько дней надзиратель сказал мне, Богдану и ещё четырём заключённым пойти за ним, я даже не задумывался, куда он нас поведёт. Просто пошёл...

МАДОННА-РАЗВРАТНИЦА

Мы вылезли из грузовика среди бараков, ограждённых колючей проволокой. После стольких месяцев в камере с забитыми окнами полная Луна и хрустящий снег казались ненастоящими. Нас завели в огромный барак — большое, квадратное помещение, тускло освещённое несколькими электрическими лампочками. Вдоль стены стояли узкие деревянные кровати.

Мне дали кровать рядом с каким-то бедолагой, замотанным с головой в одеяло. Когда надзиратель ушёл, я как животное, заброшенное в незнакомую местность, попробовал рассмотреть всё вокруг. Рассматривая комнату, я увидел Богдана — он лежал в другом конце барака, подобрав под себя одеяло. Остальные четверо из нашей группы укладывались в кровати по ту же сторону, где находился я.

Глянув на своего таинственного соседа, я заметил, что его тело безостановочно дрожит. Его одна нога так стучала по краю кровати, словно отдельно жила своей жизнью. Заинтересованный, кто это, я тихонько приоткрыл одеяло с его лица. «Степан!» — вскрикнул я. Это был наш «философ». Он не отвечал. Его впавшие глаза были открыты, но ничего не видели. Он был без сознания.

Степан был одним из тех девяти, которых первыми забрали из Монтелюпы, другие выглядели не лучше. Их пустые лица маячили из-под одеял, словно мёртвые маски. Их стоны сливались с какими-то странными непонятными звуками. На одном была смиренная рубашка. Внезапно он выдавил из себя бычий рёв, а его тело начало извиваться и подпрыгивать, стараясь освободиться.

Осматриваясь, я заметил на полу возле кроватей новоприбывших кружки с чем-то похожим на суп. Всунул туда палец и попробовал — настоящий ячменный суп. Схватил кружку и одним залпом выпил его, потом взял ещё одну. После небольшого перерыва начал пить третью, но не смог — был сыт по завязку. Подумав, взял ещё две кружки и поставил рядом на утро, а может и на ночь.

Но проснувшись, я и думать забыл о супе. Мой сосед Степан лежал, скрючившись как кот, обхватив голову руками, словно хотел оторвать её. Глаза обманывали меня — Богдан казался двухголовым. Около полудня меня охватила лихорадка, а когда она прекратилась, тело показалось мне чужим. Словно кто-то игрался со мной, накладывая вуаль на моё лицо, а затем снимая её. Какое-то мгновение я видел на потолке узел, а секундой позже у меня в глазах было только размытое пятно. Затем передо мной встал Степан, он заслонил узел на потолке. Когда мой взгляд прояснился, я увидел, что его лицо сведено судорогой, а глаза, как две глубокие пропасти. Руки с пальцами, похожими на звериные когти, протянулись к моей шее. Затем его тело опустилось на меня и скатилось вниз на пол.

Я очутился совсем в ином мире, где пространство и время имели другое измерение, где не действовала сила притяжения, где последовательность событий не имела значения, а

человеческий разум должен был подчиниться и уступить силам, которые творили всё на своё усмотрение.

Медики называют такое состояние «кризом» — состояние бреда, порог между жизнью и смертью. Вспоминаю только отдельные фрагменты.

...Летал голым над городом, над высоковольтными линиями электропередач. Нырять между ними, зацепил провод. Со мной ничего не произошло — просто я уже был не один. Нас стало двое — я и моё тело. Наблюдая за ним, я увидел, что оно помчалось и исчезло.

Однако вскоре моё тело вновь появилось. Я видел, как его хоронили глубоко в землю, в поле, рядом с железнодорожным полотном. Я смотрел на него из окна железнодорожного поезда, который остановился недалеко. Тело лежало на спине с открытыми глазами. Его кожа была бронзовой, сияющей. Вдруг поезд поехал, набирая бешенную скорость. Сошёл с рельс и как пуля, полетел.

Я мчался вместе с поездом. Однако какая-то сила тянула меня вниз. Я падал сквозь бездонные вихри и штормы с молниями, пока не приземлился на берегу океана. Там я лежал на влажном песке, а надо мной возвышалась огромная стена воды. Она росла. В ушах неистово звучала волшебная мелодия.

Нависшая надо мной стена мутной воды словно ожидала, чтобы перекатиться через меня. Я неподвижно лежал голым на мокром песке. Всё более высокие волны подкатывались ко мне и отступали. Песок горел... Вдруг появились два мраморных льва из Пороховой Башни. Они лежали рядом с моим телом, лизали его, целовали мои щёки, рычали на стену воды, готовую меня проглотить, и вынудили её отступить...

Наконец мне показалось, что я вижу что-то похожее на замёрзшее окно. Оно то появлялось, то исчезало, но в итоге осталось на месте. Это было настоящее окно — сквозь незамёрзший кружочек на стекле в помещение заглядывало солнце.

Неужели я живой? Я поверил в это, когда надзиратель протянул мне хлеб и кружку кофе.

Через неделю, меня вместе с ещё пятью вытурили из тёплых кроватей. Нас забирали назад в Монтелюпу. Богдан тоже должен был уйти с нами, но остался, потому что не пришёл в сознание. Я тоже был не против, чтобы остаться. Это был провизорочный госпиталь принудительного трудового лагеря — по крайней мере тут было тепло, а хлеба и супа давали почти вдвое больше, чем в Монтелюпе.

Однако уже в тюрьме, когда надзиратель открывал дверь, я ощутил чуть ли не удовлетворение, ведь возвращался «домой», к своим землякам.

Впрочем, войдя в камеру, моё настроение мгновенно изменилось.

Там стояла вонь от газа после дезинсекции, который обжигал мои ноздри, мешал дышать. Ряд бритых голов с бледными лицами уставились на нас, как на каких-то чудовищ, которые прибыли с кучкой вшей и только мечтают, чтобы заразить их.

Они завидовали нам, когда мы рассказали про условия в госпитале. Тут, говорили они, был ад. Когда нас забрали из Монтелюпы, был объявлен карантин. Он продолжался до вчерашнего вечера. Большинство времени они провели в других камерах, потому что эту беспрерывно обрабатывали газом, чтобы перебить зараженных вшей. Заболели не все. А из тех кто заболел, девять не выжило. Один, сойдя с ума от безжалостной горячки, разбил свою голову об стену. Полковник «мирно отошёл». Во время криза он встал и молился своей Мадонне, целовал её, пытался обнять, всё просил прощения. Следующим утром душа покинула его тело, распростёртое на полу перед Мадонной.

Изображение этой Мадонны Полковник выцарапал на стене куском стекла. В действительности она больше напоминала обнажённую Еву, чем святую Деву. Он постоянно подправлял её, пока она не приобрела слишком большие груди, широкие бёдра, а между ногами теперь чётко было видно проём. Наш старший в камере называл её «Святым Озером Женственности».

Эта Мадонна была причиной постоянных споров между Полковником и Сенатором,

потому что выцарапана была над их общим матрасом. Сенатору это изображение казалось вульгарным и похабным.

Сенатор выжил, но пребывал словно в ином мире. Когда я его приветствовал, он не узнал меня. Когда я спросил его, знал ли он пана Ковалья ещё в Вене, он отрубил мне: «Отойди, парень». Сказал что он занят ― пытается найти общий язык с волнами, которые разговаривали с ним на непонятном ему лексиконе.

Как нам сказали, наименее посчастливилось Роману. Ему перед арестом было двадцать с лишним, и он был обручён со своей одноклассницей из медицинской школы. Каким-то образом она узнала где он, и что в Монтелюпе тиф. Смогла передать суженому вакцину. Однако уже тогда он был зараженный. Вакцина усилила горячку и он умер в первые дни криза.

Последняя новость относилась к Францу, надзирателю, жестокому Volksdeutscher'a из Румынии. Его уже не было в живых и многих это радовало. У меня было двойное чувство, ведь это я подкинул ему пару вшей. Впрочем это было не время для пустых сентиментальностей... По Монтелюпе распространялся важный слух ― всех заключённых должны перевести в Аушвиц. Я радовался...

ОН ПРИСЛУШАЛСЯ К ЗВУКУ МОИХ ШАГОВ

Вши изменили в Монтелюпе всё. Больше не было ни руководителей, ни лекций, ни визуального контакта с окружающим миром. Щель в доске на окне забили, лишив нас радости видеть людей на вокзале, в частности моего «друга» ― нищего, который сидел левее от входа. Раньше я почти каждый день наблюдал за ним.

Часто по ночам с закрытыми глазами я видел себя рядом с ним, на свободе, наблюдая извне на забитые досками окна нашей камеры. С течением времени он стал для меня не просто нищим в лохмотьях или далёким знакомым ― он стал моим другом, наилучшим другом в Кракове. Теперь щели в доске нет, поэтому я его больше не увижу.

Изменилось также отношение надзирателей. Они стали не такими суровыми, какими были до тифа. Наверно, смерть Франца засвидетельствовала им, что вши сильнее тюремной власти. Ещё одной приятной новостью стала смерть бывшего повара, «членососа», как мы его прозвали. Раздавая суп, он своим любимцам наливал густой навар со дна, а другим давал сверху водянистую бурду. Для нового повара все были равны. Перед разливкой он размешивал суп.

Не изменился разве что наш старший, Профессор. Он был одним из немногих, кто не заболел тифом. Вёл себя, как всегда, методично. Теперь он был единственным, кто занимался физзарядкой. Нам говорил, что хочет быть физически здоровым перед переводом в Аушвиц.

Взглянув на двенадцать маленьких крестиков, выцарапанных на стене, я радовался что выжил. Но глядя вокруг на измученные лица, я не был уверен, что стоит жить. Это чувство усиливали крики заключённых на нижнем этаже. С тех пор как сняли карантин, в Монтелюпу начали привозить новых арестантов, поляков.

Всё происходила по тому же сценарию. Заключённого приводили в пустую комнату, вроде перенимаясь его судьбой; спрашивали за что его арестовали; он рассказывал обыкновенную историю: недоразумение, ошибочное опознание, несчастливое стечение обстоятельств. После того, когда он всё рассказал, думая что убедил их, они требовали «правды» и выбивали её кулаками.

Я похолодел, когда однажды после обеда в камеру вошёл надзиратель, а за ним ― два гестаповца. Тот что повыше, был похож на того, что допрашивал меня. Он вынул какой-то лист бумаги и прочитал из него пять имён, среди них и моё.

Нас отвели на первый этаж в келью, где был только стол, два стула и электролампочка на потолке. Скорее всего, это была комната для допросов. В этот раз я был уверен, что не выдержу побоев, сознаюсь ещё до того, как меня начнут допрашивать. Часы на стене

показывали пятнадцать часов пятнадцать минут.

Высокий гестаповец вынул кипу бумаг из своей папки. Он о чём-то посоветовался со своим коллегой. Я уже со всем смирился. Единственное, что было у меня на уме — это суп, который я не получу, если пропущу ужин. Когда называли наши фамилии, а мы должны были поднять руки для опознания.

Высокий встал. Барабанил пальцами по столу, он выглядел торжественно, словно судья, который собирается огласить решение о смертной казни. Приговор: «Вы освобождены, каждый должен подписать документы, что после возвращения домой, немедленно встанет на учёт в ближайшем полицейском отделении!»

Следующий обман? Мы переглянулись. Мне было всё равно. Я был готов подписать что угодно, даже липовое признание.

Вскоре после того, как мы поставили свои подписи, нас отвели в маленькую камеру без окон в другой стороне комнаты. Мы сидели на полу в объёмах тьмы, не зная что ожидать. «Ложь, — повторял я про себя. — Я подписал себе смертный приговор».

Когда через некоторое время открылись двери нашей темницы, мы вскочили на ноги. Два надзирателя приказали нам выйти и повели в камеру на верхнем этаже. Мы и представить себе не могли, что нас там ожидает на столе — груда одежды от Красного Креста. Каждому сказали взять себе по паре обуви и по пиджаку.

Вскоре мы были во дворе, и в сопровождении двух часовых направились к железным воротам. Один из них открыл боковую калитку.

«Идите!» — сухо сказал другой, словно наше отсутствие будет его волновать.

Поколебавшись минуту, мы быстро выскочили на улицу, как мыши из чудом открывшейся мышеловки.

Мы побежали вдоль стены к ближайшему перекрёстку и только там оглянулись, чтобы убедиться, что часовые нас не преследуют. Падал снег. Если бы не желание оказаться как можно дальше от Монтелюпы, я бы остановился и стоял бы, пока снег полностью не покроет моё лицо.

Улицы были пусты, но вскоре мы увидели трамвай. Водитель разрешил нам проехать бесплатно, когда узнал что мы из Монтелюпы. Нас удивлённо рассматривали пассажиры — наверно мы были похожи на стаю грязных облезших крыс. Вроде не веря нам, один из них стеснительно спросил нас: «Неужели в самом деле нас выпустили из Монтелюпы?» Водитель посоветовал нам обратиться в комитет Красного Креста за едой и ночлегом. Для этого нам надо было ехать с ним до железнодорожного вокзала, а затем пересесть в другой трамвай. Прибыв на железнодорожный вокзал, я не стал ожидать другого трамвая. Не сказав никому ни слова, я покинул своих и направился к входу на станцию. Вот он — нищий, — как всегда левее входа. Размытые контуры его пепельно-серой фигуры было видно издалека. Я махнул ему рукой, но он не ответил. Он не мог меня видеть, ведь я выходил из тьмы.

Я остановился в нескольких шагах от него. От резкого белого света фонаря над входом, тень вытертой шляпы густой паутиной обвила его морщинистое лицо, с наёжившейся густой щетиной. Его тёмные солнцезащитные очки прятали его глаза, как непроницаемые стены, словно говорили, что он не хочет иметь ничего общего с внешним миром. Одной рукой он придерживал небольшую цинковую кружку, стоящую у него на колене.

Смотрел прямо на меня, словно изучал.

Я поприветствовал его:

— Добрый вечер, пан!

Он вздрогнул от неожиданности. В кружке зазвенела монетка.

— Вы сказали «Добрый вечер, пан»? — он сделал ударение на слове «пан».

— Да, добрый вечер. Как поживаете? — сказал я.

— Господи, кто вы? Я вас не знаю, — он поставил кружку на землю. — Дайте-ка глянуть, — сказал он и протянул руки, пытаясь дотронуться до меня, но я стоял немного дальше. Его руки пролетели в воздухе, как крылья раненой птицы.

― Никто не называл меня раньше паном... Как же это? Вы ведь даже не знаете меня.

― Да нет, знаю, очень хорошо знаю. Я не раз видел вас.

Я подошёл ближе. Он сжал губы и как бы прищурил глаза, пытаясь вспомнить, видел ли он меня раньше.

― Так какого чёрта вы раньше не разговаривали со мной? ― сердито огрызнулся он.

― Я видел вас издалека, вон оттуда, ― ответил я, показывая рукой на часть Монтелюпы, которую было видно с места, на котором я находился.

― Вон там, правее, над крышами домов ― видите заколоченное окно на верхнем этаже?

― «Видите»? ― он прикусил нижнюю губу. Горько рассмеялся. Трясущимися руками снял солнцезащитные очки. Два пустых, тёмных углубления, как пустые гнёзда, вызывающе смотрели на меня, над одним из них не было брови. Я вздрогнул.

― Работа осколка большевистского снаряда во время Первой мировой войны, когда я боролся за независимость Польши, ― объяснил он, снова одевая очки.

― Мне очень жаль, ― сказал я. Неожиданно поражённый его слепотой, я не знал что сказать, поэтому ещё раз повторил «Мне очень жаль». Сразу почувствовал, что ему мои сожаления не нужны, что «мне жаль» касается скорее всего меня.

― Да ну, что вы! Мне не так уже и плохо, ― он словно пытался утешить меня. ― Живу в собственном мире, в себе, никому не принадлежу, ничего мне не принадлежит. Ничто не может мне навредить, ― смолк и выпрямил спину. Он сложил перед собой руки, кружку поставил на колени, при этом гордо держал голову. В стёклышках его очков мигали избращения проходящих мимо людей.

― Да, я потерял зрение, но могу видеть людей по их голосам. Ты ещё очень молодой парень, разве не так?

― Да, мне в апреле будет семнадцать.

― Судя по интонации ты нездешний. Что ты делаешь в Кракове?

― Собственно, ничего. Я год отсидел в Монтелюпе.

― Господи, в Монтелюпе ― той тюрьме на холме?

― Да, меня только час назад выпустили.

― Выпустили? Из Монтелюпы?... Час назад и ты пришёл ко мне...

― Да, я видел вас почти каждый день через дырку в доске, которой было заколочено окно в нашей камере. Вы единственный, кого я знаю в Кракове. Вы мой друг. Я должен был вас увидеть.

Он улыбнулся.

― Такого со мной ещё не было...никогда...ты пришёл увидиться со мной...

Мы оба замолчали. Воздух расколол протяжный свисток поезда, который прибывал на станцию. Женщины и мужчины с поклажей торопясь двинулись к нему, боясь опоздать.

Он двумя ладонями взял меня за руку. Долго держал её, словно это была его единственная связь с миром, который ему не судилось увидеть. Как часто я хотел быть рядом с ним! Быть им. Только теперь, когда он взял меня за руку, я почувствовал, что я уже не заключённый. Я свободен.

― Куда ты направляешься?

― Домой, во Львов.

― У тебя есть билет?

― Нет.

― А как ты собираешься попасть в поезд? У немцев с этим очень строго.

У меня так от свободы закрутилась голова, что я и не подумал об этом.

― Не знаю, попробую...― ответил я, переступая с ноги на ногу.

― Подожди...

Он долго возился с пуговицами своего пальто. Наблюдая, как он расстёгивает то

обшарпанное пальто, потом что-то похожее на полинявший военный мундир и наконец запускает руку под широченный свитер, я вдруг ощутил холод. Я не был одет по зимнему. Штаны и рубашка, нестиранные со дня ареста, прошли бесконечное количество дезинсекций против вшей и теперь были изношенными и заскорузлыми. Нижнее бельё давно уже съели вши. Впрочем я имел пиджак от Красного Креста. Я поднял его воротник и придерживал рукой.

После тщательных поисков он вытянул из-под свитера небольшой свёрток, завернутый в старую газету, а оттуда вынул маленький коричневый конверт. Немного покопавшись в конверте, он протянул мне две бумажки, которые оказались неизвестными мне деньгами.

— Вот тебе два горала — новая немецкая оккупационная валюта. Они не много стоят, но на билет хватит да ещё и останется.

Он затолкал деньги мне в ладонь.

Я поблагодарил. Мы пожали руки. В этот момент мне показалось, что я вижу его глаза, но это было просто отражение моих глаз в стёклах его очков. Я заторопился к кассе. Оглянувшись, увидел, как он прислушивается к удаляющимся звукам моих шагов...

Я ВИЖУ СОБСТВЕННОЕ ЛИЦО

Поезд местного сообщения не торопясь отошёл от Краковского вокзала, но затем набрал привычную скорость. Вскоре вагон наполнился парным теплом. Пассажиры, насколько я мог разобрать в полумраке, судя по их поклаже и одежде, были крестьянами, которые возвращались домой с базара.

Я сидел возле окна. Ритмичный стук колёс убаюкивал меня на сон. Я поплотнее запахнул пиджак, поднял воротник, наклонил набок голову. Какое наслаждение быть вне камеры, вне власти той вечно включенной электрической лампочки, которая висела надо мной днём и ночью. Незаметно я упал в объятия дрёмы.

Спал я долго, намного дольше, чем думал. Когда проснулся, уже светало. Поезд катился по заснеженным равнинам. Впереди виднелись контуры села и церкви. Недалеко от железнодорожного пути крутилась стая ворон, готовая к разбою.

Наш вагон не был переполненным, но все сидячие места были заняты, а один пассажир стоял, облокотившись на дверь. Почему-то все уставились на меня, даже когда я и не смотрел на них. Возможно из-за моего слишком большого пиджака или из-за бритой головы — я единственный в вагоне был одет не по-зимнему.

Крестьянка, которая сидела напротив, не сводила с меня глаз. Иногда раскрывала губы, словно хотела что-то сказать, но не осмеливалась. Наконец наклонилась ко мне и, прикрыв рот рукой, тихонько по-польски спросила:

— Ты только вышел?

Я знал, что она имеет ввиду — тюрьму.

— Да.

Отклонившись назад, она спросила:

— А куда направляешься?

— Домой, — ответил я. Но поняв, что это ей ничего не говорит, добавил: — Во Львов.

Она закивала головой, понимая, что у меня впереди длинная дорога, а потом неожиданно сказала:

— Ты наверно намного моложе, чем кажешься. Наверно ещё и двадцати нет. Подумав, добавила: — А откуда у тебя этот шрам на лбу?

Шрам? Я и забыл о нём. На самом деле я его никогда и не видел, только на ощупь знал, что он там есть. Ничего особенного.

Словно читая мои мысли, мужчина, который сидел рядом с моей собеседницей, вынул из кармана зеркальце и протянул мне.

Лицо, которое я там увидел, не принадлежало мне. Это было чужое, не моё лицо. Я

где-то видел его, но оно было не моим. Моё было похоже на мамино. А это — какое-то пустое, бледное. Оно словно состояло из отдельных частей: стеклянные глаза, худющие скулы, которые торчали как два кулака, длинный нос с конскими ноздрями, а на лбу над правой бровью — ярко-розовый шрам, небольшой, но довольно некрасивый на фоне моей пепельной кожи.

Я дотронулся до каждой части того лица. Снова посмотрел в зеркальце. Да, это моё несовершенно лицо, но, казалось, оно состояло из частей, которые еле держались вместе.

Я вернул зеркальце. Перед тем как положить его назад в карман, мужчина протёр его шарфиком женщины, словно хотел стереть с него моё изображение.

В это время женщина сидела с закрытыми глазами. Её губы слегка шевелились, словно в молитве. Мне понравилось её открытое лицо с ямочками на щеках, обрамлённое тёмными волосами. Раскрыв глаза, она спросила:

— Твоя мать знает, что ты приезжаешь?

— Нет, — ответил я.

— Нет?

— Нет... она даже не знает где я был всё это время.

Я не хотел продолжать этот разговор, потому как понял, что не смогу явиться на глаза маме в таком виде. Я поднял воротник пиджака и прислонился головой к косяку окна.

Когда проснулся, той пары уже не было. На коленях у меня лежал старый бумажный пакет с яблоком и двумя кусочками хлеба.

На следующей станции поезд резко свернул вправо и остановился на запасном пути. Воздух разрезал пронзительный свист и громоподобный рёв дизельного мотора. Больше часа мимо нас на восток мчались грузовые составы с танками и пушками. Затем ещё час, на запад, в Германию ехали поезда Красного Креста. Значит, война ещё продолжается. Один из них остановился напротив нашего. В окно я увидел вагоны, забитые ранеными солдатами с перевязанными головами, туловищами, руками. Один, который сидел возле окна, был забинтован от головы до пояса и был похож на мумию, которая задремала.

Для меня это было что-то новое. Немецкие солдаты, которых мы видели с Богданом около Киева перед нашим арестом, выглядели здоровыми и бодрыми. Тогда война была похожа на какую-то детскую игру. Теперь они зализывали раны. С тех пор, наверное, многое изменилось, хотя для меня мир был таким же, как и тогда, полтора года назад, когда я его оставил.

Когда воинские эшелоны прошли, поехал и наш поезд, останавливаясь на каждой станции, высаживая и принимая пассажиров. Тяжело пыхтя, выплёвывая, перед тем как тронуться, густые облака пара, он казался игрушкой по сравнению с дизельными поездами. Но он двигался и каждый раз, проезжая около семафора, выдавливал из себя короткий свист.

Наконец среди ночи мы прибыли во Львов.

Когда я вышел из вагона, моё тело пронзил колючий холод. Сипел пронзительный ветер, швырял в лицо снегом. С каждым вдохом я глотал горсть снежинок. Было позже, чем я думал, потому что трамваи выстроились на ночёвку. Дойдя до пересечения Городецкой и Железнодорожной, я посмотрел влево, надеясь увидеть собор св. Елизаветы, но там была только белая стена. Не задумываясь, я повернул направо, в сторону дома. Однако, вытирая с лица снег, опять вспомнил то, что видел в зеркальце. Остановился. Дальше не мог идти. Не мог таким появиться перед глазами пана Ковалю.

Развернулся, перешёл перекрёсток и направился к дому матери Богдана. Она жила отсюда в нескольких кварталах.

Было уже после полуночи, когда я стоял возле входа в её квартиру на втором этаже. Я колебался, стоит ли её беспокоить, но должен был это сделать. Несмотря на снег и ветер, я на улице не ощущал холода, а теперь, перед дверью, дрожал всем телом.

Постучал намного сильнее, чем хотел.

Поскольку из-за двери не слышалось никаких звуков, я постучал опять, но тише. Вскоре в замочной скважине появился свет.

— Пани Боцюркив, — сказал я. — Это я — Михаил. Друг Богдана.

Никакого ответа, только приглушённый кашель. Она была дома, но боялась ответить. Я бы тоже испугался, если бы ко мне среди ночи забарабанили в двери. У меня уже зубы лязгали от холода. На улице лютовал ветер. Я проговорил дрожащим голосом:

— Вы меня знаете, мы с Богданом часто играли у вас в шахматы. Меня опекал пан Коваль. Я имею весточку от Богдана.

Из-за двери послышался знакомый, с болью, женский голос:

— Весточка от Богдана? Он живой?

Увидев меня, она вскрикнула:

— Это ты Михаил? Что с тобой? Заходи. Господи, ты же совсем замёрз? Я приготовлю что-нибудь горячее.

Я КИНУЛ В ВОЗДУХ СНЕЖОК

В день моего прихода к пани Боцюркив всё началось с горячего чая и хлеба с маслом. Далее был куриный бульон, котлеты из картофеля с капустой, квашенная капуста с колбасой, гуляш, венский шницель, деруны. Через две недели моё лицо приобрело человеческий вид. Все мои старые, вонючие лохмотья, за исключением пиджака, были выброшены в мусорник. Пани Боцюркив дала мне одежду своего старшего сына, Игоря, который погиб в Лонцьки. Она мне говорила, чтобы я ещё выбросил пиджак, но он казался мне совсем новым, а кроме того мне нравилась его ткань. Из аналогичной ткани были пошиты костюмы пана Ковалья. Кроме того мне пришлось по душе шёлковая коричневая этикетка во внутреннем кармане. Там серебристыми буквами было написано «Made in the USA». Как этот пиджак попал из Штатов в Красный Крест, а затем в Монтелюпу, оставалось загадкой. Мне хотелось верить, что так определила судьба. Он был предназначен для меня. В нем был запрятан какой-то символ, который я ещё не мог разгадать.

Пани Боцюркив была просто клубком энергии. Теперь она проживала сама в четырёхкомнатной квартире и всё было на ней: она одна готовила еду и убирала квартиру своими руками. Она была небольшого роста, худая, с энергичными чёрными глазами и густыми, кучерявыми, местами седыми волосами до плеч. Сейчас в домашнем платье она почти не отличалась от изображения на фотографии, которая находилась у неё на полке. Там она выглядела более величаво — в шляпке с широкими полями, белой блузке со стоячим воротничком и длинной юбке.

Её интересовало всё, что относилось к Богдану. Я должен был описывать малейшие подробности про Лонцьки и Монтелюпу. Ей было известно, что Богдан присоединился к походным группам. Слыхала и то, что немцы их арестовывают. Так же говорили, что некоторые члены Временного правительства Бандеры сидят в Лонцьки, но она и подумать не могла, что там можем находиться и мы с Богданом. «Эти немцы, — сказала она, — мы ожидали, что они освободят нас от россиян, а они оказались сворой паскудников. Кто от них ожидал такого! А ещё европейцы! Ситуация на фронте ухудшается, и они становятся всё больше неприятными».

В её голосе не чувствовалось горечи, она уже привыкла к неожиданностям. Её мужа адвоката убили польские экстремисты, старшего сына замучили россияне, а Богдан до сих пор в немецкой тюрьме. Я старался убедить её, что имя Богдана было в списке шести освобождённых и вскоре он будет дома, ведь его осложнение после тифа было не очень серьёзным. Однако, когда пролетела третья неделя, а он ещё не появился, она начала переживать. Я тоже начал беспокоиться, поскольку не знал, насколько серьёзными были осложнения. Я только знал, что в тот день, когда зачитывали в госпитале список, Богдан даже не слышал своего имени, по моему он находился без сознания, в бреду. Когда я проходил около его кровати, он меня даже не заметил.

Мне было интересно, откуда у пани Боцюркив деньги на еду, ведь она не работала, а её

муж давно умер. Продовольственных карточек, которые получали не немцы раз в месяц, хватало только на четыре дня. Между тем она готовила вкусную еду и говорила, чтобы я наедался вволю, потому что «мне нужна сила, чтобы начать новую жизнь».

Оказалось, что она продаёт старые вещи на чёрном рынке. Она брала одежду и обувь, куча которой была на чердаке, и относила их на Краковскую площадь. За старые вещи, говорила она, можно хорошо выручить, потому что для не немцев магазинов не было и ничего нового купить было невозможно.

Один раз она заболела и я согласился пойти продать пальто и туфли её давно умершего отца. Мне просто хотелось выйти из дома и увидеть город, ведь до сих пор я был на улице только несколько раз; убирал снег с тротуара.

На улице мои лёгкие наполнил февральский морозный воздух. Я остановился, глубоко вдохнул, сделал снежок и бросил его в воздух. Пройдя через парк возле собора св. Юра и спустившись вниз по Городецкой, я вскоре был на чёрном рынке за Оперным театром.

Как и когда-то, площадь была запружена людьми. Закутанные крестьяне продавали хлеб, масло и мясо. Горожане торговали одеждой, сигаретами, водкой и обувью. Были там и торговцы товарами сомнительного происхождения, старцы, картёжники, гармонисты. Их пронзительные мелодии согревали толпу. Мошенники и праведники, умные и легкомысленные находили общий язык. А для воров эта площадь была настоящим Клондайком. Не было разве что глотателей огня, медведей-танцоров, цыганок-гадалок и евреев. Но кругом шатались молодчики в чёрной одежде, похожей на дешёвую униформу. Я узнал, что это немецкая вспомогательная полиция; украинцы и поляки, которых называли «чёрные». Они продавали часы, фотоаппараты, золото; предметы, которые, как мне сказали, были конфискованы у евреев.

Пани Боцюркив была рада, что мне удалось продать пальто и туфли дороже, чем она думала. Когда я отдавал ей деньги, послышался стук в двери. «Это он!»; крикнула она и стремглав кинулась к дверям, выпустив на пол деньги. И на самом деле это был «он»; Богдан, или, скорее то, что от него осталось. Лёгкая улыбка коснулась его губ, когда его обняла мать. Она целовала его глаза, щёки, лоб, а потом, смотря на его измученное лицо, ласкала его обоими руками, как самое ценное в мире сокровище.

У меня на глаза навернулись слёзы, когда я увидел Богдана в объятиях его мамы. Но я бы не хотел, чтобы моя мама видела меня в таком виде. Конечно, она радовалась бы, каким бы я не пришёл, только бы живым, но могла сожалеть, что выпустила меня в «мир, чтобы стать мужчиной», как она говорила, впервые провожая меня поездом во Львов. Мир, о котором она думала, отличался от того, в котором я жил.

В это мгновение я представил маму с соседками на вечёрках в большой комнате. В нашем селе был обычай; зимними вечерами женщины собирались и вместе пряли. Мужья при этом не присутствовали, а мы, дети, блаженствовали. Женщины, каждая держа свою кудель, сидели вокруг тёплой печки, моя мать посередине, и пряли.

Они пряли при тусклом свете керосиновой лампы и пели. Печальные песни они пел так, что за душу брало, радостные; весело, но не громко. Когда мне было лет шесть-семь, мне запала в душу песня о сиротке, над которой издевалась мачеха, а потом прилетели ангелы и забрали её на небо к маме. Я представил себе, как эта сиротка летит рядом с двумя ангелами и исчезает на небесах. Я радовался за неё и был счастлив, что моя мама; рядом. Я наслаждался, глядя, как она сидит на лавке, прислонившись к печи спиной, прядёт нить, вращая веретено, и поёт. Её голос сливался с голосами других женщин в мелодии печали и радости, любви и жалости, ангельской нежности.

Вспоминая это, я был счастлив за Богдана и одновременно раздумывал, когда бы мне поехать к маме в Явору. Самое лучше, на Пасху. К тому времени отрастут мои волосы, спрятав следы Лонцьки и Монтелюпы.

Богдан медленно оживал. Сначала он только ел и спал. Через две недели он уже взялся за шахматы. Когда мы расставляли фигуры, он рассказывал о событиях после моего отъезда.

Оклемавшись в госпитале, он с удивлением узнал, что меня освободили и его имя тоже

было в списке освобождённых. Вернувшись в Монтелюпу, он увидел в нашей камере новых заключённых, обвиняемых в причастности к АК ³¹ ― польской подпольной организации. Наших накануне через несколько дней перевели в Аушвиц. Единственное, что осталось в камере от нас на память, ― это Мадонна Полковника. Её привлекательные формы не могли пройти мимо внимания новых заключённых.

Как и меня, в один прекрасный день его вызвали на первый этаж, в комнату для допросов, чтобы подписать документ, что по прибытию во Львов он сразу регистрируется в местном отделении полиции. Выйдя из Монтелюпы, он нашёл Комитет Красного Креста. Там ему дали зимнюю одежду, еду и деньги на билет.

Как-то Богдан спросил меня о Сенаторе. Мы рассмеялись, вспомнив свои безуспешные попытки рассмотреть его таинственный «женский орган». Как немало и других удивительных историй человечества, тот «женский орган» стал феноменом, разгадку которого знают разве что вши.

БУСЫ ИЗ КОРАЛЛОВ

Занимаясь стиркой, пани Боцюркив попросила меня пойти на чердак и поискать там что-нибудь на продажу. Перебирая там хлам, я увидел коробочку с различными безделушками. Среди них были коралловые бусы. Пани Боцюркив попросила меня их продать.

За квартал от Краковской площади я увидел, что народ разбегается кто куда. Не зная что случилось, я спросил про это у женщины, которая стояла на пороге дома напротив Оперного.

― Ничего особенного, просто lapanka,³² ― ответила она на польском языке. ― Скоро всё окончится.

Пани Боцюркив предупреждала меня об этом, когда я первый раз пошёл на Краковскую. Она говорила, что немецкая полиция с помощью «чёрных» время от времени делает налёты на площадь и конфисковывает самые лучшие товары, в частности водку и сигареты. Цена водки была выше чем масла и сахара. После этого ограбленный базар оставляли в покое, а некоторые конфискованные товары к утру снова появлялись в продаже.

Теперь я видел это всё собственными глазами. Вскоре люди начали возвращаться. Женщина, с которой я разговаривал, сказала: «Ну, теперь безопасно». Я пошёл с ней на площадь.

Ей по всей видимости, было лет тридцать, хотя её лицо говорило о более зрелой женщине. Теперь чёрный свитер под шею облегал её тело, а красная юбка до колен подчёркивала её тонкую талию и пышные бёдра. Она чем-то напоминала мне блондинку из Лонцьки, хотя её волосы были темнее, а обувь была коричневой на высоких каблуках. Блондинка же носила сапоги для верховой езды, а светлые волосы опускались ей на плечи.

Когда мы пришли на площадь, она спросила: «Что ты продаёшь? Что-то не вижу, чтобы ты что-то нёс».

Она ничего и не могла видеть, я же положил кораллы в нагрудный карман. Пани Боцюркив говорила, чтобы я держал их при себе и показывал только женщинам, потому что вокруг много воров, которые могут просто выхватить из рук и исчезнуть в толпе. Я вытянул свой товар.

― Кораллы! ― вскрикнула она. ― Гадалка говорила, что кораллы принесут мне счастье.

³¹ Армия Крайова ― национальная польская партизанская организация, которая действовала с 1942 по 1945 гг. на территории оккупированной Германией Польши (прим. ― Ред .)

³² Облава(пол.)

Не успел я и промолвить слово, как она уже примеряла их. Потом вынула из сумочки зеркальце и давай любоваться собой. Лицо её засияло. Кораллы сделали его нежнее, как будто целомудреннее.

— Сколько ты за них хочешь?

— А сколько дадите?

Она полезла в кошелек и вынула горсть банкнот.

— Хватит? — спросила она.

Я пересчитал. Там было вдвое больше, чем просила пани Боцюркив.

Я поблагодарил и хотел было уходить, как она сказала:

— Мне может понадобится такой юноша, как ты. Как тебя зовут?

— Михаил, а вас?

— Стася, — сказала она и протянула для пожатия руку. — Пошли со мной, покажу что ты сможешь сделать для меня.

Эта просьба вызвала у меня подозрение, но я всё-таки пошёл. Она жила на первом этаже дома, на пороге которого я её встретил. Миновав небольшой коридор, мы зашли направо в комнату.

Комната имела аскетический, но опрятный, почти изысканный вид.

Левее стола находилась широкая софа, рядом с ней низенький столик, а на нём — пепельница, две рюмки и бутылка водки. Левее — умывальник и полотенце. Возле стены — большой шкаф.

Я не поверил своим глазам, когда она открыла шкаф. Его полки были забиты сигаретами и бутылками водки.

— Думаю, я тебе могу доверять. Я хочу, чтобы ты продавал для меня сигареты и водку. Я делала это сама, но сейчас у меня другие проблемы.

Я был ошарашенный, но принял её предложение. У меня было ощущение, что ей можно доверять.

Стася была проституткой. Она знала себе цену — принимала «не больше одного клиента в день». Брала бутылку водки и двенадцать пачек сигарет за «обычную» работу. «Необычной» не занималась. Она гордилась «наилучшими клиентами» — «чёрными» и немцами. «Чёрные» самые щедрые, говорила она. Деньги им легко даются — от евреев и за конфискованные товары. Они любят расплачиваться сигаретами и водкой.

В тот же день я начал работать. Стася установила свою цену, а всё сверх неё было моим. Пани Боцюркив была чрезвычайно удивлена, когда я в тот день принёс вдвое больше денег и кроме того хлеб, масло и мясо.

На чёрном рынке я был как рыба в воде. Я продавал товар быстрее, чем Стася его зарабатывала.

Тем временем Богдан выздоровел и решил вернуться в школу. Мне такое даже в голову не приходило. Чего ещё — сидеть пять часов, вытаращившись на доску. К тому же, в нашей школе немцы устроили госпиталь. Над ней развевались флаги Красного Креста. Единственная в городе школа находилась теперь в каком-то захламлённом здании, у чёрта на куличках.

Оккупационную власть интересовали только наши мускулы. Нашим историческим призванием, по их мнению, было работать, а при необходимости, и воевать за немцев. С конца февраля распространялись слухи, что после разгромного поражения под Сталинградом немцы думают о создании украинской дивизии для участия в боях против россиян.

Богдан считал, что хорошо иметь свою вооружённую дивизию. Если российско-немецкое противостояние зайдёт в тупик, мы могли бы выступить посредниками. Я думал не так. После интернирования Временного бандеровского правительства немцы распустили «Нахтигаль». Чтобы избежать ареста, большинство его членов взяли стрелковое оружие и ушли в леса. Сначала их единственной целью было выжить, а в конце прошлого лета, говорят, они начали объединяться в Украинскую Повстанческую Армию. На сегодняшний день УПА сравнительно небольшая, но чем больше немцы хотят вывезти

молодёжи в лагеря принудительных работ, тем большими становятся партизанские отряды.

Перспектива «уйти в лес» была мне по душе, особенно после того, как я встретил бывшего одноклассника. Он был рекрутом УПА. Наиболее меня привлекало, что они боролись против немцев и россиян. Однако до середины лета нечего было и думать о вступлении в ряды УПА. Самой главной задачей для меня сейчас было получить Ausweis – идентификационную карточку. Если меня загребут при облаве, она, конечно, от трудового лагеря не спасёт, но без неё меня ожидает судьба цыгана или еврея. Так же было и в период российской оккупации – без паспорта человека ожидала Сибирь.

Однажды, когда я пришёл к Стасе отдать деньги за проданные сигареты, она пригласила меня сесть и предложила рюмку водки. Мы выпили «за наше здоровья» и вели беседу о чёрном рынке. Она спросила о моём возрасте и не могла поверить, что мне только восемнадцать, ей казалось, что мне за двадцать.

Ausweis. Покаж-ка свой Ausweis, – вдруг сказала она.

Растерявшись, я хлебнул немного водки.

– Покажи, – настаивала она.

Если бы не хмель, я бы мог сказать, что оставил Ausweis дома, в другом пиджаке, или придумать другую басню. Но на пьяную голову я рассказал ей о сложившейся ситуации. Неуверенный в её дальнейших действиях, я изучал её лицо, когда она вдруг промолвила:

– А я заметила, что с тобой что-то не то – ты как-то странно вёл себя, когда приближался немецкий патруль, – но не могла понять, в чём дело.

Она была наблюдателем человеком. В Монтелюпе я должен был стоять по стойке «смирно» и кричать «Achtung», когда в нашу камеру входил надзиратель. Видя на улице немца в форме, я автоматически становился «смирно». Понял я это совсем недавно.

Она внимательно посмотрела на меня, словно раздумывая, что делать.

– И что ты будешь делать, когда тебя поймут и загонят в вагон для скота в Германию?

Я не знал, что ответить.

Она подняла рюмку, встала, подошла ко мне ближе. Её левая рука ласкала кораллы.

Только теперь я заметил, какие острые у неё глаза. Она читала людей, как раскрытую книгу, ей для этого не надо было выбивать правду. Казалось, что она уже что-то придумала, но пока не полностью уверена. Однако вскоре на её лице появилась хитрая улыбка.

– Я тебе помогу, – сказала она. – Начальник вспомогательной милиции – мой друг, он еженедельно навещает меня, когда его жена идёт в церковь. Принеси мне свою фотокарточку и данные – сам знаешь, какие.

Мы выпили ещё по чарке – на этот раз до дна.

Через две недели я уже имел Ausweis, который был выдан немецкой оккупационной властью. Новая дата моего рождения сделала меня на четыре года старше. Я это сделал, чтобы удовлетворить Стасю.

«Я думаю, что половиной наших действий руководит судьба, но вторую половину она позволяет контролировать нам самим»

Николо Макиавелли

«Молчите, мадам! Не думайте, что какое-то там призрачное звание матери даёт вам право надо мной. Разрешить оттрахать себя, чтобы произвести меня на этот свет – в моих глазах не велика заслуга».

Де Бресак в La Nouvelle Justine маркиза де Сада

ТОЛЬКО ДЛЯ НЕМЦЕВ

Трамвай № 4 подпрыгивал по знакомой вымощенной булыжником улице, окаймлённой пока безлистными каштанами. Когда-то я иногда ездил четвёркой в школу, если опаздывал или когда была плохая погода. Сейчас начиналась весна, день был солнечным, и я ехал в противоположном направлении на улицу Задвирнянську, 105, к пану Ковалю. Я стоял в конце наполненного трамвая. Некоторые пассажиры стояли на ступеньках открытых дверей, держась за поручни, чтобы не выпасть. Однако спереди трамвай был полупустой. Там висело объявление «Nur Für Deutsche» ― только для немцев.

Таких табличек в городе было очень много. Рестораны, кинотеатры, кафе, вагоны первого класса, залы ожидания на вокзалах, Оперный театр ― были тоже только для немцев. Для нас были доступны разве что грязные, мерзкие заведения и обгаженные общественные туалеты.

Большинство пассажиров моего отсека вышли раньше меня. Я представлял, как удивится пан Коваль, увидев меня. Прошло три месяца, как я вернулся из Монтелюпы. Отрасли волосы, а лицо стало гладким и румяным. Пан Коваль был рассудительным человеком, поэтому я был уверен, что он не будет меня упрекать в том, что я присоединился к походным группам полтора года назад. Это мне в нём нравилось. Я никогда не слышал, чтобы он оплакивал прошлое. Он жил сегодняшним днём. А после того, как Сенатор рассказал мне, что пан Коваль занимал высокую должность в организации, я начал лучше понимать, почему мелочи, которыми перенимается большинство людей, его не волновали.

Вот и дом пани Шебець. Для меня это дом, для неё ― это вилла. Описывая кому-нибудь его, она всегда говорила «вилла начала столетия». С обеих сторон его окружали кусты сирени, которая начала распускаться.

Я открыл металлическую калитку и вошёл. Перед тем как постучать в дверь веранды, я посмотрел на свои часы Tissot, которые недавно купил на чёрном рынке. Было около семи с небольшим часов вечера ― как раз время для посещения. Я подумал, что пан Коваль как раз закончил ужинать, а пани Шебець моет посуду на кухне. Так я смогу избежать её и сразу встречу с паном Ковалем.

Я постучал и подождал.

Наверно слишком тихо. Постучал сильнее. Никакого результата. Потрогал за ручку ― закрыто. Постучал снова. Подождал. Начал неуверенно себя чувствовать, но желания уйти не было. Что они ― оглохли? А может они вдвоём в кровати?

Наконец я увидел пани Шебець ― она выглядывала из кухни. Узнала меня.

― Добрый вечер, пани Шебець.

― Что за неожиданность. Неплохо выглядишь и прилично одет. Где ты пропадал всё это время?

С тех пор, когда я её видел, она сильно постарела. Лицо было такое же безликое, как и волосы. В руках было кухонное полотенце. Я пропустил вопрос мимо ушей, потому что знал, что это или дань вежливости, или ей просто не с кем было почесать языком.

― Поговорим завтра, пани Шебець, а сейчас я хочу увидеться с паном Ковалем, ― ответил я и постучал в его дверь. Тишина. Хотел ещё постучать, но услышал голос пани Шебець:

― Твоего отца нет.

Может мне послышалось.

― Что вы сказали, пани Шебець?

― Говорю, что твоего отца нет.

Она что, с ума сошла? Мой отец умер три года назад, и она об этом знала.

― Где пан Коваль? ― резко спросил я.

― Пана Ковалья, то есть твоего отца, уже давно нет, ― ответила она.

― Хватит пани Шебець, я не имею настроения шутить.

Равнодушие пана Ковалья к любовным чувствам пани Шебець, так оказало на неё влияние, что она выдумала какую-то басню, почему он не может на ней жениться. Мне всегда казалось, что она считает виноватым меня в том, что пан Коваль не хочет брать её в

жёны.

Словно не веря, пани Шебець пристально взглянула на меня увеличенными через пенсне глазами.

— Разве ты не знал? — сказала он с нотками жалости ко мне.

— Чего не знал? — отрубил я.

— Что он твой отец. Все знали, что ты — его сын.

— Я? Вы что... Неужели? Пан Коваль — мой отец? Но...

Я не окончил предложение. Я хотел сказать: «Но мне бы рассказала мама», — но одновременно меня взяли сомнения.

— У меня есть ключи от его квартиры, можешь жить там, сколько угодно. Твоя кровать такая же, как и всегда. Твой отец был уверен, что однажды ты вернёшься.

— Нет, спасибо, я не останусь.

— Разве тебе не интересно, куда делся твой отец?

— Мой отец умер три года назад, и вы это знаете, пани Шебець.

С этим я и ушёл прочь.

Я не хотел ей верить. Такая возможность была бы очень обидной и противоречивой. Если это правда, то все мои близкие выдавали себя за других. Тогда надо пересмотреть все родственные связи. К тому же, признать это — означает признать ложь, предательство. Поэтому я решил придерживаться старого — моего отца звали Андреем, и он умер три года назад.

Я хотел пойти в кино, но оба пристойных кинотеатра, где демонстрировались интересные ленты, были «Nur F&r Deutsche». Для не немцев был только один на город кинотеатр и в нём шёл пропагандистский фильм «Jud Suss»,³³ который я уже видел.

Поэтому я пошёл к Богдану играть в шахматы. Обычно наши игры были корректными и спокойными. Мы любили перипетии игры, неожиданные ходы, молниеносные повороты фортуны, самые сложные и самые простые дебюты и эндшпили. Ведь суть была не только в победе. В этот день я видел в своём товарище настоящего соперника и стремился к одному — к победе.

Я был сердит на пани Шебець за её, как мне казалось, придуманную историю, но спустя неделю я опять пошёл проведать её. Я должен был узнать правду, потому что если пан Коваль действительно мой отец, то и я не тот, кем я есть. Я — другая личность.

Я напрямую спросил её:

— Вы это серьёзно?

— Что серьёзно? — она делала вид, словно не понимает, о чём речь, вынуждая меня всё растолковать.

— Что пан Коваль — мой отец.

— А разве я тебе не говорила? Если не веришь мне, спроси у матери. — Посмеиваясь, она добавила: — Твоя мать должна бы это знать, — словно намекая, что мать, которая не говорит сыну, кто его отец, совсем некудышняя.

Не было смысла продолжать. Надо было спросить маму. Я повернулся, чтобы уйти, но пани Шебець очень хотела удержать меня.

— Ты действительно не хочешь знать, что произошло с твоим отцом?

Я заколебался. Эти слова «твой отец» раздражали меня, но я сдался. Она прикурила окурочку и пригласила меня сесть напротив неё за кухонный стол, на котором находилась гора грязной посуды.

— Где ты так долго был? — спросила она, и не ожидая ответа, продолжила: — Как тебе известно, твой отец приветствовал приход немецкой армии. И кто бы с ним не согласился после тех московских варваров...? Никому и на ум не пришло бы, что немцы видят в нашем государстве только колонию... Они отправили членов Временного

³³ Еврей-скитальцы (нем.)

правительства Бандеры в лагерь, а сами создали Украинский вспомогательный комитет, который, как они надеялись...

Она замолчала на полуслове. Её внимание привлекли мои начищенные ботинки и коричневый вельветовый пиджак. Наверно её интересовало, откуда у меня на них деньги. Перед тем, как продолжить, она тщательно измерила меня взглядом.

«Как я говорила, немцы хотели, чтобы Комитет плясал под их дудку как Judenrat. Может ты читал об этом, но, скорее всего, ты не интересуешься этими вопросами, судя по твоему виду, тебя больше волнуют девушки, ну точно как твоего папочку, яблоко от яблони недалеко падает.

Она почувствовала насколько гадкими показались мне её слова.

«Не пойми меня неправильно» всех ребят интересуют девушки. Я вела к тому, что твой отец оказался большой шишкой в том комитете. Как я была удивлена, когда узнала об этом! Этот бабник, подумала я, добился высокого положения.

Она вздохнула и печально посмотрела на стену, которая отделяла её комнату от спальни пана Коваля. Наконец продолжила:

«Однако что-то там пошло не так. Наверно он навредил немцам. Как-то прошлогодней осенью неизвестно откуда появилась эта вертихвостка Анна. Я думала, что у этого пожилого бабника с ней свидание. Но вскоре после её прихода я увидела, что они куда-то поспешно собрались и исчезли. Он взял старый военный вещмешок, чем-то набил его до верху. Я удивилась: куда это он собрался.

Пани Шебець снова замолчала, и поправив пенсне, которое сползло ей на нос, резко, с ехидцей, сказала:

«Это я в последний раз видела этого босяка. На следующий день за ним пришли гестаповцы. Они обыскали весь дом, даже подвал. Говорят, что твой отец был бандеровцем. У него было задание проникнуть в Комитет с целью получения информации.

«Куда он мог податься?» спросил я.

«Кто его знает... Может, в лес... в партизаны. Куда ему ещё идти? Много молодёжи отдаёт предпочтение лесу перед принудительными работами для Рейха. Мне удивительно, почему ты до сих пор тут... Но твой отец..? Когда —нибудь они возьмут его или живым или мёртвым... Бедняга... вот если бы он на мне женился...

Она не окончила предложение. Из-под пенсне скатилась слеза. Она рукой вытерла её и, подумав, добавила: «Только Господь Бог знал сколько он имел тайных жизней».

«Я иду с уверенностью лунатика дорогой, проложенной Судьбой»

Гитлер 1936

«Поставить вопрос о существовании Бога в Сталинграде означало отрицать его... Я искал Бога в каждой воронке, разрушенном доме, на каждом перекрёстке, в каждом товарище, в своей норе, в небесах. Бог не появился, хотя моё сердце звало его».

«Мы совсем одни. Никакой помощи. Гитлер бросил нас на произвол судьбы. Если аэродром ещё в наших руках, это письмо отошлют... Вы прочитаете его, когда Сталинград падёт. И будете знать, что я не вернусь».

Отрывки из писем немецких солдат из-под Сталинграда.

МИРАЖ БАРБАРОССЫ

В течении года после начала войны казалось, что «дорога, проложенная Судьбой», неизбежно приведёт немцев к победе. Мечта фюрера, вдохновлённого Барбароссой,

восстановить империю и превратить Восточную Европу аж до Уральских гор в колонию, казалась уже почти действительностью. В руках немцев была вся Украина. На севере немецкая армия приближалась к Москве, а на юге — к Сталинграду, по пути на Кавказ. Но, как поговаривал пан Коваль, человек стреляет, а пули носит Бог. В конце 1942 года военная фортуна отвернулась от немцев. Blitzkrieg застрял в грязи и снегах. «Генерал Зима» оказался сильнее, чем современные военные технологии. Окружённая в Сталинграде, вынужденная замерзнуть в скрипящих морозах и биться вручную, седьмая немецкая армия в конце января 1943 года сдалась — около 100 тысяч солдат было взято в плен.

Через четыре месяца немцы сделали попытку вернуть себе утраченные территории. Эта рубка вошла в анналы истории как самая великая битва Второй мировой войны. Говорят, в ней участвовало около двух миллионов солдат, 6000 танков, 4000 единиц авиатехники. Немецкой армии не удалось прорваться вперёд. «Операция Барбаросса» оказалась призраком. Глядя из своей могилы, опьянённый первоначальными победами Гитлера, император Барбаросса не мог отойти от своего похмелья.

Ситуация на оккупированных территориях тоже изменилась. Появилась самоуверенность. Поляки организовали повстанческую Армию Крайову, украинцы — УПА, партизанскую армию, еврейская организация подняла восстание в Варшавском гетто и целый месяц сражалась при крайне неблагоприятных условиях.

Немцы вели себя как раненый хищник. Местное население вынуждали присутствовать при публичных казнях. Чтобы запугать людей, мертвецов оставляли висеть сутки.

Мне посчастливилось — меня ни разу не загоняли смотреть на казнь. Но один раз, по дороге на чёрный рынок, из-за того что «чёрные» перекрыли другие улицы, мне пришлось пройти возле виселицы, на которой висели казнённые накануне люди. Виселица стояла в самой оживлённой части города, посреди главного проспекта, напротив Оперного. Афиша на дверях театра анонсировала новый спектакль «Fledermaus», а на табличке внизу было написано «Nur für Deutsche».

Я не поднимал глаз от тротуара — не хотел смотреть на виселицу, потому что помнил, как страшно выглядел мужчина, который повесился в Яворе. Это произошло за год перед моим отъездом во Львов. Как и другие дети, я пас в лесу коров. Однажды мы играли в прятки между сосен, скал, кустов. Вдруг слышали, как один ребёнок закричал: «Эй, ребята! Человек висит на ели!» Это звучало как шутка, но там действительно был висельник. Оказалось, что это сельский казначей, который присвоил себе какие-то деньги. Не выдержав позора, он боялся появиться общине на глаза. С тех пор мы избегали ходить в ту часть леса — как мы его называли — проклятой ложбиной.

Сейчас, чем ближе я подходил к виселице, тем чётче в моём представлении представал образ того мужчины с петлёй на шее, с распухшим языком, который торчал из его открытого рта. Я чуть не пошёл назад. Однако что-то принуждало меня идти дальше.

Я не мог долго игнорировать виселицу. Остановился и посмотрел прямо на неё. На верёвках, привязанных к грубой горизонтальной балке, которая лежала на двух крепких высоких столбах, висело десять тел. Среди них была одна женщина. Петля крепко обхватила её шею, голова была наклонена вбок, словно, чтобы не видеть изувеченного лица соседа. Её густая чёрная коса ниспадала через правое плечо, касаясь верёвки, которой были связаны её руки. Её ноги в чёрных чулках были скрещены, словно отдыхали от длительного путешествия. Глаза её были закрыты.

Я думал, кто она, и что ощущала, когда ей на шею накидывали петлю. Когда-то, чтобы повесить женщину, она должна была быть ведьмой. Теперь достаточно было быть членом АК или ОУН, или просто быть арестованной во время облавы. Недавно появились объявления, в которых говорилось, что за каждого убитого немца будет повешено десять местных жителей.

Я уже три года не молился, но увидев ту женщину в петле, я ощутил желание помолиться за неё. Однако была ли в этом нужда? Она сама была, как страстная молитва, самое громкое взывание к небесам положить конец этому молчаливому безразличию.

В тот день я лёг поздно, но не мог долго заснуть. Это была моя первая ночь в комнате пана Коваля. Я лежал в его кровати, вдвое шире чем моя, в соседней комнате, и представлял себе череду женщин, которые прошли через эту спальню. Была ли моя мать только одной из них?

ОБРЕЗАНИЕ В САМБОРЕ

Образ этой повешенной женщины стоял у меня перед глазами ещё несколько дней. Не то, чтобы на повешенных мужчин приятнее смотреть. Хотя как это не кошунственно, но обычно на войне мужчины вешают мужчин. Но вид этой женщины вызвал у меня иную реакцию; у меня исчезло колебание уйти в подполье. Я окончательно решил в июне направиться «в лес».

Её лицо, превращённое смертью в замороженную маску с устами, раскрытыми, словно в мгновение молитвы, было со мной, когда я сидел в поезд на Львовском железнодорожном вокзале направляясь в Явору. Я ехал утренним субботним поездом, надеясь около полудня быть в Яворе. Завтра; Пасха. Какой неожиданностью для мамы будет встреча со мной после такой долгой разлуки.

Она не знала где я, чем занимаюсь, но я был уверен, что она ожидает меня каждую минуту. Я представил себе, как она замешивает тесто на паску. Мой нос даже ощущал соблазнительный запах муки с дрожжами, яйцами, маслом и изюмом.

В детстве я с открытым ртом наблюдал, как она всё это перемешивает в однородную массу, выкладывает тесто в круглую металлическую форму, а когда оно подойдёт, пучком гусиных перьев смазывает его сверху яичным желтком. Паска выходила из печи румяной, тёмно-коричневой, поблёскивая словно спелый каштан.

Локомотив двигался спокойно и размеренно, попыхивая, замедляя ход на переездах, останавливаясь на каждой станции. При такой скорости из Львова в Самбор мы должны прибыть через два часа. Там паровоз дозаправят водой, и ещё через два часа мы будем в Яворе.

Прошло почти три года с тех пор, когда я последний раз был в селе; летом перед смертью отца. Семь лет назад меня послали во Львов; «в свет», чтобы стать «мужчиной» и добиться лучшей жизни. Возвращаясь теперь я не знал, что ожидать, ведь я так изменился. Да и село не могло остаться таким, как когда-то. Россияне оставили на нём тяжёлый отпечаток, забрав у людей землю и загнав их вместе со скотом в колхозы. А теперь своё дело делали немцы.

Перед немецко-польской войной мои родители жили в «верхнем конце» Яворы. Село растянулось на несколько километров вдоль извилистой грунтовой дороги, которая протянулась параллельно к Яворку; речушки в широкой низине, окружённой двумя извилистыми горными хребтами. Две части села отличались только населением и историей.

Лет четырёхста назад, когда низина была заросшей клёнами и яворами, а в лесах водились волки и медведи, эти земли принадлежали некоему графу Яворскому. В начале XVI века эту часть земли завоевали поляки. Они не повесили графа, но вынудили его отдать часть земли. «Нижнюю» Явору в награду за службу отдали офицеру польского короля вместе с пленными солдатами, из которых он сделал крепостных. Он построил себе имение и начал властвовать. Через триста лет крепостное право ликвидировали, но чтобы выжить, бывшие крепостные и их наследники должны были работать за мизерную плату, не имея права выезда из села. Люди часто ходили в панский лес за дровами, за что их ожидало суровое наказание, если поймают лесник.

Жили они в хижинах с земляным полом, хаты были курные, потому что не за что было построить вытяжную трубу. «Верхние» яворчане называли их «холопами». Они имели собственную небольшую церквушку, а когда на улице встречали священника, подбегали к нему и целовали его руку.

Никогда не забуду историю, рассказанную в первом классе учителем, о злом польском

пане. Этот пан наказал сына крепостного за кражу нескольких яиц, закрыв на ночь в курятнике. На следующий день малыша обнаружили слепым ― петухи выклевали ему оба глаза. Мы с изумлением слушали этот рассказ, счастливые что живём в «верхней» Яворе, где крепостничества никогда не было.

Наследники графа Яворского были свободными людьми. Поляки презрительно называли их «лапотной шляхтой», намекая, что невзирая на своё благородное происхождение они были такими бедными, что не могли купить себе даже приличной обуви, и поэтому ходили в самодельных лаптях.

Они и в самом деле были небогатые, потому что с каждым поколением приходилось делить землю на всё более мелкие паи. Впрочем, перед Второй мировой войной каждое хозяйство имело достаточно земли чтобы прокормиться, кроме того были ещё общественные пастбища и лес. Когда женилась молодая пара, то чтобы облегчить начало их семейной жизни, община строила дом и хлев из древесины деревьев общинного леса.

Я хотел, чтобы поезд шёл быстрее, но он двигался не торопясь, словно пытаящая игрушка, весело посвистывая возле каждого семафора. Мой взгляд плыл по волнистым полям, убранным в жёлтый цвет. Окунувшись в ритмичное постукивание колёс, я забыл обо всём на свете. Даже война казалась нереальной.

Мама, наверное, удивится и обрадуется моему приезду. Узнает ли она меня? На деньги, заработанные на чёрном рынке, я прилично оделся. Я ощущал себя гордо в своих новеньких коричневых ботинках, серых штанах, голубой полосатой рубашке и американском пиджаке, теперь уже подогнанным под меня. Жаль, что меня не видит пан Коваль. Мама не знает про мой арест и я не намерен ей рассказывать. Мои волосы, такие же прямые и чёрные, как у неё, уже отрасли. Шрам на лбу ещё видно, но выглядит он уже не так подозрительно. Если мама спросит про него, я уверен, что выдумаю какую-нибудь интересную историю.

Однако я не знал, что сказать о пане Ковале. Самое лучшее, думал я, делать вид что не знаю что он мой отец, разве что мать сама расскажет мне всю правду. Но захочет ли? Хорошо бы было узнать всё от неё самой. Или ей стыдно, что изменила мужу? Может она гуляла, потому что он был намного старше её? Но и пан Коваль был не слишком молодым. Она могла рассказать мне что я сын пана Ковалья, когда отправляла меня во Львов, потому что мой отец, как я тогда думал, нас не провожал.

Я высунул голову из окна. Холодный ветер выдул мне из головы все мысли о родителях. Впрочем, ненадолго. Я, собственно, был не против того, чтобы пан Коваль был моим отцом. Действительно, я иногда думал, что это была бы привилегия быть его сыном. Но теперь, когда я знал что это действительно так, мне почему-то хотелось верить, что мой отец умер три года назад.

Я смеялся над собой, что имею двух отцов, похожих между собой как день и ночь. Но что не выходило из головы, так это мамина ложь. Знал ли её муж, что я не его ребёнок? Правда ли, что я единственный не знал об этом? Вспомнил, что когда перед отъездом я игрался с соседскими детьми. В середине игры возникла ссора. Меня в чём-то обвинили. Один пацан разъярённо тыкал в меня пальцем и орал: «Коваль! Это сделал Коваль!». Даже те дети знали то, что от меня утаивали. А может быть я просто не хотел это знать?

Такая ли честь быть сыном пана Ковалья? Пани Шебець имела все основания называть его бабником, повесой и жеребцом. Через его спальню прошла тьма-тьмущая женщин. Даже девушка, которая для него стирала, оказалась в его кровати. Не гнушался он и замужними. Один раз я слышал, как одна женщина сказала ему: «Но я ведь замужем!» А он на это: «Разве это естественная преграда?» Была ли моя мать одной из тех многих? А я? Я просто плод человеческой слабости? Случая? Результат мгновенного удовлетворения жеребца? Выблюдок? Я никогда не слышал, чтобы мать называла пана Ковалья по имени. Всегда «пан Коваль», а в письмах ― «уважаемый пан Коваль».

Впрочем, чем ближе поезд подходил к Самбору, тем больше меня охватывало радостное предчувствие празднования дома Пасхи, выгоняя из головы мрачные мысли. Я представил, как мама разрисовывает воском различные узоры на яйцах, окунает их в синие,

красные, жёлтые краски. В детстве я любил наблюдать, как она это делает, вдыхать медовый запах растопленного воска.

Я прикурил сигарету, глубоко вдохнул дым. Это была настоящая сигарета из турецкого табака, купленная на чёрном рынке, а не та магазинная гадость, которую спихивают не немцам.

Стану ли я курить перед мамой? Это пришло мне на ум, когда я заметил, что какой-то мужчина устался на меня в окно двери купе. Когда я глянул на него, он отвернулся и ушёл. Но вскоре, когда я игрался сигаретным дымом, пуская его кольцами, он появился снова. На этот раз он нахально смотрел на меня, с таким выражением, словно сделал какое-то открытие.

Когда он ушёл, я решил, что его привлёк запах настоящего табака, или он подумал, что я слишком мал для сигарет. Когда поезд прибыл в Самбор, он вышел, быстро перешёл через рельсы и исчез на станции.

Тем временем отцепили локомотив и переставили на запасной путь, чтобы дозаправить водой. В предчувствии получасового ожидания, я закрыл глаза и прислушивался к той особенной тишине, которая окружает одиночно стоящий состав на провинциальных станциях. Я представил себе, как мама вынимает паску из печи. Вдруг послышались тяжёлые шаги. Они стихли перед моим купе. Внезапно отворилась дверь.

Передо мной появился высокий гестаповец в очках. Сзади, за дверьми, стоял тот ищейка.

«Документы!» рявкнул гестаповец.

Я протянул ему свой Ausweis, который сделала Стася.

Его, кажется, удивило то, что я имею документ, но он изучал его не очень тщательно.

«Встать!»

Я не спеша поднялся, но и не очень медленно, стараясь выглядеть уверенно, но не нагло.

«Ты жид!»

«Нет, я украинец.

«У тебя жидовский нос.

Я не видел своего носа, поэтому коснулся его.

«Та кто по вероисповедованию?

«Греко-католик.

«Ты ведь жид!» не можешь быть греко-католиком.

«Я украинец.

Я говорил это, понимая, что он слабо разбирается во всех этих названиях. Он не хотел меня понимать. Для него я был евреем и он пытался это доказать.

«Послушаем твоё «р».

Я застыл, потому что никогда не мог выговорить звук «р». Он всегда у меня звучал как «гргргр». Некоторым он казалось немецким, некоторым еврейским, в зависимости от их предубеждений. Меня это никогда не волновало. Лишь только когда отдельные школьники в Яворе надсмехались надо мной и обзывали меня «жидом», я злился. Уже во Львове я учился выговаривать «р» и мне это немного удалось. Я прочитал о древнем греке, который в молодости не мог выговорить этот звук, но благодаря своей настойчивости и работоспособности научился и стал известным оратором. Моё «р» улучшилось не настолько. Пани Шебець говорила, что оно звучит как «немецко-еврейский гуляш». Я хотел всё это рассказать гестаповцу, но он снова зарычал:

«А ну скажи «р»!»

У меня получилось какое-то приблизительное подобие этого звука, который полностью не удовлетворил немца, а меня тем более. Направив на меня оружие, он приказал идти с ним. На станции он повёл меня в мужской туалет, в котором никого не было, за исключением одного вспомогательного полицейского «чёрного».

«Кто это?» спросил «чёрный» ломаным немецким языком, стряхивая

свой пенис.

«Жид, но не признаёт этого.

«Вы проверили его на обрезание?

«Для этого я и привёл его сюда.

Он приказал мне спустить штаны.

«Покажи свой Schwanz³⁴; закоти его.

С этим была проблема. Или от страха, или от стыда, мой пенис сморщился. Теперь он смотрелся как малюсенький пиццык, который терялся в складках кожи. Я пришёл в замешательство. Хотел поднять штаны и сказать немцу, что я «еврей, независимо от последствий.

Тем временем «чёрный» посветил ручным фонариком на мои гениталии. Немец поправил свои очки, взял в руку мой пенис, оттянул его шкурку. Его нос был настолько близко, что я ощутил его дыхание.

Знает ли он, как выглядят пенисы после обрезания? Я боялся, что так страстно желая найти жертву, он просто может сказать, что нашёл то, что искал.

Но этого не произошло. Он отпустил мой пенис с видом разочарованного ребёнка. Поправил очки и повернулся к «чёрному»: «Ein gewöhnlicher Schwanz».³⁵

Но он был совсем не удовлетворён, поэтому снова пересмотрел мой документ и приказал «чёрному» проверить мой украинский язык и происхождение. Тот расспрашивал о родителях, школе, товарищах, вероисповедании. Потом сказал перекреститься, что я и сделал, притрагиваясь тремя пальцами ко лбу, животу, правому и левому плечам, сопровождая это «во имя Отца, и Сына, и Святого духа, аминь». Наконец потребовал, чтобы я прочитал «Отче наш» и «Богородица». Я пропел их с уверенностью святого. Застёгивая ширинку, я предложил им ещё и «Верую».

*«Минимум интеллекта и максимум физических данных делают женщину тем, чем она должна быть»; плодородным лоном
Третьего Рейха»*

Гитлер

CAF#201; DE LA PAIX

Я стоял на пустых рельсах и прислушивался к далёкому свисту поезда, который растворялся на горизонте. С ним исчезала моя надежда провести Пасху с матерью. Другого поезда в Явору не было, разве что завтра. «Чёрный», который помогал гестаповцу проверять меня, сказал, чтобы я сел на первый поезд во Львов и забыл о Яворе. «Немцы очень нервные,» говорил он, «партизаны убили кого-то из ихних. Подозревают всех и каждого, задерживают заложников».

Он всё посматривал на мой Tissot и приговаривал, что таких «элегантных» часов он ещё не видел. Улыбаясь, он сказал: «Я обратил внимание на них ещё в туалете. Знаешь, если бы не я, немец считал бы тебя евреем. В лучшем случае ты бы уже направлялся в Аушвиц. Я спас тебе жизнь. Это чего-то стоит. Разве нет?»

Я хорошо его понимал. Делать вид что нет, означало иметь серьёзные неприятности. Тогда не поможет ни «Отче наш», ни «Богородица». Я снял свой Tissot и отдал ему. Он взял часы как свои и безразлично застегнул на запястье. С лукавой улыбкой он сказал: «Сейчас

³⁴ Кутас (нем.)

³⁵ Обыкновенный кутас (нем.)

12.30, поезд во Львов отправляется через два часа. Я до этого времени буду обеспечивать твою безопасность».

Когда прибыл поезд, я ощутил облегчение, потому что имел странное предчувствие, что «чёрный» ежесекундно может вернуться и сказать, что никогда не видел такого прекрасного пиджака.

Во Львове я бесцельно бродил по улицам. У меня не было настроения с кем-нибудь встречаться, а самое меньшее – с пани Шебець. Вместе с чувством бессилия во мне закипала ярость на всех и всё. «Тот недоумок, лакей в дешёвой униформе, – думал я, – даже он имеет надо мной власть. Я покорно отдал ему свой Tissot».

Я остановился возле кафе «Café de la Paix». Я обратил внимание на пирожные. Между ними был «Наполеон» – настоящий наполеон, с толстым слоем крема, толще, чем недоеденный наполеон во время моего допроса в Монтелюпе. Но в той же витрине висела табличка «*Nur Für Deutscher; Только для немцев*».

Словно лавина нахлынула на меня – вроде жизнь не могла существовать без «Наполеона».

В Café заходили через вестибюль гостиницы «Жорж». Я выпрямился, поправил галстук, принял самоуверенный вид и твёрдой походкой направился к дверям. Не обращая внимания на другую табличку «*Nur Für Deutscher*», я прошёл мимо швейцара, смотря ему прямо в глаза. Он поприветствовал меня, говоря Guten Tag!

В вестибюле я повернул направо и зашёл в Café. Это было лучшее кафе во Львове. Говорили, что тут посетители получали сладости и выпивку без карточек.

Не успел я и глазом моргнуть, как передо мной появилась официантка в чёрной юбке и белом фартучке.

– Вы один? – спросила она по-немецки.

– Да, – ответил я, стараясь выглядеть как можно более самоуверенно.

Осмотрев зал, она указала мне на небольшой круглый столик в глубине. Оттуда мне было видно всю комнату, а также табличку на витрине «*Nur Für Deutscher*».

Стены, оббитые панелями из красного дерева, величественные окна, пышная лепка на потолке с грандиозным канделябром посередине сначала оказали на меня нехорошее впечатление. Однако потом, когда я рассматривал людей за маленькими круглыми мраморными столиками и слушал приятную музыку, смешанную с приглушёнными голосами, эта атмосфера становилась всё более привлекательной.

– «Was wünscht der Herr?»³⁶ – в отличие от гестаповца, который проверял, или я не обрезанный, официально и учтиво спросила официантка.

Я ответил кратко: «Kremschnitte und eine Tasse Kaffee».³⁷ Я старался как можно лучше произносить слова – мне пригодились занятия по немецкому языку в Монтелюпе. Через мгновение пирожное и кофе стояли передо мной. Я не мог удержаться – мгновенно проглотил «Наполеон» и заказал ещё один. На этот раз, чтобы не возбуждать подозрений, я кушал медленно, кусочек за кусочком, запивая кофе.

Левее за столом сидела женщина с белыми волосами до плеч. Я не видел её лица, потому что она сидела ко мне спиной. Её спутником был военный, офицер с Железным Крестом на шее. Когда он повернул голову, я увидел, что у него не хватает части левой щеки.

Через три столика от меня сидела одинокая женщина, лицо которой частично прикрывала широкополая шляпка. Из глубокого декольте чёрного платья виднелась длинное ожерелье из белого жемчуга. Доедая вторую порцию «Наполеона», я заметил, что она пристально смотрит на меня. Её темные волосы на самом деле были светлее, чем казалось на первый взгляд. Она курила. Смотрелась привлекательно и заманчиво. Её длинный мундштук

³⁶ Что господин желает?(нем.)

³⁷ «Наполеон» и чашечку кофе(нем).

очень подходил к платью. Она выпустила тонкую струйку дыма в моём направлении. Я ощутил сладкий запах табака. Был бы тут пан Коваль, она мгновенно бы оказалась в его кровати.

Проходя мимо, официантка спросила, принести ли мне счёт. Я ответил что нет, возможно я закажу ещё чтонибудь, но пойду, гляну на прилавок.

Подойти к прилавку, который находился возле входа в Cafе; было частью моего плана; уйти не расплатившись. Я имел много оккупационных денег; легальную валюту для не немецкого населения оккупированных территорий. Было даже немного долларов, которые я купил на чёрном рынке. Однако в местах «Nur Fоr Deutscher» расплачивались только рейхсмарками, которые имели хождение только в самой Германии.

Я стоял возле прилавка и делал вид, что выбираю себе пирожное, а на самом деле наблюдал за движениями посетителей и официанток.

Я видел, как женщина в широкополой шляпке рассчиталась и поднялась. Тем временем моя официантка принимала за соседним столиком заказ. Проходя мимо, женщина измерила меня длинным взглядом, словно знала мою тайну. За ней тянулся шлейф духов. Я был рад, что она ушла. Из-за неё я чувствовал себя смущённо.

Я тихонько осмотрелся. Моя официантка как-раз пошла на кухню, а из Cafе; выходила компания из четырёх человек. Я медленно встал перед ними и спокойно вышел из кафе.

Облегчённо расслабил галстук и расстегнул пуговицу воротника. Однако в вестибюле я услышал мягкий женский голос, который сказал на немецком: «Стой. Я тебе не враг. Не делай глупостей. Тебя схватит швейцар». Я вздрогнул, словно собирался удрать, но затем обернулся. Передо мной стояла женщина в широкополой чёрной шляпе.

Может, она из тайной полиции? Выглядит так изыскано! Её лицо, подчёркнутое чёрным платьем и ожерельем из белого жемчуга, источало доброжелательность и одновременно холодную решимость. У неё были большие светлые глаза и тонкие чувствительные ноздри. Полные губы легко подчёркивала помада. Она не ждала, когда я спрошу, что ей от меня надо. «Ты; лгунишка,; сказала она, и наблюдая за моей реакцией, продолжила:; Иди за мной. Не бойся».

Я оглянулся. Убежать невозможно. Меня поймут если не швейцар, то кто-нибудь из военных, которые слонялись по вестибюлю. Я пошёл за ней.

Мы поднялись мраморными ступенями и оказались в тускло освещённом коридоре, застеленном ковром. Я впервые был в гостинице. Мне бросилось в глаза, что по обоим сторонам коридора были комнаты с позолоченными металлическими номерами на тяжёлых дверях из красного дерева.

Она остановилась возле комнаты № 4, и открыв её, сказала войти мне первым. Когда мы были внутри, она закрыла двери на ключ. Щёлканье замка насторожило меня, но я заметил, что она оставила ключ в скважине.

«Будь как дома»,; сказала она. Для меня это звучало удивительно, потому что в гостинице я был первый раз, к тому же не имел понятия, что я тут делаю. Сквозь широкое арочное окно, которое выходило на площадь Мицкевича, виднелся памятник этому поэту. Парчовые обои, теперь уже облезшие, и хрустальная люстра напоминали про былую славу гостиницы и безмятежные времена. Доминировала в комнате кровать с горкой белых, пышных подушек, хотя она была не такой большой, как у пана Ковалья. Левее возле стены стоял шкаф, а напротив кровати; буфет с ящичками и широким зеркалом. На буфете стояла чёрно-белая фотография какого-то военного.

Она включила радио. Послышался глубокий, соблазнительный женский голос. Это была Цара Леандер, любимица немецкого радио.

; Как вас зовут?; робко спросил я, когда она снимала шляпку. Она взглянула на моё отражение в зеркале, словно не была уверена, стоит ли её называть своё имя.

― Называй меня Хельгой, ― сказала она, подкрашивая губы.

― А тебя? ― спросила она.

― Михаилом.

Она напрасно старалась правильно выговорить моё имя, и тогда со смехом сказала:

― Я буду называть тебя Вернером.

― Почему Вернером? ― спросил я.

― Так звали моего мужа.

― «Звали»? А где он теперь?

Наверно, мне не стоило её об этом спрашивать. Её игривое настроение мгновенно испарилось.

― Я покажу тебе, ― сказала она и подошла к шкафу. Вынула военную форму и бросила на кровать.

― Это всё, что от него осталось, а там на буфете его фотокарточка.

Я присматривался к наградам на форме, а она налила два бокала.

― Это шампанское, ― сказала она и пригласила меня за столик в углу. Шампанское я видел разве что в кино. Мы стукнулись бокалами. Я выпил эту жидкость как воду, даже не разобрав, нравится ли мне этот кисловатый вкус.

Показывая на форму, разложенную на кровати, она сказала:

― Да, это всё, что от него осталось. Я купила шампанское в Берлине, чтобы отпраздновать десятилетие нашей свадьбы.

― Но... ― я не окончил свой вопрос, потому что она продолжила.

― Он был одним из высших офицеров, которые первыми прорвались в Сталинград, за это он получил Рыцарский Крест, наивысшую воинскую награду. Две недели назад я получила сообщение, что он приезжает в краткосрочный отпуск в Лемберг. Поэтому я тут... Я не видела его с начала войны. Однако, приехав в Лемберг, я получила извещение, что по дороге сюда его убили партизаны.

Она снова налила бокалы, зажгла сигарету, предложила мне.

― Он всегда любил армию ― это его семейная традиция. Для меня ему постоянно не хватало времени. Я хотела ребёнка, а он всё откладывал. Потом началась война. Я думала, что сейчас как раз время, пока ещё можно иметь детей.

Это была несчастная история, но после всего того, что я пережил и видел, она меня не взволновала. Я промолчал, хотя чувствовал, что она надеялась хотя бы на «как досадно».

Она откупорила ещё одну бутылку ― на этот раз плоскую с розовощёким монахом на этикетке и налила. Сказала что это ликёр, изготовленный в монастыре, где-то в Баварии ― её муж любил его больше чем шампанское. Предложила выпить до дна. Я одним махом опрокинул густую сладкую жидкость, она щекотала горло, оставляя во рту сосновый привкус. Одурманивающие ощущения в голове и тепло внутри вынудили меня забыть о вопросе, зачем Хельга привела меня сюда.

― Почему ты пришёл в Café? ―спросила она меня.

Не было необходимости отвечать ― она продолжала:

― Я сразу поняла что ты не немец. Ты держал пирожное в руках ― ни один немец не позволил бы себе такого при посторонних. Как примитивно! Где ты живёшь? В пещере?

Она захохотала, а я и сам засмеялся при воспоминании, с какой жадностью я проглотил первый «Наполеон».

― Ты ― храбрец, но заплатил бы дорогую цену, если бы я тебя выдала.

Она стояла передо мной, попивая ликёр ― стройная, с крутыми бёдрами, пышной грудью. У неё были длинные пальцы с ухоженными ногтями. Теперь она уже не казалась мне «старшей женщиной».

― А как бы ты выглядел в форме? ― внезапно спросила она.

Если бы я был трезвый, эта идея показалась бы мне мерзкой, но сейчас она казалась мне даже весёлой. Мы смеялись и бесились, как дети, пока Хельга помогала мне снимать

пиджак, обувь и штаны. Вскоре я был в военной форме её мужа, которая оказалась моего размера. За руку она притянула меня к зеркалу.

Возле Хельги стоял мужчина в серо-зелёном мундире с серебряными погонами и наградами, в галифе, блестящих чёрных сапогах и чёрным ремнём, на котором с левой стороне висела кобура. Фуражка с изображением черепа и скрещённых костей прятала часть моего лица. Я еле узнал себя. Удивительно, как форма может изменить человека!

— Теперь ты выглядишь как настоящий мужчина, ein echter Mann! — воскликнула Хельга и упала на кровать. Смеясь, она добавила: — Иди сюда, я хочу тебя рассмотреть вблизи!

Когда я подошёл к кровати, он неожиданно схватила меня и притянула к себе. Через секунду я лежал на ней. Ощущал, как её рука расстёгивает мои штаны. Меня прошибло огнём.

— Mach mir ein Kind! Сделай мне ребёнка! — страстно сказала она. — Обещаешь? Обещаешь? — повторила она, поднимая бёдра, чтобы облегчить мне вхождение.

Очарованный всеохватывающими глубинами её тела, я пообещал. В этом безумстве я был готов пообещать любое. Однако я кончил в сторону.

Она оттолкнула меня и вскочила на ноги. Я услышал, как она отодвигает ящик трюмо, а когда открыл глаза, она стояла надо мной с пистолетом в руках.

— Schwein! Свинья! Ты не сдержал слова. Какой из тебя мужчина! Почему ты так сделал? — она направила мне в пах пистолет. — Почему?

— Я не специально, — ответил я.

Наступила тишина. Я ощутил, что пистолет немного отодвинулся в сторону. Раскрыв глаза, я увидел фотокарточку на трюмо — Хельгин муж немигающим взглядом смотрел на меня. Вдруг я представил, как моя мама занималась любовью с паном Ковалем за спиной отца.

Хельга хотела сделать из меня партнёра по лжи, ведь она, наверно, сказала бы ребёнку, что его отец — тот мужчина с фотокарточки в эсесовской форме. Или...

Хельга отложила в сторону пистолет и прикурила сигарету. Пустила мне в лицо дым, словно хотела продемонстрировать своё призрение.

Мне внезапно пришла мысль. А что, если отцовство не имеет никакого значения? Эта мысль не оставляла меня. Чем больше я над этим раздумывал, тем веселей она мне казалась, ведь у меня было два отца. Одним был Андрей — муж моей матери. В отличие от многих других, он был по-настоящему хорошим отцом. Не припоминаю, чтобы он повышал на меня голос или ругал, хотя я этого заслуживал. Вдруг я понял, что «хорошим отцом» он был для меня, потому что знал, что я — не его сын. Он не имел права плохо со мной обращаться, да и мама не позволила бы ему этого.

Думая о пане Ковале, я чуть не рассмеялся, но сдержался, потому что Хельга могла бы подумать, что я смеюсь над ней. Как и Андрей, пан Коваль играл свою роль опекуна и наставника, а на самом деле был моим отцом. Имел ли он намерение рассказать мне когда —нибудь правду? И всё же он блестящий актёр. Столько времени ничем себя не выдавал. А может я просто такой дурак, что ничего не замечал? Правда, он иногда обращался ко мне «сыночек», но я думал, что это ради красного словца.

Хельга докурила сигарету и покрутила радио. Комнату заполнил вихрь вальса «Wiener Blut». Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три... Хельга начала подпевать. Наверно под впечатлением этой мелодии, которая была на устах всех немцев и многих покорённых ими, бледный гнев на её лице уступил место румянцу и тихому сиянию глаз.

Она села рядом со мной.

— Извини. Я не хотела. Ты — сладкий, невинный... почти мужчина... Я поняла это в то мгновение, когда увидела тебя.

Она налила шампанское — мы стукнули бокалы в ритме с вальсом, и начали танцевать. Один, два, три, один, два, три... Я шёл за ней, три шага вперёд, три назад, потом

мы кружились, и опять один, два, три... «Sondermeldung» — специальный выпуск новостей о положении на фронте прервал вальс, но мы продолжали... Игриво, импровизируя какие-то выкрутасы, Хельга начала раздеваться, разбрасывая вокруг одежду. Её бюстгальтер упал на буфет и опрокинул фотографию её мужа.

— Ты что ждёшь? — прикрикнула она на меня.

Через секунду я был голым, как и Хельга. Музыка становилась всё громче и быстрее, мы с ней кружились, прыгали, топали, смеялись, пока не перехватило дыхание, и тогда упали на кровать.

Я ощутил на своих грудях, на животе, всё ниже и ниже её горячие губы. Я закрыл глаза. Мы, мальчишки, об этом говорили, но я не верил, что это взаправду делают. Я словно летал... Вдруг она остановилась:

— Ты прекрасен, но я хочу ребёнка.

Она уселась на меня. Я поедал её взглядом. Она извивалась, закрыв глаза, словно в арабском танце. Её открытые уста хватали глотки воздуха одновременно с её движениями. Ритмично покачивалась нитка с жемчужинами. Моё тело пронизывали волны страстного неистовства. Её живот задрожал. Движения ускорились. Всё её тело дрожало. Я вздрогнул. Меня поглотило бездонное море. Она припала ко мне...

Когда я проснулся, она всё ещё обнимала меня. Стараясь не разбудить Хельгу, я отодвинул её руку. Радио до сих пор играло. Посмотрев в окно, я увидел Луну, которая висела над домами по другую сторону памятника Мицкевича. Как всегда, лицо Мицкевича смотрело вверх — он искал вдохновения у ангела творчества, который нависал над ним. Но в лунном свете казалось, что его взгляд направлен в небесную даль, чтобы не видеть того, что творится внизу.

С кровати долетало тихое сопение. Хельге что-то снилось...

Глядя на неё, я стоял как околдованный — действительность и воображение одновременно сливались в один поток чувств, ранее мне не известных... Я слышал, как моя мама шептала пану Ковалю: «Я хочу ребёнка только от тебя».

Посмотрев на форму Хельгиного мужа, я понял что стою голым. А ещё я подумал, что наши подпольщики ищут форму немецкого офицера. Она им была нужна, чтобы общаться с немецкими военными и собирать разведывательные сведения.

Форма была моего размера. Я одел её — галифе, чёрные сапоги, коричневую рубашку, китель, ремень с кобурой, наконец фуражку с серебряным изображением черепа и скрещенных костей.

Я стоял перед зеркалом, вытянувшись, словно отдавая честь. Как бы среагировал пан Коваль, увидев своего сына в этой форме? Подумав, если будет приставать швейцар, я положил в кобуру пистолет. К тому же, идёт война — пистолет может пригодиться.

Я последний раз взглянул на Хельгу. Она спала. Нить с жемчугом свисала с её плеча и обнимала груди. Её лицо сияло румянцем, как у ребёнка, которому сняться удивительные сны. Её губы были слегка приоткрыты...

Я хотел поцеловать её, но когда наклонился, понял что это лишнее — я бы только разбудил её. Наши дороги пересеклись, Хельга достигла желаемого. Дорога для меня открыта. Я уменьшил звук радио — пела Цара Леандер. Покидая комнату, я всё слышал её грудной голос. Этот голос звучал тоскливо, но в нём ощущалась надежда:

«Я знаю,
что будет чудо
и тысяча сказок
превратиться в жизнь...»

Об авторе

Михаил Яворский, доктор философии, профессор политической теории Городского университета Нью-Йорка. Автор многочисленных академических публикаций, один из ведущих активистов студенческого движения 60-х годов в США. Проживает в штате Колорадо в США, время от времени гостит в родном Львове.

«Поцелуй Льва»― первый роман М.Яворского, в котором на фоне своей жизни он обрисовывает украинские реалии Второй мировой войны.

На XII-м ежегодном конкурсе повестей (г. Берн, Швейцария) в ноябре 2001 года отрывок из этого романа получил вторую премию.